

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



ОДЕССКИЙ

АЛЬМАНАХ



№11



ОДЕССА, 2002

Дерибасовская — Ришельевская: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах, 2002. Вып. 4 (11). 1-310.

Дерибасівська — Рішельєвська: Літературно-художній, історико-краєзнавчий ілюстрований альманах, 2002. Вип. 4 (11). 1-310.

Deribasovskaya — Rishelyevskaya: Literary and artistic, historic and of regional studies almanac illustrated, 2002. Issue 4 (11). 1-310.

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
(заместитель редактора)
Олег Губарь
Андрей Ерохин

Редакционный совет:

Николай Барбашин, Наталья Барышева, Владислав Вайсман, Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Григорий Поженян (Москва), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Василий Рябченко, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко, Борис Херсонский.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor: Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Andrey Yerokhin

Editorial council:

Nikolay Barbashin, Natalya Barysheva, Vladislav Vaysman, Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyay (Moscow), Arkadiy Lvov (New York), Alexandr Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Vasiliy Ryabchenko, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkoenko, Boris Khersonsky.

Издается с 2000 года
Выходит 4 раза в год.

www.odessitclub.org

От редакции

В октябре мы отмечали 105-ю годовщину со дня рождения Ильи Ильфа, в декабре 100 лет исполнилось Евгению Петрову. Один из них родился в конце позапрошлого, XIX-го, другой — в начале прошлого, XX-го... Когда-то, в их детстве, эти пять лет значили многое. Скажем, Илюша Файнзильберг уже зачитывался “Пятнадцатилетним капитаном”, а Жене Катаеву еще читали вслух “Княжну Джаваху”... Но постепенно они как бы сравнялись и к своему триумфу пришли в одной возрастной категории — зрелыми, талантливыми мужчинами, мужьями очаровательных женщин, отцами любимых детей. Соавторы блистательных книг ушли из жизни, опять-таки, по разную сторону от знаменательной временнй даты, от рокового рубежа: Ильф — незадолго до начала, Петров — в труднейший год Великой Отечественной войны.

В нынешний день рождения Ильи Арнольдовича в Литературном музее состоялась презентация альбома “Ильф-фотограф”, собранного и изданного в Москве его дочерью Александрой. Сын Евгения Петровича, Илья живет в Нью-Йорке. В семьях Ильф и Катаевых есть и внуки, и правнуки. Но не следует забывать, что писатель ИЛЬФИПЕТРОВ произвел на свет еще одно чадо — Остапа Бендера. Великий комбинатор вошел в число самых знаменитых, знаковых литературных персонажей мировой литературы — наряду с Дон Кихотом, Фальстафом, Мюнхгаузеном, Тарасом Бульбой, Портосом, Йозефом Швейком, Томом Сойером... Многие наши земляки полагают, что он и впрямь служил в Одессе управдомом, и даже установили соответствующую мемориальную доску на одном из домов улицы Екатерининской.

Конец 2002-го оказался вообще богатым на юбилеи и памятные даты, которые мы отмечали и отмечаем:

175 лет газете “Одесский вестник”,
80 — Академии холода,
25 — Литературному музею,
25 — Физико-химическому институту НАНУ им. А.В. Богатского,
5 — журналу “Фонтан”.

Во всех этих творческих коллективах плодотворно трудятся наши с вами друзья, родственники, соседи и даже (этим редколлегия особенно гордится) герои материалов, а то и авторы публикаций альманаха “Дерибасовская — Ришельевская”. С чем мы вас и себя от всей души поздравляем.

Тень времени

Мне было, вероятно, лет двенадцать, когда мать однажды под вечер сказала:

- Пойдешь сегодня со мной.
- Куда?
- К одной моей знакомой. Ее зовут Анна Николаевна. Запомнила — Анна Николаевна?
- Там есть дети?
- Нет. Посидишь, послушаешь. Если будет неинтересно, считаешь.

Книг там достаточно.

Что касается "послушаешь" и "считаешь", — это был хорошо мне известный и испробованный вариант. Дело заключалось в том, что я была на одиннадцать-двенадцать лет младше любого в нашей семье. Не только непосредственно в нашей семье, но и среди двоюродных. Даже в семьях друзей моих родителей дети были взрослыми, и, как мне казалось, уже немолодыми. Часто, приходя в гости с родителями, из-за отсутствия сверстников я часами была предоставлена сама себе, и это было неплохое время: можно было захлеб читать или рассматривать подчас неожиданные находки.

Помню, у моего старшего дяди Якова (братьев у матери было четверо) я снова и снова перелистывала большую книгу-альбом — репродукции картин Рафаэля. На каком языке были тексты? Нет, сейчас уже и не соображу. Хотя каким-то чудом я уясняла для себя названия картин. Всмотривалась в кружевные арки дворцов, полные воздуха залы, в лица или лики, нет, все-таки лица, и смутно понимала, что в то далекое время рождения Христа не было в древней Иудее ни этих дворцов, ни всего этого пышного антуража, понимала, что все было грубее, грязнее, было кровавым и трагичным, а не так завораживающе красиво. У меня была своя игра: мне казалось, если долго вглядываться в картину, наступит мгновение — и я войду внутрь картины, стану одним из ее персонажей, пойму, почувствую ее изнутри. И сейчас иногда в музее меня посещает это чувство — вот он, близкий миг проникновения, сопричастности. Но мимо, мимо — уже так немного времени в запасе, и так дорого обходятся эмоциональные всплески.

А еще был альбом с видами Константинополя. Моя тетья, жена дяди Якова, носила удивительное звучное греческое имя Афедра. У нее были

близкие родственники в Константинополе, к которым она в дореволюционные времена ездила каждый год. Бухта Золотой Рог, мечети, базары, пестрая толпа смотрела на меня со страниц альбома. В памяти осталась цифра: поездка на пароходе туда и обратно стоила тридцать рублей.

Сотни открыток с видами Германии, Австрии, Италии, альпийскими заснеженными пейзажами ждали меня в ящиках секретера у Марии Владимировны Добросердовой, вдовы профессора-химика Дмитрия Константиновича Добросердова, одного из основателей химического факультета при Одесском университете. Она изредка отрывалась от беседы с моей матерью и смотрела на ту открытку, которая была в моих руках, и говорила:

— Флоренция... 1902 год... Наше свадебное путешествие...

— Гейдельберг... Митя был там на конференции химиков в университете в 1909 или 10 году. Ученых приглашали с женами.

Однажды среди открыток я нашла маленькую квадратную коробочку, верхняя крышка ее была стеклянной, в таких обычно хранили записки. В ней на белоснежном тонком слое ваты лежал еще невиданный мною сухой цветок: серебристая пушистая звездочка с выпуклой желтоватой серединой.

— Эдельвейс, — сказала Мария Владимировна, глядя поверх моей головы в окно. И я поняла, что она видит сейчас не двор старого одесского дома, заросший тополями и кленами — ровесниками дома. — Митя сорвал его, когда мы поднимались на Маттерхорн.

Еще непостижимый для моего ума отрезок времени — без малого пятьдесят лет пролежал цветок в коробочке. Я уже знала, что ее семейная жизнь начиналась в Казани, потом был Киев, Одесса, войны и революции, а цветок все пребывал на своем нежном ложе — символ юности, надежд, символ нетленности тленного.

И в каждом знакомом мне доме были книги. Нет, не те, что обычно стоят на полках — русская и зарубежная классика, энциклопедии, читаемые романы. Нечто совсем иное. Они хранились, как правило, вдалеке от глаз — в кладовке, сундуке, в диване или на антресолях. Это были журналы "Нива", собранные за много лет, и приложения к ним — тонкие книжечки в мягких бумажных обложках: синие — Метерлинк, желтые — Оскар Уайльд, стихи Надсона, Бальмонта, Северянина. Рисунки, оформление "мирикусников", репродукции картин Климта, Мухи, декаданс, или то, что здесь, в Германии, называют "Jugend Stil". Пленительные, изнеженные, удивительной красоты женщины, чьи изогнутые бескостные

тела вырастали из чашечек огромных фантастических цветов, а потом сами вплетались в плавные, причудливые, асимметричные орнаменты. Вот с тех пор для меня и остался любимым "art nouveau", томительный, загадочный, непредсказуемый стиль декора, а когда-то и стиль жизни.

В некоторых журналах еще лежали сложенные во много раз какие-то листы. Их нужно было разворачивать очень осторожно — они были ветхими, ломкими на сгибах. Развернутые, они были величиной с обеденный стол. На них были фasonsы платьев, узоры для вышивок и кружев, рисунки шляп, украшенных лентами, цветами, фруктами и даже маленькими птичками; советы, как сделать елочные игрушки, упаковать рождественские подарки, накрыть парадный стол, как располагать на нем бокалы и салфетки, и много, многое другое, что никак не входило в обиход советской семьи.

Некоторые рисунки были обведены тонкими карандашными линиями. Это означало, что их когда-то, как говорили, "переводили" на ткань — вышивали подушечки, салфетки, дорожки на стол, делали аппликации. Сколько же нужно было иметь в запасе медленно текущего времени, чтобы растрчивать его на такие пустяки, а может быть, они и не были пустяками, а атрибутами женственности, домашности?

Но самыми увлекательными были дореволюционные выпуски журнала "Вокруг света". Романы Виктора Мея и Мариетта, Хоггарда и Буссенара — джунгли и пустыни, бушующие моря и пираты, острова, пещеры, поиск сокровищ — все смешивалось в калейдоскопе приключений, порождая неправдоподобно смелую мечту — увидеть своими глазами.

Но что приносит исполнявшаяся мечта? Прошли десятилетия... Нет, я не бывала на неизвестных островах, но прикасалась к раскаленным стенам Анакапри и прохладному мрамору флорентийского собора, смотрела в черные воды Тахо и шла по узким улочкам еврейского квартала Толедо, куда никогда не заглядывает солнце, окунала руки в воду фонтана Треви и сидела на лестнице на площади Испании, видела корриду и чудо кельнского собора, скалы Сан-Себастьяна и заросшие цветущими гортензиями склоны Биаррица, вдыхала холодный, чистый воздух на перевалах в Пиренеях. Как много, и в то же время ничего, потому что нет Дома, куда так хочется принести и поселить пережитое ощущение и воспоминания, чтобы потом, через десятилетия, их нашли, как я нашла тот эдельвейс, и по комнате скользнула тень времени.

Но иногда книги откладывались в сторону: они, старшие, начинали рассказывать. И возникала крымская степь, по которой в тарантасе среди

несметных отар овец ехала моя восемнадцатилетняя мать, чтобы познакомиться со своими родственниками. Им-то и принадлежала и эта степь, и эти стада, и пароходы, вывозившие из Крыма зерно, шерсть и фрукты. Родственники согласились одолжить матери 1000 рублей — плата за учебу на высших медицинских курсах, с тем, что она вернет долг, когда станет врачом. Мать окончила институт в 1917 году. Семью родственников смыло волнами революции так стремительно и неожиданно, что вообще осталось неизвестным, в какую страну их занесло, выжили ли вообще они, помогли ли им их миллионы. Мать так никогда о них ничего не узнала, хотя разыскивала их и всю жизнь, помнила о неотданной тысяче рублей. У отца была удивительная черта характера: он никогда не говорил плохо о людях, не было в его рассказах ненависти и злобы, жалоб и сетований — все представало легким и веселым. Весело он рассказывал о том, как мальчиком, учась еще в ремесленном училище, давал первые уроки, зарабатывая деньги на дальнейшую учебу в коммерческом училище. А прожженные молдаванские бабы-соседки кричали ему:

— Ванюшка, беги скорее домой, там твой хедер уже собрался!

От года к году — репетиторство и учеба. И вот он в 1913 году — студент Киевского политехнического института — престижного по тем временам учебного заведения, молодой человек, мать которого была неграмотной. Веселая нищета студенческого быта и надежды...

Грохот бронепоезда врывался в комнату, когда тетя Нина Котовская — племянница, как тогда считалось, легендарного героя, а теперь — легендарного бандита Григория Котовского, — рассказывала о своей краснокозыночной юности — тачанки, броневики, госпиталя гражданской войны, сыпнотифозные бараки.

И мой дядя Илья, который убежал из немецкого плена в Первую мировую войну и пешком пробирался через всю Европу — через Германию, Австрию, Венгрию и Румынию. Путешествие, которое длилось годы. Его уже давно считали погибшим, но он вернулся. И я до сих пор помню его рассказы о крестьянских дворах и фермах, где он месяцами работал, пережидая зимы, о людях, которые не выдали русского солдата и помогли ему вернуться на землю, где уже бушевал пожар революции, в Одессу, где власть менялась более двадцати раз: красные, белые, зеленые, немцы, французы, какие-то разномастные банды украинских националистов, а потом опять красные, и все начиналось сначала. И каждая власть имела свои застенки, оставляла после себя трупы и слезы и тревожное ожидание завтрашнего дня.

Но все-таки они жили в этой смене кровавых дней, учась по возможности не замечать любую власть, но ценить внутреннюю свободу. Отец и дядя Яков весело вспоминали, как, работая в это смутное время во французской фирме, которая занималась укреплением береговой линии и строительством прибрежных сооружений, получали жалование каждый день, поскольку неизвестно было, какие деньги завтра будут в ходу. Мало того, деньги по той же причине обязательно нужно было потратить в этот же день на что-нибудь полезное для семьи — теоретически, а практически — купить то, что попадалось — спички или шоколад, дамские чулки или халву. А когда, в очередной раз, власть в Одессе переходила к красным, дядя Яков шел в то место в городе, где проходила запись в красные отряды, забирал там самого младшего брата Елисея, который страстно по недостатку образования хотел повоевать неизвестно за что, бил его пару раз по физиономии, отдавал винтовку взводному и уводил домой, приговаривая:

— Когда же ты поймешь, дурак, что нас это не касается?

И общий гомерический хохот, когда дядя Саша Красносельский, флегматичный, очень красивый и очень негибкий в своих немудреных жизненных принципах, неторопливо повествовал:

— Удивительную я вчера слушал лекцию у нас в Энергосбыте. Лектор, молодой, рассказывает нам, как до революции рабочие стояли у станков, потом падали, там же под станками спали, а с утра снова начинали работу. Я не выдержал, встал и говорю: "Молодой человек, что вы рассказываете? Вот я — тот рабочий, токарь, который еще до революции работал на заводе Гена. Каждый день уходил с завода домой, под станком не валялся, в субботу не работал, шел в баню. Кто это вам такое рассказал?".

Рассказы о жизни, рассказы длиной в жизнь. А впереди еще были тяжкие, болезненные судороги начала 50-х годов, и еще далеко было до того серого, холодного утра 3 марта пятьдесят третьего года, когда мать громко, ликующим голосом сказала:

— Мы дожили!

А в тот уже такой далекий день, в предсмертный час, мы доехали трамваем до остановки "Судостроительный завод имени Андре Марти". Марти еще не был оппортунистом и перерожденцем, а был нашим задушевным французским другом. Завод, собственно, был совсем не в этом месте. Здесь стояли только парадные ворота завода. Пройдя сквозь них, нужно было долго спускаться по лестнице, которая вела по обрывистому склону вниз, где и стоял завод. Мы же пошли в противоположную сторо-

ну по узкому, мощенному старым крупным булыжником переулку, который носил название Книжный, но мать именovala его упорно по-старому Софиевский.

На углу этого переулка и улицы Пастера высилось массивное здание, по-своему красивое, напоминающее рисунок реконструированного греческого храма из учебника истории. Оно было специально построено для городской публичной библиотеки. "Научная библиотека имени Максима Горького" было написано на тяжелом фронте. Но в Одессе все называли ее "публичка".

Мы прошли мимо главного входа, свернули в калитку и оказались в небольшом запущенном саду. Давно не подрезавшиеся кусты сирени, старые акации и каштаны занимали все пространство и нависали тяжелыми кронами над старым флигелем, прижавшимся вплотную к тыльной стороне библиотеки. На невысокой двери была прикреплена табличка: А.Н. Дерибас. В Одессе такая фамилия никого не может оставить равнодушным; я тут же попыталась спросить у матери, не связана ли эта фамилия с названием главной улицы города. Но дверь открылась, мы спустились на одну ступеньку вниз и оказались в большой комнате. В ней уже были четыре или пять женщин, пожилых, скорее старых. Хозяйка сидела в кресле с высокой прямой спинкой, выпрямившись, в несколько напряженной позе.

— Говорите ли вы по-французски, деточка? — задала она ошеломивший меня вопрос, на что я неопределенно промямлила, что учу английский. Она утратила ко мне интерес и вернулась к прерванному разговору.

Одна из женщин, положив руку на книгу с коричневым кожаным корешком, явно изданную давно, с какой-то горячностью говорила:

— Снова перечитала... Когда граф грешил против истины — в книге или в разговоре со мной? Тот же эпизод, но в книге изложен совершенно по-другому.

— "Воспоминания" графа Витте давно уже стали классикой, и ничего уже не изменишь, да и какое это имеет сейчас значение? — говорила Анна Николаевна, неопределенно взмахнув тонкой смуглой рукой. И я с удивлением поняла, что они говорят об авторе этой старой книги, как о своем собеседнике.

Я рассматривала точеный, изысканный профиль Анна Николаевны, прелестный, не искаженный временем овал лица, тяжелый узел волос, темных, с проседью. Сидящая на некотором расстоянии от меня в приглушенном оранжевым абажуром свете, скрывающем морщины, она была

красива, красива без оговорок, и казалась почти молодой. Намного позже я узнала, что ей было тогда около семидесяти лет.

Разговор за столом тек своим чередом, я читала какую-то книгу, пока одна фраза Анны Николаевны не заставила меня снова задуматься.

— Всю жизнь, — сказала она со смехом, — я хочу сама быть интересной, бороться с тенью или жить в тени великого — так скучно. Притом, столько лет прошло, а любопытство людское не умирает. Каким был Бунин? О, разным, и совсем не таким, каким вы его себе представляете.

Бунин... Конечно, я не читала Бунина, и не только по своему малолетству, но и потому, что в те годы его не только не издавали, но даже имя его не упоминалось в ряду русских писателей. Но что-то в памяти теплилось, и имя было знакомым. И тут я вспомнила одну из любимых своих книг, ярко иллюстрированную в оранжево-коричневой гамме. По страницам в беспорядке были разбросаны стрелы и томагавки, перья и расписные трубки, из-за строк выглядывали хитрые мордочки енотов. Это была "Песнь о Гайавате" Генри Лонгфелло. А под названием тонким курсивом: "В переводе Ивана Бунина".

Так я впервые встретилась с Анной Николаевной Дерибас, в девичестве Цакни, первой женой Ивана Алексеевича Бунина.

А Анна Николаевна между тем продолжала:

— Понимаете ли, я была для него слишком красивой, слишком живой, мне нужно было уделять внимание, а это открывало его от работы, копилась досада, недовольство друг другом. Ему нужна была другая жена, готовая целиком посвятить себя ему, его творчеству. В конце концов, именно такую он и встретил. А я была очень молода и хотела жить...

Я часто бывала с матерью у Анны Николаевны. И всегда у нее было много людей, чаще всего пожилых женщин. Я уже не удивлялась тому, что многие, которые, как я думала, остались лишь именем в истории, были знакомы этим старушкам. В Одессе сороковых-пятидесятых годов доживали свой век остатки русской аристократии, столичной интеллигенции. Их забросила в Одессу надежда переждать треволнения смутного времени. Большевики долго не могли утвердиться в Одессе, что порождало иллюзии их недолговечности, да и власть украинских националистов была предпочтительнее власти красных. Когда же эпоха показала свои кровавые клыки, и они прозрели, пути в Европу были уже отрезаны. У многих из них дети ушли раньше — с отступающими войсками Деникина, в обозах немцев, на кораблях интервентов. И они доживали сейчас не свою, не им предназначенную жизнь. Работали машинистками, курьерами в учрежде-

ниях, нянечками в больницах, редко корректорами, переводчицами, библиотечарями. Они ни на что уже не надеялись, даже на встречу с детьми, о которых уже десятилетия ничего не знали. Не знали даже, живы ли они.

Среди них были очень колоритные фигуры. В нашем квартале жила высокая, неправдоподобно худая, несусальная старуха, казалось, кости у нее выпирают из тех мест, где у других людей их и вовсе нет. Она ходила в мужских ботинках, вероятно, сорокового размера. К этому прилагалась нелепая, не шедшая ей шляпа — летом из черной соломки, зимой — фетровая. На двери ее маленькой квартирki — одна комнатка и кухня — была прикреплена табличка "La comtesse de Golovina" — графиня Головина. Она работала акушеркой в родильном доме нашего района, и не одно поколение малышей с окрестных улиц прошло через ее руки. Безотказно приходила на помощь любой женщине, днем и ночью и, конечно, совершенно бескорыстно. Любую попытку как-то отблагодарить ее она встречала с таким возмущением, что каждый понимал: предлагая ей что-то, он совершает нечто в высшей степени бестактное. Головина была совершенно одинока и бесстрашна. Неоднократные попытки домоуправа и участкового заставить ее снять немислимую для советских времен табличку на дверях ни к чему не приводили. Она неизменно отвечала:

— Молодые люди, не вы и не ваша власть давали мне титул. Не вам его и забирать. Я — последняя в своей ветви, со мной она окончится. А если вы уже здесь, прошу вас к столу, выпьем чаю с вареньем.

Будучи хорошо воспитанными людьми, они, эти старушки, стоически переносили все, что выпало на их долю, не жалуясь, не сетуя на тяготы. Для них отдушиной были эти встречи в своем кругу, иногда беглая беседа по-французски о жизни и людях, которых давно уже нет.

Шли годы, я выросла, уже и сама заходила к Анне Николаевне, брала у нее книги, удивляя ее своей увлеченностью английской литературой. Постепенно история ее жизни, конечно, фрагментарно, сложилась в моем сознании.

Отец ее — журналист Николай Цакни, грек, увлекался в молодости идеями социал-демократии, жил в Париже. Мать — еврейка, рано умерла от туберкулеза. Детство Анны Николаевны прошло в Париже. Не тень ли этой девочки в высоких ботиночках и шляпке с лентами, стоящей у белого ажурного стула, искала я на аллеях Люксембургского сада, на аллеях, безвозвратно утративших свое очарование? Когда Анне Николаевне было лет семь-восемь, отец женился вторично, на гречанке. У них родился сын Юлий, впоследствии ставший юристом.

Николай Цакни незаметно отошел от игры в революцию, вернулся в Одессу, и неожиданно оказалось, что он человек небедный. Ему принадлежал солидный литературный альманах "Южное обозрение", имение, виноградники, которые приносили немалый доход. Жена его страстно увлекалась оперой. В знаменитом здании Одесского оперного театра, кроме постоянной труппы, часто выступали итальянские певцы, приезжали на гастроли Леонид Собинов и Федор Шаляпин. Анна Николаевна училась в гимназии, была очень привязана к своей мачехе, разделяла ее увлечение музыкой. В их доме царила атмосфера веселой богемы. У них бывали писатели, журналисты, художники Петр Нилус, Евгений Буковичский, Куровский — те, кто позднее принимали участие в создании Южнорусского товарищества художников.

В 1897 году Николай Цакни, в связи с предстоящей публикацией в альманахе, приглашает в Одессу Ивана Бунина, чьи стихи уже обрели известность. И он, несколько сухой и чопорный человек, гордящийся своим происхождением, своим родом, давшим русской литературе таких поэтов как Анна Бунина, Василий Жуковский, попадает в яркий южный город, знакомится с людьми, в жилах которых течет кровь русских и украинцев, евреев, геноуэзцев, французов, греков, турок, молдаван — та удивительная смесь, подарившая миру столько талантливых, красивых и смелых людей. Со многими из них он познакомился тогда в Одессе, сохранил дружбу на всю жизнь. И, прежде всего, с Нилусом, их дружеские отношения продолжались и в эмиграции, в Париже, до конца дней.

И здесь, в Одессе, на Бунина обрушилась любовь, как он называл намного позже — "солнечный удар". Его очаровала прелестная, непосредственная, живая Анна Николаевна. Ее душа была полна нетерпеливыми желаниями: она хотела писать стихи и картины, петь, учить детей, но, главное, она хотела быть счастливой. Они поженились в 1898 году — выпускница гимназии и поэт. Бунин был на десять лет старше Анны. Сначала они поселились в шумном доме Николая Цакни. Потом была зима в Париже.

— Меня называли самой красивой женщиной сезона, избирали королевой балов, — не без некоторой доли тщеславия рассказывает Анна Николаевна. — Называли русской красавицей, хотя я ну никак не соответствовала этому типу. Мне хотелось выезжать в свет, танцевать, мы поздно возвращались. Это, конечно, мешало Ивану Алексеевичу работать.

Позже они жили в Петербурге и Москве. Были знакомы с Короленко, Чеховым. У них часто бывал Максим Горький, который восторженно относился к таланту Бунина, всегда отдавая ему пальму первенства в творчестве.

— Знали ли вы Блока, Белого, Анна Николаевна? — выдаю я невольно свои симпатии и любопытство.

— Нет, нет, — говорит она. — Они искали знакомства с Иваном Алексеевичем позже, после меня.

Это "после меня" наступило скоро. Она обвиняла его в черствости, холодности. Он ее — в легкомыслии, неспособности разделить его идеалы и интересы, неумении наладить жизнь. Разрыв произошёл, когда она была беременна. Родился сын Николай. В пятилетнем возрасте он умер от заболевания сердца — осложнение после перенесенной скарлатины.

Бунин тяжело переживал крах любви, крах семьи. Для Анны Николаевны смерть сына была просто катастрофой.

Она открыла ящик письменного стола и достала книгу карманного формата. "Жизнь Арсеньева" было написано на мягкой обложке, и подзаголовок "Юность".

— Здесь все, и о нас тоже, так, как видел он. Нет, я не дам вам. Это чтение еще не для вас, рано. Прочтете когда-нибудь, со временем, когда меня не будет. Я благодарна ему за эту книгу; поняла, что не могло быть иначе, может быть, наконец-то поняла и его. И простила, — она помолчала, — почти простила.

Я подержала в руках, не раскрывая, книгу. "Париж, 1934 год", — значилось на обложке.

Я прочла "Жизнь Арсеньева" в 1966 году, когда Анны Николаевны уже не было в живых. Автобиографический роман, где жизнь вымышленного литературного героя неотделима от жизни автора. Как часто он возвращается в этом романе к мысли о том, что крах любви в браке с его житейскими дразгами, тяготами неизбежен, и что смерть, как завершение любви, предпочтительнее неизбежной пошлости брака. Последние фразы романа потрясли меня, и с тех пор я всегда воспринимала все, что написано было им после разрыва с Анной Николаевной, только под определенным углом зрения — мне казалось, что он вел всю жизнь диалог с ней, и только с ней: "Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда".

Эти слова выплеснулись из сердца 64-летнего Бунина, когда мелочь

обид и непонимания уже давно перегорела, и остался лишь след чистой страсти, посетившей его однажды в молодости.

Пройдя через годы тоски, депрессии, Анна Николаевна выходит замуж во второй раз. И снова спутник ее жизни — человек неординарный — Александр Михайлович Дерибас. Фамилия Дерибас стоит в Одессе в ряду таких фамилий как герцог де Ришелье, Ланжерон, граф Воронцов. Александр Михайлович — правнук Феликса Дерибаса, итальянского консула в Одессе в конце XVIII века. Феликс же был родным братом адмирала Иосифа де Рибас-и-Буйонс, руководившего строительством порта и города.

Александр Михайлович был директором научной библиотеки в Одессе. Вот почему и жила Анна Николаевна во флигеле во дворе библиотеки, где до революции размещалась казенная квартира директора. Александр Михайлович Дерибас был автором книги "Старая Одесса", первое издание которой было приурочено к трехсотлетию дома Романовых и вышло в 1913 году. Книга эта, говоря современным языком, сразу же стала бестселлером. К пятидесятым годам она была редкостью, и считалось удачей, если удавалось достать ее на несколько дней или хотя бы перелистать большой, нестандартного формата толстенный том, зеленый с золотым обрезом. Это, вне всяких сомнений, лучшая книга об Одессе. Все, что написано было позже, — в какой-то мере вторично, так как авторы вольно или невольно отталкивались от этой книги. В ней было все: история причерноморских земель — античность, скифы, турки, крепость Хаджибей, история черноморского казачества и русско-турецкие войны, основание города, квартальные планы застройки, катакомбы, история Одессы как города, пользовавшегося особым статусом — "порто-франко". Были в ней и портретные главы — пираты и контрабандисты, губернаторы, градоначальники, негодяи; главы, посвященные писателям, художникам, театру. И в ней было главное — дух города и дух терпимости и уважения ко всем жившим и живущим рядом.

Анна Николаевна снова живет в интеллектуальной среде. Семья Дерибас поддерживает связи с ученым миром, писателями. В библиотеке проходят литературные чтения, встречи, диспуты. Эту сложившуюся традицию удалось сохранить и после революции. Все рухнуло в 1937 году, когда сын Дерибаса от первого брака был арестован и расстрелян. Александр Михайлович не выдерживает этого потрясения и вскоре умирает. От двухэтажной директорской квартиры к тому моменту, когда я впервые пришла туда, у Анны Николаевны оставалась лишь одна комната, в дру-

гих уже давно располагались различные отделы библиотеки. Администрация библиотеки охотно заполучила бы и эту, последнюю, но Анна Николаевна упорно отвергала все предлагаемые ей в новых районах квартиры. Она, вероятно, и не знала, где эти районы находятся, и никогда в них не бывала. Комната была, наверное, последней ниточкой, связывающей ее с ушедшей жизнью. В комнате было слишком много мебели темного цвета. Но мне всегда казалось, что Анна Николаевна живет отдельно от вещей, окружающих ее, что они и не нужны ей вовсе. Я помню ее либо сидящей за столом под оранжевым абажуром, либо в кресле у окна с книгой в руках. Никогда не видела, чтобы она занималась, как говорится, хозяйством. К ней часто забегали пожилые сотрудницы библиотеки, те, которые работали еще при Александре Михайловиче. Они покупали для нее продукты, будто бы невзначай смахивали пыль, кое-как поддерживая порядок в комнате. И было в этом что-то почти родственное, хотя сочувствия и жалости по отношению к себе она не допускала — гордый характер и независимый ум исключали что-либо подобное. На улицу выходила все реже. Жизнь сводилась теперь к книгам и воспоминаниям.

А книг всегда было много. Их приносили все те же женщины из библиотеки, хотя книги по правилам на руки не выдавались, а только на читальный зал. А они, в обход правил, приносили ей даже из закрытых фондов. Впервые у Анны Николаевны я увидела книги Мережковского, Гиппиус, "Бесы" Достоевского. Иногда удавалось взять что-нибудь дня на два-три.

Шли годы... Жизнь уводила в сторону от семьи, старых знакомых, от чужих воспоминаний к накоплению своих. Я все реже бывала у Анны Николаевны.

Однажды летом или ранней осенью 1963 года я подошла к знакомой двери, она была приоткрыта. Я вошла в комнату — вдоль стен стояли шкафы, ящики картотеки. Молодая женщина за письменным столом подняла голову:

— Вы ищете кого-нибудь? Здесь каталог отдела иностранной литературы.

Я в последний раз обвела взглядом комнату, где уже никогда не прозвучит знакомое: "Здравствуйте, деточка! Заходите, я рада вас видеть", — и сказала:

— Нет, нет, я просто ошиблась дверью.

Дюссельдорф

Дом в "тихом центре"



Продолжаем публикацию серии материалов, связанных с традициями градостроительства, архитектуры и риэлтерства Одессы. Спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", вот уже седьмой год плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. В предыдущих статьях упоминалось, в частности, о зданиях и сооружениях, располагающихся в так называемом "тихом центре" — в терминологии профессиональных риэлтеров. Сегодня мы расскажем об одном из таких домов.

Ничем особенно не приметный трехэтажный дом по улице Пастера, 17 регулярно ранит сердце, когда прохожу мимо в направлении ОГНБ имени М. Горького, а затем возвращаюсь назад. Здесь, в третьем этаже, над помещениями общеобразовательной школы № 105, есть несколько жилых квартир, в одной из которых когда-то обитала семья друзей моей юности — Марины и Паши Пархомовских. Выдающийся талант в области нетрадиционной медицины и, вместе с тем, дипломированный врач, покоривший Северную Пальмиру в годы Перестройки, Паша ушел из жизни совсем молодым человеком: опекал какую-то спортивную команду, автобус которой перевернулся на горной дороге. До сих пор не могу смириться с этой потерей, по той, наверное, причине, что Пашин дар не успел в полной мере реализоваться. В память о друге, собственно говоря, и стал вчитываться в как бы третьестепенную каменную летопись. И она оказалась много интереснее, чем можно было предполагать.



Школьный двор

Первый (верхний) слой истории нашего дома говорит о преемственности его функционального назначения. Сейчас, как было сказано, здесь размещается школа № 105. (Так случилось, что в конце 1960-х я несколько раз посещал ее с дружескими визитами: десятиклассники



Новое назначение старинной цистерны

ки нашей СШ № 106, расположенной на 14-й станции Большого Фонтана, решили наладить связь с соседней по нумерации школой, оказавшейся в центре города. Помнится, мы провели пару внеклассных встреч, на которых совместно пели "Битлов" и что-то еще такое же полудозволенное). А прежде в том же строении помещалась частная гимназия, начальницей которой состояла О.В. Кандыба.

По какому-то совпадению Ольга Владимировна Кандыба была внучкой боевого генерала, в незапамятные времена владевшего другим частным домом на той же улице Херсонской (Пастера). С 24 августа 1898 года определилась в ведомство народного образования и служила домашней наставницей. Высочайшее утверждение ее заявки на открытие новой частной гимназии в Одессе последовало 13 ноября 1907 года. Таким образом, можно считать, что СШ № 105 только что минуло 95 лет. Впрочем, официальный документ и фактическая его реализация разобщены некоторым сроком. Так, набор штата в новооткрытое учебное заведение развернулся лишь в начале следующего, 1908, года. Даты зачисления сотрудников охватывают январь-сентябрь 1908-го, а далее — сентябрь 1909 года. И, следовательно, празднование юбилея может быть перенесено и на старт следующего учебного года.

Гимназия Кандыбы приравнивалась к классической. Здесь имелось семь основных классов, дополнительный (так называемый учительский: он давал право преподавать в начальных классах и народных училищах) и один приготовительный. Число учащихся простиралось до 250. В разные годы тут преподавали известные не только в городе, но и далеко за его пределами педагоги, ученые, общественные деятели, люди искусства: Борис Федорович Цомакион, Александр Михайлович Панченко, Сергей Николаевич Кононович, Петр Михайлович Бицилли, Филипп Иванович Мартен, Лаура Львовна Паппадато (ближайшая родственница семьи Сикаров), Валентина Сергеевна Шестерикова, Олимпиада Владимировна Мурузи (родственница известного Стурдзы), Мария Николаевна Ревелиоти (родня популярных ныне одесских художников) и другие яркие фигуры интеллектуальной Одессы.

Гимназия арендовала частный дом Шретера на углу Херсонской и Конной. Николай Александрович Шретер — тоже довольно яркий персонаж одесского общества начала XX столетия. Крупный коммерсант, член комитета торговли и мануфактур, биржевого комитета, коммерческого суда, выборный купеческого сословия, председатель правления евангелическо-реформатской церкви (расположена на четной стороне

ки нашей СШ № 106, расположенной на 14-й станции Большого Фонтана, решили наладить связь с соседней по нумерации школой, оказавшейся в центре города. Помнится, мы провели пару внеклассных встреч, на которых совместно пели "Битлов" и что-то еще такое же полудозволенное). А прежде в том же строении помещалась частная гимназия, начальницей которой состояла О.В. Кандыба.

той же улицы, на квартале между Преображенской и Дворянской, недавно возвращена общине) и прочая, и прочая. Дом этот неоднократно перестраивался и менял нумерацию: так, даже в начале прошлого века он носил № 21. Прежним его и ряда других домов по Херсонской (№№ 1, 21, 23, 25, 29, 33, 35) владельцем был известный в старой Одессе благотворитель и меценат Коган — тот самый, на средства которого были выстроены так называемые Когановские учреждения, и именем какового официально нарекли фонтан в начале улицы.

Но самое любопытное заключается как раз в другом. Всё дело в том, что, оказывается, нынешняя СШ № 105 фактически является... памятным пушкинским местом! И для подобного смелого заявления имеются достаточно веские основания. Начнем с того, что в ноябре 1819 года здесь, на территории, ныне занимаемой школьным домостроением, закончилось сооружение дома одесского первой гильдии купца Василия Кошелева, представителя тогдашней коммерческой элиты. Собственно говоря, это были два трехэтажных каменных дома с погребями, разобщенные проездом во двор, где дополнительно выстроили два двухэтажных флигеля с подвалами и различные службы (конюшня, каретный сарай и прочее). Конная улица тогда еще именовалась Селиховской, по фамилии генерал-майора Егора Селихова, приметный дом которого в это время стоял на пересечении нынешних Конной и Щепкина (Елисаветинской). Как видно из архивного документа, обнаруженного в свое время видным историком градостроительства В.А. Чарнецким, этот дом Кошелева был сдан внаем для квартирования одесского градоначальника графа А.Д. Гурьева сроком с 20 сентября 1823 по 20 сентября 1825 года. Из чего следует, что кошелевский "строительный комплекс" был одним из лучших в городе.

Александр Дмитриевич Гурьев (1787—1865), сын министра финансов Д.А. Гурьева и брат М.Д. Нессельроде, как известно, входил в круг одесских знакомых Пушкина. По авторитетному свидетельству И.П. Липранди, они познакомились еще в Петербурге, в конце 1810-х годов. "В Одессе Пушкин был частым посетителем дома Гурьева", — пишет автор монографии "Пушкин и его окружение" Л.А. Черейский. В письме из Михайловского, датирующемся первой декадой декабря 1824 года, поэт спрашивает своего одесского приятеля Д.М. Шварца: "... Скажите, во-первых, выздоровела ли маленькая графиня Гурьева". Семилетняя Мими Гурьева умерла чрез несколько дней после отъезда Пушкина из Одессы, о чем он, вероятно, узнал с большим опозданием.

Из опубликованных не так давно одесских писем супруги А.Д. Гурье-

ва, Авдотьи Петровны, урожденной графини Толстой, видно, что она была в курсе всех светских дел, и, в частности, сообщала матери об удалении Пушкина из города как неблагонадежного. Это известие тем более примечательно, что Гурьева по всем статьям соперничала в свете с "монархом Одессы" Воронцовым, но, прежде всего, с монархиней Браницкой. Из контекста писем следует, что "салон Гурьевых" поддерживал свое реноме и был не плоше "салона Воронцовых", расположенного буквально через дорогу, на соседнем квартале Херсонской, в не менее роскошном (по провинциальным, разумеется, меркам) особняке Фундуклея (ныне — Пастера, № 42, где физический факультет Одесского университета имени И.И. Мечникова).

Вот и получается, что скромный дом в "тихом центре" впитал в себя немало эпизодов региональной истории, в том числе — судеб исторических персоналий. Мне могут возразить, что ветхозаветный дом Кошелева и нынешний суть не одно и то же. Как знать. Некоторые вопиющие детали наводят на определенные размышления. Например, неизменная этажность, наличие характерных подвальных помещений и др. Рискну предположить, что в ходе дальнейших перестроек вполне могли быть частично сохранены первые, а, тем более, подвальные (цокольные) этажи, как это вообще нередко практиковалось в старой Одессе. Историк местного градостроительства В.А. Пилявский, например, рассказывал мне, что при разборке старых домов порой оставляли нижнюю часть каркаса, а затем надстраивали, причем, случалось, сразу несколькими этажами. Так или иначе, но адрес для мемориальной доски у нас вполне надежный.

Я чувствую, что "Гений Места" витает над этим домом на Херсонской — той самой улице, по которой в сопровождении одесских друзей когда-то бродил молодой беспечный поэт. И в этом же доме и сейчас то и дело звучит на уроках словесности хрестоматийное: "Итак, я жил тогда в Одессе..."

История одной семьи

(Публикуется с сокращениями)

Кто хоть однажды был гостем Одессы, не мог не посетить гордость одесситов, Приморский бульвар. Он — часть истории города, истории тех, кто жил в Одессе. Если стать лицом к морю, справа — здание Городской Думы, слева — Воронцовский дворец. В центре бульвара гостей, поднимающихся по Потемкинской лестнице, гостеприимным жестом встречает первый одесский градоначальник и херсонский военный губернатор герцог де Ришелье. На почетном месте напротив Думы застыл бронзовый Пушкин.

О бульваре можно написать многотомную историю, но у меня другая задача: встреча с героем, судьбы которого коснулась история города, история бульвара. До революции бульвар назывался Николаевским. После революции его переименовали в бульвар имени Фельдмана. Константин Фельдман был революционером, принимал участие в восстании на броненосце "Потемкин". Я это название уже не застал, знаю о нем только по рассказам старых одесситов. Еще до войны бульвар вновь переименовали. Разве допустимо было, чтобы знаменитый бульвар носил имя какого-то еврея, пусть даже и революционера?

Утесов в своей книге "Спасибо, сердце!" по этому поводу вспоминает анекдот.

Человек садится на извозчика.

— Куды ехать?

— Бульвар Фельдмана.

— Куды?

— Бульвар Фельдмана.

— Какого Хвельдмана?

— Ну, Николаевский бульвар.

— Н-нооо! Вот уже двадцать пять годов по Одессе ездию, а не знал, что Николая була фамилия Хвельдман...

Мой собеседник родился после тех далеких событий, когда броненосец "Потемкин" вышел на рейд и произвел несколько выстрелов по городу, но именно из его уст я впервые услышал подробности этой бомбардировки. Признаться, первое знакомство здесь, в Мельбурне, с Юлием

Фельдманом не вызвало у меня никаких ассоциаций, связанных с городом, где я родился и прожил большую часть жизни. Как же я удивился, узнав, что Юлий — родственник Константина Фельдмана, в честь которого был назван городской бульвар!

До встречи с Юлием я узнал, что ему 82 года, что его непростая жизнь полна приключений. В моем воображении возникал образ старого человека, ровесника революционных потрясений в России. А познакомился я с молодым, стройным, энергичным человеком. Чувство юмора, доброжелательность, прекрасная память характеризовали рассказ о жизни, о друзьях, об удивительных встречах. Мы часто очень мало знаем о своих дедах-прадедах, о близких родственниках. Юлий Фельдман провел кропотливую поисково-исследовательскую работу, собирая сведения о своих предках. Я разглядывал его огромную личную библиотеку, старые пожелтевшие документы, письма, фотографии. Многие реликвии, бережно собранные в личном архиве, могли бы украсить любой исторический музей. Старинная гравюра городского вида Одессы, изготовленная в Лондоне в 1878 году, фотографии его прадедов, дедов, фото интерьеров дома прадеда, дело царской охранки 1905 года, возбужденное против его отца-революционера.

И еще об одном ощущении от общения с супругами Фельдман мне хотелось бы сказать. Лысец может притвориться искренним, скупой — добрым, но невозможно притвориться интеллигентом. Принадлежность Сандры и Юлия к интеллигенции сказывалась во всем: в образе мыслей, в воспитании, в отношениях с людьми, в поведении. На мой вопрос: "Что вы считаете главным в людях?", Юлий ответил: "Открытость, честность, умение удивляться". И по этим принципам живет он сам. Вероятно, читатель уже достаточно заинтригован. Пора переходить к делу, ибо жанр "Мельбурнских встреч" — интервью. Я предоставляю слово Юлию Фельдману.

— Без учителей не бывает учеников, без корней не вырастает дерево. Наши учителя, наши корни — это наши предки. Юлий, я знаю, Вы пишете книгу "История семьи". Расскажите немного об этом, пожалуйста.

— Мой отец был старшим сыном в семье. У него было еще два брата. Мой дед, Илья Фельдман, — потомственный купец. Его отец, Яков Фельдман, стал купцом после Крымской войны. Его предки, по моим данным, приехали из Могилева в первой половине XIX века. Они сразу поняли, что такое "очень свободная" экономическая зона.

Прадед начал жизнь в Одессе, построив для своей семьи дом. Город в те го-

ды стремительно развивался. Этому способствовало все: близость моря, климат, плодородные земли и, наконец, введение "порто-франко". Построив свой первый дом, Яков Фельдман занялся строительством. Воспитанный в ортодоксальной еврейской семье, он получил высшее образование, увлекся языками. Знал французский и английский. Изучению английского способствовали исторические события того времени. Шла Крымская война, Одессу блокировала с моря англо-французская эскадра. Один из английских кораблей "Тигр", подойдя близко к городу, обстреливал Одессу, но, не зная фарватера, сел на мель. Команда была взята в плен, с судна сняли все орудия. Одно из них и сегодня стоит на бульваре. Внизу, на постаменте, высечена надпись: "Эта пушка больше никогда не будет стрелять по городу". Одеситам все это хорошо известно. Многие из пленных офицеров поселились на квартирах, свободно разгуливали по городу. Один из них подружился с моим прадедом, бывал у него в доме. Вот когда Яков мог совершенствовать свой английский!

После окончания войны Яков Фельдман отправляется в Англию. Теперь его черед гостить у английского друга. Его знакомят с промышленниками. Так Фельдман становится одним из крупных купцов на одесском рынке. Занимается меценатством. За заслуги перед городом ему присвоили звание "Почетный гражданин Одессы". Женился он рано, в 16 лет, на девушке из богатой еврейской семьи. Ее отец занимался торговлей тканями. Ежегодно Яков выезжал в Англию, Францию, Германию, закупал товары и привозил их в Одессу. Появилась необходимость в собственном магазине, и вот он получает в городской Думе разрешение на строительство дома, на первом этаже которого располагает магазин.

У прадеда родилось двенадцать детей — шесть мальчиков и шесть девочек. Прадед был религиозным человеком, соблюдал кашрут. Старший его сын, брат моего деда, стал инженером, был одним из сподвижников Морозовых, принимал активное участие в строительстве уральских заводов. Дослужился до звания статского советника.

Мой дед продолжил дело своего отца, тоже был купцом. У него родилось трое сыновей. Старший из них, Марк, мой отец, родился в 1886 году, затем родился Михаил, потом Семен.

— Юлий, что Вам известно о Константине Фельдмане, в честь которого после революции был переименован бульвар?

— Константин Фельдман, как известно, был "командирован" на восставший броненосец партией. Кстати, любопытный факт: роль Фельдмана в фильме Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" исполнял... Константин Фельдман.

В революционную деятельность Константин вовлек и моего отца. В конце 1905 года партийная ячейка поручает отцу изготовить бомбу. Он занимался этим в подвале семейного дома. Устройство взорвалось у него в руке, оторвав часть кисти и три пальца. Взрыв раздался ночью. Вызвали доктора, а вместе с ним появились полицейские. Отца схватили, и окровавленный стол стал вещественным доказательством на суде. В 1905 г. в Одессе вводят военное положение. Марка Фельдмана судит военный трибунал. После суда отца отправили в Шлиссельбургскую крепость, а оттуда — этапом на каторгу, в Сибирь. В 1990 году я разыскал в Москве, в архивах, дело моего отца. Копию его вы держите в руках. Отец трижды подавал прошение о помиловании — и трижды получал отказ.

Отбыв на каторге 2 года и 8 месяцев, он получил разрешение на свободное поселение в пределах Сибири. Человек он был образованный, знал английский, французский, немецкий, итальянский языки, и устроился на работу в Русско-Азиатский банк. К 300-летию дома Романовых была объявлена амнистия. Но Марк Фельдман, как политический ссыльный, амнистии не подлежал. В банке он успешно работает, и его направляют в пограничный с Китаем город Кяхту менеджером в местное отделение. Этот небольшой городок во многом определил его судьбу. Там отец познакомился со своей будущей женой.

— Вероятно, к этому времени Марк Фельдман разобрался в своих политических пристрастиях?

— Расскажу по порядку. Началась гражданская война, и руководство банка поручило отцу вывезти ценные бумаги в Китай. Нелегально, через Монголию, пустыню Гоби, он вывез документы в Харбин. Во время его отъезда, в 1919 году, в Кяхте родился я. Отец в Китае принял участие в открытии отделения банка от Советской России. В 1922 году мы с мамой приехали к нему в Шанхай. Затем отца перевели на работу в представительство Центросоюза в Шанхае. Год 1933-й, мне 14 лет. Вечером отец вернулся с работы. Вид у него необычный, чувствую — что-то случилось. Он долго говорил о чем-то с мамой, затем позвал меня и сказал: "Мне приказано вернуться в Россию. Мы с мамой свою жизнь прожили, а для тебя она только начинается, поэтому тебе и решать вопрос о нашем возвращении". Я несколько растерялся. Почему мне, мальчику, нужно принимать столь ответственное решение? И тогда отец произнес: "Я только одно скажу тебе. К власти пришел Сталин. Он очень большая сволочь". Это решило нашу судьбу. В 1933 году мы стали невозвращенцами.

— А что произошло с родителями отца?

— Они эмигрировали во Францию. В свой первый отпуск в Китае папа решил посетить Францию, встретиться с родителями, которых он не видел с 1906 года. Родители предполагали там остаться, я уже поступил во французскую школу, но тут Европу парализовала Большая Депрессия. Работу найти было невозможно, и отец решил вернуться в Шанхай.

— Чем занимались братья отца?

— Они оказались у истоков создания русского кинематографа во Франции. Русский еврей Александр Каменка открыл киностудию "Бианкур". Здесь снимался известный русский актер Иван Мозжухин. В качестве операторов братья отца участвовали в съемках фильма "Мать" по произведению М. Горького. Режиссером был Жан Ренуар, сын знаменитого художника Огюста Ренуара. Также Михаил и Семен Фельдманы принимали участие в съемках фильма "Наполеон" (режиссер — знаменитый Абель Ганс). Они были первооткрывателями операторских трюков с наездом камеры. Придумали огромный маятник, на него водрузили камеру с оператором. При очередном качании маятник приближался к актеру, и происходила съемка. Они впервые снимали одновременно тремя камерами, а затем фильм демонстрировался на трех экранах.

— А как складывалась дальше жизнь Вашей семьи?

— Мы с мамой прожили в Париже всего один год, потом вернулись к отцу, в Шанхай. Я поступил во французскую школу, а, окончив ее, — в Американский университет. Жизнь для меня в Китае была легкой и веселой. У нас была прислуга, китаянка. Занимался я на факультете журналистики. В университете ежегодно проводили конкурс на лучший рассказ, и в первый же год учебы я за свой рассказ получил первую премию.

— На каком языке Вы общались в Шанхае?

— Дома на русском, в школе — на французском, в университете и в городе — на английском. Шанхай был поделен на зоны — интернациональную и китайскую. Мы жили в интернациональной. Здесь разговаривали по-английски. В 1937 году японцы оккупировали Южный Китай, заняли китайскую часть города. Я неплохо рисовал, и в университете стал изображать японцев в своих шаржах. Узнав об этом, отец очень расстроился. "Я отсидел достаточно, не хочу, чтобы ты повторил мой путь", — сказал он мне. Не зная, как могут развиваться события, родители решили, что мне лучше уехать из Китая. Лучшим вариантом была Америка, так как я занимался в Американском университете. Но за учебу нужно было уплатить 10 тысяч долларов, таких денег у родителей не было. Отец был в дружеских отношениях с австралийским консулом. Тот предложил от-

править меня учиться в Австралию. Вот так и случилось, что не я выбрал Австралию, а она выбрала меня — и я об этом никогда не пожалел.

— Когда Вы приехали в Австралию?

— Шел 1938 год, мне было 19 лет. Первое время было достаточно тоскливо. Впервые один, без родителей, без друзей. Тогда появились и мои первые стихи об этом.

— А на каком языке Вы писали?

— Представьте, на русском.

Дождь за окошком, дождь на тропинке
Дождь на земле, на кустах...
Капли дождя на собачьей спинке,
Капли дождя на цветах.

Гром за окошком, гром за горами,
Громом окутан лес.
Грома раскаты злыми руками
Шарят по полке небес.

Серое небо, серая стужа,
Серый мерцающий свет,
Серая туча, серая лужа,
Серая лента лет.

Грусть в этой серости,
Грусть в этой стуже,
В ржавой шляпке гвоздя.
Грусть в чужом громе,
Грусть в чужой луже,
В каплях чужого дождя.

Дождь за окошком, дождь на тропинке,
На тусклом лунном ковше.
Капли дождя на собачьей спинке,
Слезы дождя на душе.

Любопытно, что в прошлом году в Мельбурне университет Монаша проводил конкурс на лучшую прозу и стихи. Пригласили участвовать

и меня. Я вспомнил об этом стихотворении 1939 года. Только что приехал, ностальгия, одиночество... Именно это стихотворение я отправил на конкурс — и завоевал вторую премию.

— Как складывалась Ваша жизнь здесь, в Австралии?

— Поначалу я, как многие эмигранты, освоил много профессий. Приехав, я хотел продолжить свое образование в университете. К сожалению, в Австралии не признали годы моей учебы в Шанхае. И нужно было начинать с нуля, да к тому же оплатить сразу первые четыре года занятий. Денег у меня не было, и я стал искать работу.

Первая работа была связана со знанием французского. В Австралию приехала группа велосипедистов из Франции, Бельгии, Италии, и меня пригласили быть у них переводчиком. Затем мой новый знакомый, Карл Залапа сказал: "Ты знаешь, из Америки сюда пришла яхта, она совершает кругосветное путешествие. Один из членов команды, чилиец, решил остаться в Сиднее. Почему бы тебе, пока ты свободен и молод, не попутешествовать? Капитан яхты — американец, знает французский. Приди и скажи ему, что ты хочешь заменить сошедшего на берег".

Сейчас я осознаю, какой это было авантюрой. Но, представьте себе, меня приняли в команду. Позже я узнал, что и само путешествие тоже было в некотором роде авантюрой. В Америке снимали фильм по Киплингу "Бравые капитаны". В съемках участвовало несколько яхт, специально закупленных для фильма. После съемок яхты распродали. Мой будущий капитан приобрел одну из них. Жена его — австралийка, и они решили отправиться в кругосветное путешествие с заходом в Австралию. Денег для оплаты команды не было, и супруги собрали команду молодых авантюристов, готовых оплачивать свое содержание.

У меня оставались еще какие-то деньги после приезда, и плата 15 шиллингов в неделю за пребывание на яхте была не столь велика. Так я стал членом команды. Из Сиднея мы отправились вдоль побережья Австралии. Полгода болтались у Большого Барьерного рифа. Однажды на севере Квинсленда мы обнаружили небольшую бухту, ее даже не было на карте. Войдя в нее, мы были поражены открывшейся красотой. Тропический лес, изумительный пляж. И самое удивительное — мы увидели небольшой причал, пришвартованный пароходик и людей, грузивших сахарный тростник. Сейчас я не могу объяснить, почему мне вспомнился рассказик, прочитанный еще в Харбине. В нем шла речь об американском миллионере, отправившемся в кругосветное путешествие. Он искал переводчика-полиглота. Среди других пришел один русский и заявил, что он именно

тот, кто нужен. Когда пароход причаливал в очередном порту, мнимый переводчик выходил на палубу и кричал: "Кто здесь русский?". И почти всегда находил соотечественника, знающего местный язык. Он переводил с местного на русский, а находчивый "переводчик" пересказывал своему хозяину по-английски, и все были довольны. Так же поступил и я: вышел на палубу и крикнул: "Кто тут русский?". Представьте себе, один из работающих тут же откликнулся! Так что русские есть везде...

Вскоре выяснилось, что жена капитана беременна. Из Кэрнса капитан отправил ее в Сидней по железной дороге, а мы вернулись туда же морем и бросили якорь в Сиднейской бухте 3 сентября 1939 года.

Для меня возвращение в Сидней оказалось счастливым. Я получил работу журналиста в спортивном отделе газеты "Дейли телеграф". Одновременно, чтобы приобрести специальность, я поступил в авиационный колледж "Кингсфорд Смит". Во время войны я работал слесарем в авиационных мастерских. А потом мне улыбнулась фортуна. Меня познакомили с человеком, который решил выпустить первый в Австралии журнал водного спорта. Он предложил мне участие в этом журнале, и моя рубрика оказалась единственной профессиональной рубрикой. Позже я стал редактором журнала.

— Я знаю, что вся Ваша последующая жизнь связана с издательской деятельностью. Какие журналы вы выпускали?

— В общей сложности это 12 различных журналов. Некоторые издаются и сегодня. К примеру, журнал "Современный мотор", в свое время тираж его достигал 70 тысяч экземпляров. Журналы "Electronic Today International" и "Movie" ("Кино") также выходят и по сей день. Были основаны журналы о природе, рыбной ловле и многие другие. Этому практически я посвятил свою жизнь.

— А чем занималась любящая жена?

— Я была учительницей, — говорит Сандра. — Кроме этого, всю жизнь увлекалась живописью. Когда Юлий ушел в отставку, я закончила арт-колледж. Рисую постоянно. Живопись стала моей второй профессией. А сейчас я решила издать серию детских книг. Одна уже вышла из печати, готовлю вторую. Я сама рисую иллюстрации и готовлю текст. Очень помогает мне Юлий как опытный журналист и редактор.

— Юлий, я знаю, что Вы бывали в России. Расскажите об этом.

— Первый раз я был в СССР в 1968 году. Все свои впечатления я заносил в блокнот. Там была описана краткая история моего отца-революционера и рассказ моего дяди Семена, живущего в Париже, его описание,

как найти семейный дом в Одессе, а также его воспоминания о событиях 1905 года. Это, кстати, любопытно. Когда "Потемкин" вышел на рейд, он стрелял по городу. И надо же такому случиться, что один из снарядов зацепил карниз дома моего прадеда Фельдмана! Дядя Семен, тогда еще мальчик, нашел осколки этого снаряда и всю жизнь возил их с собой. После войны он отправил их в СССР. Получил благодарственное письмо от правительства, в котором сообщалось, что знаменитые осколки размещены в Музее революции. Когда мы приехали в Москву, я пришел в музей, представился, и мне показали стенд. Там на красном бархате лежали осколки. Надпись гласила: "Осколки снаряда броненосца "Потемкин", выпущенного в 1905 г. по г. Одессе и присланные Семеном Фельдманом из Парижа".

— А как Вам удалось разыскать личное дело отца, осужденного за революционную деятельность?

— Во время первого моего визита, в 1968-м, об этом не могло быть и речи. Только два года назад я вновь приехал в Москву и обратился в архив. На мой запрос мне ответили: "Напишите письмо начальнику архивов профессору Мироненко. Его рассмотрят, и вы получите ответ". Время было ограничено, и я пошел другим путем. Вновь отправился в Музей революции — теперь он называется Музей современной истории. Там я встретился с директором музея, рассказал историю отца и объяснил, что хочу ознакомиться с его делом. Директор музея помог мне связаться с архивами на Большой Пироговской, 17, направил к нужным сотрудникам.

На следующий день еду в архив. Огромные старые дома, все запущено, пустые гулкие коридоры, цементные полы. И вот, наконец, я с волнением держу в руках "Дело" моего отца. На титульном листе читаю: "Дело Департамента полиции о Марке Фельдмане № 1655 1906 года, Одесса". Мне разрешили сделать копии с него.

Так замкнулся круг истории моей семьи, связанный с первой русской революцией, с уникальным городом — Одессой, где, как писал Утесов, "в театре люди сидят с клавирами и даже с партитурами. Они следят за всем — за оркестром, за певцами. Их не обманешь".

Еще одна встреча, еще одна судьба. Рассказ о времени, ставшем историей, о нашем соотечественнике, австралийском журналисте, пишущем стихи на русском языке. Юлий Фельдман всегда был активен. И сегодня он продолжает жить полноценной жизнью — путешествует, много читает, любит музыку, пишет "Историю своей семьи". В свободное время перево-

дит стихи Маяковского, Пастернака, Евтушенко. Особенно любит Бориса Пастернака. На мой вопрос "почему?" Юлий ответил: "Это имя знакомо мне с детства. Моя бабушка по материнской линии, Елизавета Марковна Пастернак, была кузиной Бориса Пастернака". В последний свой приезд в Россию Юлий с Сандрой посетили вдову сына поэта, Леонида, в Переделкино.

Юлий никогда не жил в Одессе. Но существует генетическая связь с прошлым, откуда прорастают наши корни. Несколько поколений Фельдманов родились и выросли на берегу Черного моря, в городе, столь известном во всем мире своими культурными традициями. В городе, где всегда жили Вера, Надежда, Любовь. Вера в будущее, Надежда на лучшее и Любовь к таланту. Эти традиции мой герой пронес через всю жизнь.

Мельбурн



Свиная рапсодия под одесским небом

Из обобщенного ретроскопического опыта

"Свинья грязи найдет..."
Бытовая поговорка

"В отделе кадров — суета
Приобрели в мешке кота,
И ждут, чтоб котик замяукал.
Ждут день, другой, — а он захрюкал!"
И. Зелинский. Через всю жизнь. 2000 г.

Сегодня, когда Украина вступила во второе десятилетие самостоятельного существования (что, увы, не у всех вызывает положительные эмоции), одесситам старшего поколения, в частности, участникам боевых действий Второй мировой, все чаще вспоминается прошлое своего родного города, преимущественно отдельные запомнившиеся детали его до- и послевоенного бытия, когда, по словам еще не забытой песни, "и молодые мы были, и искренно любили, и верили в себя".

Иногда вспоминается не хорошее и не плохое, а черт знает что, особенно если оно оказывается хоть чем-то созвучным современности (возрастная специфика — более яркая память о делах давно минувших дней) или, наоборот, вызывает эмоции "от обратного". Не пытаясь, на правах ветерана ВОВ нудно поучать нынешнее поколение сограждан, автор, тем не менее, склонен поделиться с ним отдельными аспектами накопленных за три четверти века "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет", в том числе и на эпатазирующую среднего обывателя "свиную" тему.

Почему эпатазирующую? Да потому, что со времен праотца Ноя (или его шумеро-аккадского аналога с труднопроизносимым клинописным именем Утнапиштим) с его пресловутыми семью парами чистых и семью — нечистых животных, спасенных от всемирного потопа, свинья относится к категории последних, вызывая к себе у многих народов, чьи религии сформировались в свое время на Ближнем Востоке, незаслуженно дискриминационное, чтобы не сказать хуже, отношение. Отголоски подобного пренебрежения приобретают иногда довольно неожиданные

формы и, например, даже в "Книге о вкусной и здоровой пище", в 50-ые годы одобренной Институтом питания Академии медицинских наук и издававшейся многосоттысячными тиражами, среди более чем 1300 наименований блюд, полуфабрикатов, консервов, рекомендованных к употреблению, свинина и поросятина упоминаются считанные разы, а сала (или шпига) в предметном указателе нет вовсе.



Почтовая открытка 1900-х годов.

В подобной ситуации стоит вступить за честь этого всеядного парнокопытного, пусть и не избалованного вниманием мемуаристов, но по достоинству оцененного изящной словесностью в лице драматурга Д. Фонвизина, баснописца И. Крылова, сатирика О. Вишني, прозаиков А. Марлинского-Бестужева, Н. Гоголя, А. Чехова, М. Булгакова, композитора И. Кальмана, кинорежиссера И. Пыррева и многих других, пусть в эпизодах, но "обыгрывавших" свиную тему (вызывавшую улыбку на устах читателей) в своих произведениях, даже если это была выходная ария "господина всех свиней из Дебрецена" Зупана. Искусство искусством, но, не "подкладывая свиней" прошлому, здесь стоит критически оценить и некоторые дошедшие до наших дней ехидно-оскорбительные для национального самосознания народов Украины афоризмы и клички типа "Був би царем, — сало з салом їв би, та на солomé спав би" (к оценке мало-

российского менталитета). "Если уж жрать свинину, так чтоб сало по подбородку стекало" (у части жителей бывшей "черты оседлости", преступивших закон Моисея), "русские швайне" (расистское определение, от которого к концу войны, когда запахло жареным, даже ортодоксальные гитлеровцы стали отказываться) и т.д., и т.п. Современное отношение к подобным "перлам", сочиненным в свое время черносотенцами, идеологами и организаторами холокостов, голодоморов, кровавых мировых боен или другими отбросами истории, не может не быть однозначно отрицательным, без снисхождения к тем, кто этого не понимает или не прочь поглумиться над самим собой: уничтожение, как известно, "паче гордыни". Подобные шуточки в адрес "сиволапых свиноедов" недостойны народа, законно претендующего на членство в современном цивилизованном обществе, тем более, что исторически свинья с ее салом всегда была достаточно популярна в нашем регионе. Это подтверждается многочисленными находками костей сначала диких свиней в культурных слоях палеолитических стоянок человека, а позднее уже и одомашненных, — в памятниках эпохи мезо(?) и неолита, энеолита, бронзы и железа, вплоть до времен Киевской Руси (извлеченный из вод Днепра ствол мореного дуба с "набитыми" на него нижними челюстями нескольких вепрей, — охотничьи трофеи наших далеких предков) и нынешних дней.

Уже с античности свинья воспевается в скульптуре, например, в огромной мраморной туше (правда, с отбитыми еще в древности ртом и конечностями), экспонируемой в Одесском археологическом музее наряду с другими материалами из древнегреческих поселений Северного Причерноморья. Какой-либо надписи на этом произведении искусства не сохранилось, поэтому неясно, мифологический ли это образ каледонского вепря или кроманьонской свиньи, а может быть копия того реально существовавшего кабана, которого, согласно прорицанию Дельфийского оракула, древнегреческие воины должны были заповлевать и принести в жертву перед решающим сражением с вторгшимися в Малую Азию ордами лидийцев и лелегов. После одержанной победы скульптурное изображение этого кабана было водружено на стадионе Милета, а ряд северо-понтских полисов был основан в наших краях именно выходцами из Милета. Если обратиться к другим регионам Европы, то и там отдавали свинье должное, вроде памятника средневековой хавронье, некогда "отрывшей" (в буквальном смысле этого слова) близ северогерманского города Лонебурга месторождение каменной соли (свиньи, как и многие травоядные, равнодушны к этому минералу). Благодарные бургерши, не-

медленно начавшие разработку этого подземного богатства с последующей торговлей им (что сразу же повысило благосостояние города), воздвигли на площади перед городской ратушей памятник своей благодетельнице. Уже в XX-м веке жители второго по размерам датского города Орхус, через порт которого вывозится почти 100% производимых в стране на экспорт молочно-мясных продуктов, тоже поставили памятник теперь целому свиному выводу. На главной площади Орхуса, на каменном постаменте валяжно разлеглась скульптура огромной свиньи белой датской породы, как бы блаженствующей в прохладе десятка фонтанных струй, а вокруг нее располагаются в различных позах жизнерадостные поросята. Наконец, в одном из художественных музеев столицы Латвии Риги красуется с явной симпатией изваянная молодая задорная свинка, доказывая, что и латыши отдают должное этим животным.

По-видимому, уже упущено время для исследования детского городского фольклора Одессы 20-х годов (хотя наши земляки И. Ильф и Е. Петров не постеснялись вложить в уста слюнявого идиота из "Золотого теленка" дошкольную считалку — "Эне, бене, ряба, интер, квинтер, жаба!"), но до сих пор помню дразнилку, которую хором распевали мои одноклассники со Слободки в довоенной (позднее взорванной) школе № 5 при сообщении об очередных профилактических прививках, — "Доктор едет на свинье с балалайкой на спине" (?!). Одесситы среднего возраста, вероятно, еще помнят раздававшиеся после войны на Новом базаре радостные вопли обиженного Богом общегородского дурачка, — "Петька режет кабана, Васька задается!". А с другой стороны, такой необъяснимый парадокс человеческой натуры. Заслуженный работник МВД, свыше 20-ти лет приводивший в российских тюрьмах в исполнение приговоры о высшем наказании, и только после их отмены вышедший на пенсию, признается, что при профессиональном хладнокровии не может нарезать курицу или заколоть кабанчика, — поручает это, вызывая шуточки в свой адрес, своему сыну (Аргументы и факты в Украине, 2002, № 5, с. 9). Кое-кто из седых одесских ветеранов на не слишком жирной пенсии ностальгически вспоминает американскую лендлизовскую свиную тушенку военных лет ("...В которой сала было больше, чем мяса!"), хотя эта окопная правда не находит отклика в сердцах юной поросли, страстно заботящейся о стройности своих фигур (Одесский вестник, 27.06.2002, № 120, с. 6).

В 30-е годы, когда страна испытывала затруднения с кожсырьем, шкуры забитых свиней подлежали сдаче на кожевенные заводы: после мездрения, дубления, крашения и других операций подобное сырье использо-

валось в различных отраслях промышленного производства, от обувного до галантерейного: во всяком случае, у автора и сейчас хранится прошедшие с ним всю войну футлярные "корочки" для партбилета из такого материала. До середины XX-го века для отдельных нужд использовалась и свиная щетина, в наше время почти окончательно вытесненная из употребления набором искусственных волокон, производимых химической промышленностью. Показательно, что в прошлом офтальмологи дореволюционной выучки для лиц с ослабевающим зрением на полном серьезе рекомендовали вводить в рацион небольшое количество свиного сала.

Сейчас сало не проблема, им, как и всеми видами продуктов из свинины, пусть и в ценах, пока, увы, недоступных наименее обеспеченным слоям населения, завалены продмагазины, торговые центры и базары Одессы, снимая с повестки дня сакраментальное, почти по Шекспиру "Есть или не есть? Вот в чем вопрос!". Симптоматично и то, что один из столпов телешоу "Золотой гусь" Валерий Чигляев везет в Париж(!) в качестве подарка великолепной Марине Влади (по слухам, дальней родственнице его жены), не букет роз, не набор популярных на Западе гуцульских сувениров, а шматок заботливо приобретенного на Киевской "Бессарабке" (которой, кстати, исполняется 90 лет) украинского сала (Бульвар, 2002, № 26, с. 2). Правда, при этом остается неясным, чем конкретно обусловлен выбор столь экзотического презента, то ли напоминанием о новогодней украинской "щедривке" (где есть слова "а ще мало, дайте сала"), то ли последними исследованиями диетологов. Согласно мнению специалистов, свиное сало (которое, кстати, в отличие от мяса, никогда не поражается трихинеллезом), оказывается, вопреки предубеждению некоторых, полезным и здоровым и больным людям, поскольку его биологическая активность в пять раз выше, чем у масла: в свежем, соленом, отчасти даже жареном виде оно содержит так называемую арахидоновую кислоту, которая является одной из незаменимых жирных кислот, участвующих в строительстве клеток организма (Сегодня, 03.04.2002, № 73, с. 10). Интернациональное признание свиных достоинств сохраняется и за океаном. Выпускнику одесской гимназии № 2 Богдану Лупандину в порядке обмена учащимися между США и Украиной в экспериментальном порядке было предложено 9 месяцев обучаться в американской школе, проживая в калифорнийской семье. Поскольку в хозяйстве его приемных родителей сразу же после его приезда родился поросенок, глава дома предложил взять на откорм это животное с кличкой "мой университет" (имелось в виду, что вырученные от продажи деньги Богдан потратит на дальней-

шее образование). Городской мальчик, который, по словам его оставшейся в Одессе мамы, до этого свиней видел только в зоопарке, теперь в промежутках между учебой насыпал поросенку сухой корм, выводил его на прогулку (чтобы тот не был слишком жирным) и чистил загон: это звучало дико для его одесских одноклассников, но соответствовало американским традициям, где все должно "быть при деле" (Одесский вестник, 19.06.2002, № 115, с. 5). Более того, когда животное выросло, Богдану, чтоб его продать, пришлось заблаговременно подать заявку на участие в сельскохозяйственной ярмарке, пройдя, таким образом, практический курс и по свиному мини-маркетингу.

Воспевая сало, следует иметь в виду, что в его употреблении, как и многого другого, следует знать меру, тем более, что Ю. Гейко из "КСМ Правды в Украине" (4.06.2002, с. 9), ссылаясь на обобщенный американо-российский дорожно-пищевой опыт, ставит сало в первом ряду кушаний, не рекомендуемых к употреблению водителям автомашин, привыкшим питаться "на ходу", без хотя бы краткосрочной остановки, что чревато аварийными ситуациями.

В общем, на этом увертюру к свиной теме можно закончить, но чтобы сделать более наглядной ее воздействие на индивидуальные судьбы конкретных личностей, сошлемся на собственный опыт, пусть он и относится к событиям в основном прошлого, XX-го века, иногда прямо, иногда косвенно, но касающимся Одессы и пишущего эти строки (информация для размышления).

Эпизод первый. В конце 20-х годов я вместе с мамой часть лета проводил в гостях у ее гимназической подруги на разрушенной в период ВОВ "Даче Базилевичей", что на Среднем Фонтане. Купаться (я уже умел плавать) меня отпускали одного на пляже под "Санаторием политкаторжан" (был и такой на 11-й станции Фонтана, пока И.В. Джугашвили, настороженно относившийся не только к дореволюционным соратникам, но и ссыльнопоселенцам, не прикрыл и санаторий, и содержавшую его ассоциацию). В те годы на оползневых террасах Одесского побережья (участки суши между морем и береговыми обрывами) кое-где еще ютились единичные домики местных жителей и небольшие усадьбы (позднее снесенные с лица земли за счет не столько деляписивных геологических процессов, сколько распоряжением оккупационных властей: румынское командование небезосновательно опасалось высадки если не десанта, то небольших диверсионно-разведывательных групп со стороны моря, особенно в районе описываемых домишек). Первый же мой вояж на пляж

рядом с подобной усадьбой обнаружил на нем, помимо жителей, трех довольно крупных жизнерадостных "підсвинків". Хотя пишущий эти воспоминания вырос в украинской семье, где свинина на столе не была чем-то запретным, для него, практически почти незнакомого с деревенским бытом, свинья ассоциировалась если не обязательно с грязным (см. эпиграф!) чем-то, то все равно нехорошим (в соответствии с постулатами В.В. Маяковского, на весь Союз провозглашавшего, — "вырастет из сына свин, если сын — свинок").

Однако, к моему неподдельному изумлению, упомянутая троица, и так отнюдь не покрытая коростой засохшей грязи, в полдень (когда окрестности буквально "плавилась" от жары), лихо сбежала к морю, тем более, что наката в тот день не было и, зайдя по холку "в пучину вод морских", рядышком устроилась в воде, с удовольствием похрюкивая и даже закрывая глазки от наслаждения, по чистоте розовых телес не уступая тут же неподалеку так же попеременно то жарившихся на солнцепеке, то полоскавшихся на мелководе дачников и дачниц.

Такая идиллия наблюдалась и в последующие дни, из воды троица дружно выскакивала только после очередного призыва хозяйки на кормление (в полтавском варианте обращения, — "Пацю-пацю-пацю!"), и, самое главное, никогда не опираясь своих естественных надобностей в зоне пляжа, иллюстрируя, кстати, хорошо известную свиноводам инстинктивную чистоплотность.

Вот и мирись после этого с незаслуженным эпитетом "грязной" свиньи! Между прочим, буйволы тоже обожают болотные ванны, но грязными их почему-то не окрестили. А вот на свиную братию, как выяснилось, горожане явно незаслуженно наговаривают. Во всяком случае, это впервые стало ясно ребенку еще тогда, хотя окончательно оказалось понятным позднее: многое зависит от условий бытия, и если свинья лезет нередко в грязную лужу, то это обусловлено или отсутствием более чистых водоемов, в которых можно было бы пересидеть полдневный жар, или желанием избавиться от кожных паразитов, а то и подлечить суставы, совсем как курортники на Куяльницком лимане, с пользой для души и тела прибегающие к грязевым ваннам.

Правда, не знаю, пахло ли в конечном счете мясо среднефонтанских поросят морем (лежа в воде, они изредка что-то из нее вылавливали и жевали, то ли водоросли, то ли крабов или креветок, то ли какую-то рыбешку, которых в прибрежных водах, не то, что теперь, хватало), но это уже другой разговор: в крупных свиноводческих фермах, где во второй поло-

вине XX-го века при подкармливании животных использовалась костная мука рыбопромыслового происхождения, мясо забитых животных действительно, иногда обнаруживало нестандартные запахи.

Эпизод второй. Когда 1 января 1935 г. отменили карточки на хлеб (не могу забыть, как ошарашенные одесситы, не веря свалившемуся на них после памятного голодомора счастью, носились из булочной в булочную, чтобы на всякий случай приобрести и вторую, и третью вожделенную буханку: более одной в магазине на руки не давали!). Однако с жирами и мясом в городе еще долго была напряженка, которую каждая семья решала по-своему. Покойный мой дедушка, "смотритель двора" дома по ул. Подбельского, как в те годы именовалась исполняемая им должность, приобрел у знакомого немца-колониста из с. Нейково, что у ст. Рауховка (на ведущей к Николаеву железнодорожной ветке), холощеного боровка с целью его домашнего дорастивания как перспективного источника мяса и сала, необходимых в рационе.

Надо упомянуть, что хотя П.Ф. Лисовенко всю свою сознательную жизнь, кроме детства, провел в городской среде, он до самой смерти продолжал возиться с различной сельскохозяйственной живностью. У нас на втором, так называемом "черном" дворе попеременно содержались им то голуби, то кролики, два сезона — шkodливая коза Ирка с козлятами, а после войны, как источник молока, даже корова, которую автор этих строк уже в зрелом возрасте однажды перегонял с летнего пастбища у с. Шомполы в Одессу.

Однако с кабанчиком дело обстояло намного сложнее: его появление в центре города, в фешенебельном четырехэтажном доме (в годы оккупации облюбованном тогдашними властями), могло вызвать законные протесты многих предубежденных жильцов с обвинением в антисанитарии, и поэтому решено было скрыть кабанчика с людских глаз в обширном подэтажном подвале с полуокнами на улицу, что обеспечивало кое-какое освещение и, главное, приток свежего воздуха для подземного узника. В южной части подвала дедушка соорудил нечто вроде квадратного боксерского настила с ограждением из теса, где "підсвинок" устроился с необходимыми ему удобствами: в одном углу спал сам, во втором, где стояло корыто, питался, в третьем пил воду из жбана, а четвертый использовал в качестве отхожего места, навоз которого дедом регулярно убирался, чтобы даже легкий запах не проникал на улицу. Комфортность обстановки сомнений не вызывала, намного превышая ту, которой пользовался также тайно содержавшийся баран в соседнем доме: хозяйка вынужде-

на была круглосуточно держать его в комод с фальшивыми дверцами, и только по ночам, когда все соседи почивали, выводить свое сокровище на балкон подышать свежим воздухом.

Проблема кормления нашего кабанчика разрешалась предельно просто за счет использования овощных очистков и послеобеденных помоев из расположенной тогда на Соборной площади ближайшей общепитовской столовой (поскольку ее руководству была обещана часть ожидаемого свиного мяса и сала). Значительно сложнее решался вопрос о заклании кабана по достижению им проектного веса. Приглашать профессионального резника со стороны не позволяли строго соблюдавшиеся нормы за действованной конспирации, и поэтому под Рождество, как водится (бытовых электрохолодильников тогда еще не было и в помине, почему забой находившегося в личном пользовании скота осуществлялся, как правило, в холодную пору года), решено было обходиться собственными силами, — дедушки, как главного тореадора, и бабушки с внуком в амплуа если не пикадоров, то загонщиков.

За день до операции ограждение "ринга" в подвале было разобрано, дед заточил завалившийся у него обломок штыка от французской винтовки эпохи пребывания в Одессе десанта войск Антанты, нам с бабушкой выданы соответствующие инструкции ("хватать и валить на правый бок"), и мы с мрачными физиономиями наемных "браво" спустились в подполье. Однако намеченное мероприятие оказалось не таким простым. Кабан, которого накануне сознательно не покормили, встретил нас настороженно, а когда мы попытались разыграть предложенный дедом сценарий, проявил такую прыть и боевые качества, что мы только ахнули. Оказалось, что не только "завалить", но даже просто ухватиться за семидесятикилограммового борова, к тому же отнюдь не стоящего на месте, было почти невозможно. Животное легко выскальзывало из наших неопытных рук, а когда мы все-таки вцепились ему в уши (ту часть тела, за которую еще можно было как-то ухватиться), оно поддало рылом сначала внуку, отбросив его метра на три от себя, затем — бабушке, зигзагом обошло деда и после этих подвигов заняло вызывающую, недвусмысленную позицию (мол, только суньтесь!) в "столовом" углу настила. Наша "особая тройка", тяжело дыша, распределилась между остальными углами ринга, набираясь сил перед второй атакой. Однако, результат оказался тот же (правда, с перестановкой диспозиции загонщики и дед поменялись углами), и только на четвертом или пятом заходе, после которых мы остались в лохмотьях, общими усилиями супостата удалось "замочить", —

зрелище не для слабонервных, особенно если один из них — школьник. Тем более, что дед, отнюдь не профессиональный резник, страшно волновался, вместо одного вынужден был нанести три удара, нас забрызгало кровью, которая была фонтаном (хотя ее полагалось собирать в заранее подготовленную посудину для последующей утилизации), но "ноблесс оближ", как выражаются французы, и всему, как хорошему, так и плохому, рано или поздно приходит конец. А спустя год, уже с другим боровком, возвращенном на общепитовских обедах, аналогичную операцию удастся провернуть более цивилизованно, а пишущий эти строки окончательно перестает бояться вида и запаха крови.

В общем, нет худа без добра, и когда в начале Второй мировой, уже под стенами окруженного Ленинграда, осколки случайного (предназначенного не нам, а поднявшемуся на тросе аэростату, в корзине которого два корректировщика ведут наблюдение за немецким передним краем) снаряда укладывают на землю сразу четверых моих товарищей — морских артиллеристов (а военфельдшера, как почти всегда в аналогичных случаях, не оказывается на месте), я с неожиданной для самого себя быстротой, без неуместных эмоций (хотя кровь из полоторванных ног старика-запасного бьет ключом), накладываю пострадавшим жгуты и повязки перед тем, как отвезти их на случайно подвернувшейся полutorке в госпиталь. Реакция присутствующих при этом молодых краснофлотцев, призванных сельскими военкоматами, адекватна моей, а три-четыре горожанина при описанной картине бледнеют, — шок не шок, но к виду крови они явно не готовы, хотя уже в ближайшем будущем им, возможно, предстоит участвовать в куда более масштабном кровопролитии. При отражении сентябрьского штурма Питера дивизиями фон Лееба батарея расстреляла значительную часть боеприпасов, и теперь личный состав готовят на пополнение лыжного батальона одной из бригад морской пехоты, прикрывающей город: отработка самоокапывания, марш-броски на лыжах или пешим порядком по колено в снегу, изучение приемов введенного перед самой войной так называемого "чемпионского" рукопашного боя. Правда, последний предполагает использование самозарядных винтовок системы Токарева с ножевидным штыком; тогда как мы располагаем только трехлинейками Мосина с четырехгранным, лишь колющим, но не рубящим, лезвием штыка, что же касается более современных видов оружия, то автоматы ППД имеются пока только у командира, комиссара и начальника штаба нашей 11-й отдельной железнодорожной артиллерийской батареи КБФ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Эпизод третий: имел место еще до войны, но косвенно сыграл свою роль в научном становлении автора воспоминаний, позднее взвалившего на себя нелегкое бремя археологической петрографии. В довоенные годы наша семья имела обыкновение один из летних месяцев проводить в с. Печара на Винничине. В нем охотно коротали отпускное время горожане различной национальности из Одессы и Ленинграда, к услугам которых были хорошие пути сообщения (даже шоссе с высаженными вдоль его обочин еще екатерининскими, по поверью, липами), Южный Буг с уютными купальнями на порожистых перекатах долины, где тогда и рыба водилась, парк, заложенный еще в XVII в. Господарем Дукой, а затем подновлявшийся посадками новых владельцев поселения, сначала Суйковских, а позднее Потоцких (оставивших на память потомкам великолепный мавзолей, тогда как здание графского дворца погибло еще в гражданскую войну), небольшие окрестные байрачные лески с "губами" (как именовали аборигены грибы), даже неплохая библиотека при местной лечебнице, но, главное, недорогой базар.

Мы с бабушкой (папа и мама бывали только редкими наездами на пару-другую дней) снимали комнату с кое-какой мебелью в чистенькой хатке под соломенной стрихой старушки Кулибабчук, хозяйство которой состоит из нескольких грядок, собаки, петуха с пятью курицами, козы и черной как смоль (!) свинки с ярко выраженной страстью к путешествиям, совсем как у той проказливой графини, которую в составе остального титулованного свиного стада пришлось эскортировать главному действующему лицу занимательной фантазии Марка Твена "Янки при дворе короля Артура". Непослушное животное почему-то особенно любило посещать изрезанный оплывшими рвами пустырь городища за местной трехчастной деревянной церковью Рождества Богородицы, и если там надолго задерживалось, то хозяйка просила меня "завернуть" беглянку. Вооружившись хворостиной, я добросовестно выполнял поручение, но через несколько дней все повторялось сначала. Конечно, если бы кулибабчукская усадьба ограждалась тыном (но такового не было), можно было бы испробовать практику, в 20-е годы применявшуюся жителями лыжного курорта Красное Село на Северном Кавказе, которую наблюдал лично: там тоже черные, какие-то полудикие свиньи самостоятельно уходили из хозяйств кормиться в лес, но, чтобы на обратном пути их не тянуло на обнесенные плетеными заборами огороды горцев (для чего достаточно было просто щели в ограждении), последние монтировали у свиней на шее нечто среднее между деревянными ярмом и рогаткой. Подобное уст-

ройство не мешало животному пастись, но исключало попытки пролезания куда бы то ни было. А в Закарпатье в конце 40-х годов, чтобы спасти огороды от потравы дикими свиньями, заборчики украшались пустыми жестяными коробками из-под консервов (прямо как проволочные ограждения эпохи Второй мировой войны на стабильных участках фронта), а если это не помогало, то крестьяне жгли костры во время ночных дежурств и отпугивали лесных агрессоров громкими шумовыми эффектами, — иначе можно было остаться на зиму без "крупли", как именовали тогда аборигены картошку.

Что касается печарской свинки, то в конце концов я решил выяснить, что же конкретно влечет ее на одно и то же место. Оказалось, что она просто роется, вероятно, из любви к искусству, в разных точках описываемой площади, в том числе на участке с почвой нестандартного пепельно-серого цвета и черепками лепных, явно не современных горшков, украшенных вдавленным (иногда с заполнением белой пастой) орнаментом. Это было уже что-то явно археологическое из категории описанных Е. Сецинским памятников прошлого Подолии, и с этого момента автор воспоминаний стал периодически наведываться со свиньей или без оной на городище. Осторожно разбирая культурный слой этого так называемого зольника, он обнаружил в нем, помимо обломков так называемой кухонной и столовой посуды, фрагменты глиняных человеческих фигурок, полную экспрессии небольшую скульптурку дикого быка — тура, кремневые и каменные орудия (скребки, ножевидные пластинки, один наконец-то стрелы треугольных очертаний, тесло-топор, кремневый нуклеус и многое другое), которые крепились мной затем на больших листах толстого картона (поскольку ясно было, что поросытина вывела восьмиклассника на остатки поселения трипольской культуры).

После моего отъезда на учебу в Ленинградский горный отец передал всю печарскую коллекцию в Одесский археологический музей, памятник докапывала уже после войны Е.К. Черныш, а автор сумел подтвердить свой приоритет в его открытии только спустя 60 лет в примечании к статье "О белых инкрустационных пастах керамики трипольских и некоторых других памятников территории Украины и сопредельных стран", опубликованной в квартальнике "Стратум плюс" — латиницей, № 2 за 2000 год.

Эпизод четвертый. В конце 40-х пишущий эти строки вместе с группой одесских членов Всесоюзного географического общества был приглашен посетить плавбазу китобойной флотилии (предшественницы "Ан-

тарктики") перед ее первым, под советским флагом, выходом на промысел в океан. За плечами были война, шесть лет службы на Краснознаменном Балтийском флоте и многое другое, и меня поразили не огромные размеры судна, не специальный слип для затаскивания загарпуненных китов на палубу перед их разделкой, не изысканный набор зарубежных горячительных напитков в баре капитанской каюты, продемонстрированный радужным хозяином, а небольшое стадо (!) свиней, сиротливо жавшихся на небольшом огороженном участке верхней палубы "славы". Сомневаться в ожидающей их участи не приходилось: в предстоящем походе китобойцам требовалось свежее мясо, приобретать которое в чужеземных портах было бы накладно для нашей послевоенной экономики.

Так что предстоит им отправиться "за три моря" без паспортов, виз или требуемых в наше уже время сертификатов, и разве только наиболее удачливые из них, которых съедят в последнюю очередь, доплывут даже до мест обитания так называемых "морских свиней", как неофициально именуется моряками одна из разновидностей зубатых морских млекопитающих из отряда дельфинов. По старой памяти мне становится почти жалко этих грязных, неухоженных, да и не очень крупных парнокопытных, тоскливо вглядывающихся в акваторию порта и вроде бы даже приносивающихся к ней, безразлично косясь на суетящихся рядом с ними моряков палубной команды, готовящихся отдавать швартовы. Не то чтобы спешить в ряды Общества защиты животных (да о нем в первые послевоенные десятилетия в Одессе и слухом не было слышать!), но вдруг всплывает в памяти, огрубевшей за годы войны и ленинградской блокады, назойливое "блажен муж, иже и скоты милует". Только во всяких ли ситуациях? Вспоминается, раз уж мы на борту, мрачная история с корабельным боровом одного из погибших в цусимском бою русских броненосцев, топившим также оказавшихся за бортом матросов, сюжет для современного фильма ужасов, поведенный А. Новиковым-Прибоем. Конечно, происходи описанная трагедия где-то в виду суши, обезумевшее животное, повинувшись инстинкту, возможно, поплыло бы в ее сторону (свиньи благодаря нарощемому сальному слою не тонут в воде), как переплывший Финский залив гигантский лось из рассказа В. Бианки "Одинец", тем более, что его дикие родичи и сегодня населяют тайгу к востоку от Японского моря. Автору, два сезона проводившему геологическую съемку в Приморье, правда, несколько севернее Цусимского пролива, следы пребывания диких свиней в лимонниково-актинидиевых кедрачах Сихотэ-Алиня попадались неоднократно, благо число их основных биологических вра-

гов — дальневосточных тигров — усилиями местных тигроловов, выполняющих заказы крупнейших отечественных и зарубежных зоопарков, прогрессивно уменьшается. Впрочем, кабаны держатся осторожно, избегая контактов с человеком, а тем более охотником, который в качестве компенсации придумал фантастическую байку, учитывающую реальную способность свиней в случае опасности идти сквозь кусты и небольшие ветки поваленных тайфуном деревьев напролом, особенно вдоль традиционных троп, ведущих к источникам пресной воды и местам кормления (например, на участках произрастания манчжурского ореха, плоды которого по форме и размерам неотличимы от грецкого). Цитируемая байка рекомендует в таких местах, где свиньи, несмотря на отдельные торчащие сучья, перепрыгивают через стволы упавших поперек тропы деревьев, забить в древесину охотничий нож лезвием вверх, а потом только подбирать здесь туши самовыпотрошившихся кабанов.

Эпизод пятый. "Федоровичу! Так чи не підете зі мною сьогодні на Гданцівку?" — спрашивает меня воскресным утром сосед по дому в Дзержинском микрорайоне Кривого Рога, в местном горнорудном институте которого я уже четвертый год после окончания аспирантуры в Ленинградском горном преподаю студентам дисциплины геологического цикла. Заговоривший со мной — "западенец", он сравнительно недавно "шахтарит", но у него огромная семья, одних детишек человек семь, прокормить которых при одном работающем, пусть и на руднике, — проблема. Ко мне он относится уважительно, коль скоро я, даром что ассистент, "кирку не гну" и общаюсь "рідною мовою" (что у мужской части вторично русскоязычно-суржикового населения Кривого Рога считается признаком отживающего провинциализма), и он иногда рассказывает мне о своих проблемах в поисках если не помощи, то просто понимания. Вот и сейчас он задумал приобрести свинью как источник более дешевых, по сравнению с базарными, мяса и сала, но не на главном рынке города, а в пригороде последнего, за рекой, где ему кто-то посулил "підсвинка" по более низкой цене. Я ему нужен для моральной поддержки (коль скоро он собирается торговаться) и помощи при последующей транспортировке приобретаемого сокровища: на трамвай мы рассчитывать не можем, (Гданцевка километров за пять от нашего микрорайона), а город и его улицы, которыми нам придется возвращаться, я знаю лучше.

В общем, мы бодро отправляемся в дорогу, и уже через час оказываемся на месте, где нас действительно встречает продавец "живого товара" с ухоженным пятнистым кабанчиком солидных размеров с толстой, обя-

занной вокруг почти неразличимой шеи веревкой. Заинтересованные стороны довольно быстро сходятся в цене (мне даже не приходится, как Кисе Воробьянинову в "Двенадцати стульях" надувать для солидности щеки), веревка налыгача вручается соседу, и мы, теперь уже вдвоем, двигаемся к подвесному (на сработанных стальных тросах от шахтного подъемника) мостику через речку, чтобы перебраться на ее противоположный берег. Пешеходный (на нем разминутся два-три человека) мостик с настилом из приваренных стальных листов и ограждающими перилами тоже из отслужившего срок рудничного троса, достаточно надежен, но при переходе через него (общей длиной до двадцати метров) ощутимо "играет", то есть несильно, но покачивается в такт шагам из стороны в сторону. На мостик со стороны гданцевского тротуара ведут три бетонных ступеньки, но когда мы с соседом, преодолев их, вступаем на колышущуюся твердь, благоприобретенный кабан вдруг неожиданно тормозит перед последней, отчаянно упираясь своими "ратыцями" в незыблемый бетон ступеней. Более того, он разворачивается задом к мостовому переходу, всем своим видом демонстрируя готовность умереть, но не сдвинуться с места. Не ожидавшие от покупки такого ослиного упрямства, "западенець" и "східняк"-одессит "теряем лицо", сосед пытается с помощью налыгача развернуть свиное отродье в нужном направлении, я с той же целью, пренебрегая ассистентским достоинством, пихаю его в "корму", — ноль внимания и фунт презрения, от моста — пожалуйста, на мост — только через "их" труп. Мы бьемся пять, десять, двадцать минут — никаких положительных результатов! Более того, вокруг начинает собираться толпа, одни от души веселятся, кое-кто свирепеет: им надо на ту сторону, а тут на проходе почти полуцирковой балаган! Чертов кабан слишком велик, чтобы перенести его на руках, в мешок, на всякий случай предусмотрительно захваченный соседом, он явно не влезет, тележки, типа той, в которой криворожане катают на свадьбах родителей невесты, если она оказывается не девушкой, у нас нет, как и носилок, так что если свиная обструкция затянется, мы и до ночи не попадем домой!

Приходится вынужденно спуститься со ступенек, освобождая проход для стремящихся на противоположный берег, и мы застываем в отчаянии, — в чем же тут заковыка, чертов кабан стремится в родные Палестины или же рассчитывает на автотранспорт?! Честно признаваясь, пишу, что эти строки как-то уже видел на криворожской улице впечатляющую картину: послевоенную "Победу" с торчащим из окошка кабины, справа от водителя, самодовольным свиным рылом. Неясно, в какую копеечку

влетит такой эксперимент, и не откажется ли от легковушки или полторки наше привередливое сокровище?

Но тут из глубины сознания всплывают полузабытые слова из лекции ныне покойного П.А. Грюше, читавшего нам в Ленинградском горном перед войной курс общей геологии, о том, что свинья, как и некоторые другие виды животных, "живой сейсмограф" и, в отличие от нас, грешных, обладает врожденной способностью ощущать самые незначительные, предшествующие землетрясениям тектонические колебания земной коры, соответственно ведя себя при этом. Это же ставит все на свои места, — наследственная генетика нашего боровка предостерегает его от зыбкого перехода через речку Ингулец, его защитная поза "задом наперед" должна и нас предупреждать о вероятности неведомого катаклизма. Я бегло излагаю ситуацию соседу, и мы меняем маршрут: уже без какого-либо сопротивления со стороны скотины мирно шествуем вдоль набережной туда, где в километре от висячего моста существует фундаментальный, на каменных быках-опорах автомобильно-пешеходный мостовой переход, против которого наш кабан не имеет ничего, так что мы благополучно добираемся до его нового места жительства без пинков в зад, а тем более палочных насилий над личностью, как и пребывания в связанном состоянии, в свое время осужденном И. Франком в его рассказе "Свинська конституція". Когда спустя несколько дней сосед все же режет кабана, я в этой процедуре участия уже не принимаю, — из Москвы от ВАК'а приходит аттестат на утверждение в ученом звании доцента КГРИ, и как таковому отныне надо соблюдать декорум.

Эпизод шестой. По-видимому, завершающий аккорд в свиной рапсодии имел место совсем недавно, будучи связан с деятельностью Одесской секции Всеукраинского общества истории, методологии, образования, науки и техники Министерства образования и науки Украины. Регулярные заседания этой организации, объединяющей научных работников, преимущественно вышедших на пенсию, проходят в одесском Доме ученых под председательством академика И.П. Зелинского, сменившего на этом посту четыре года тому назад ушедшего из жизни Р.О. Файтельберга. Круг интересов участников подобных собраний достаточно широк, включая и вопросы культуры, что привлекает также публику со стороны, как в случае отчетных концертов студентов и аспирантов Одесской консерватории, докладов о прошлом театральной жизни города или демонстрации любительских кинолент, посвященных, как и диапозитивы, историко-краеведческим или архитектурно-ознакомительным сюжетам.

Однако в серии докладов по проблемам геологии, истории, математики, химии и т.п. весной 2002 г. в стенах аристократического особняка на ул. Менделеева, 4 не просто возникла свиная проблема, но и была дополнена дегустационным священнодействием, на всю оставшуюся жизнь несомненно запомнившимся участникам.

Надо признаться, что в массе своей современный одессит за редким исключением (типа нашего земляка Б. Бурды, а если иметь в виду и россиян, то А. Макаревича с его "смаком", правда, скорее кулинаров, чем дегустаторов) плохо разбирается в тайнах дегустационного искусства, тем более что отечественная художественная литература XX-го века тоже как-то обходила этот вопрос (за исключением разве небольшого эссе Н Тихонова о судьбах двух невольных дегустаторов, — одного по вину, другого, — по сыру).

В нашем случае доктор наук, профессор и зав. кафедрой Одесского государственного университета Е.М. Агапова (вместе с которой на заседание пришли не только ее коллеги по вузу, но и директора нескольких крупнейших свиноводческих хозяйств области) сначала сделала обстоятельный доклад по теме "Эволюция свиней и перспективы свиноводства в 3-м тысячелетии", вызвавший оживленное обсуждение присутствующими, но затем в виде неожиданного сюрприза предложила последним принять участие в поставленной на академическую ногу дегустации бульонов и отварного мяса животных трех покуда анонимных свиных пород. Участники неожиданного "швайнфеста" (как называют немцы праздник поедания свежезабитой свиньи, кстати, вдохновенно воспетый Я. Гашеком в последних строках, увы, незаконченных "Приключений бравого солдата Швейка") получили на руки бланки анкет с перечнем вопросов о качестве подаваемых бульонов (цвет, прозрачность, аромат, вкус, наваристость и т.д.), а затем отварного мяса (по примерно тем же статьям плюс консистенция, прожевываемость и т.п.). Оценки опробованному выставлялись в пятибалльной шкале, анкеты возвращались, как неподписанными, так и, при желании, с указанием фамилии и специальности дегустирующего, а после компьютерной обработки (в ногу со временем!) присутствующим были сообщены названия трех пород свиней, принесенных в жертву науке, а также названа победительница конкурса.

Если добавить, что на следующем заседании секции (совпавшем с празднованием Дня Победы) на банкетный стол был выставлен начиненный кашей молочный поросенок (так сказать, пища богов, воспевавшаяся в основном писателями XIX века: пишущий эти строки сподобился ее отве-

дать, увы, только на девятом десятке), то следует признать, что хоть до Года Кабана по восточному календарю осталось еще 5 лет (2007 г.), трогательная инициатива коллег-аграрников не может не быть по достоинству оценена в наш не для всех, увы, достаточно сытый век.

Заканчивая на этой ноте настоящее эссе из категории произведений, охарактеризованных "Горем от ума" ("Взгляд и нечто. О чем бишь нечто? Обо всем"), автор не стесняется признаваться в известной симпатии к свиному племени, так или иначе соприкасавшемуся с его личной судьбой, — как утверждает одно действующее лицо из Швейковской эпопеи "Что было, то было, как-нибудь оно и было, никогда так не было, чтоб никак не было!". Но если пусть и один-единственный читатель, перелиставший настоящие страницы, хотя бы в душе разок-другой улыбнется, будем считать, что воспоминания оказались не напрасными, а свиная тема, рассматриваемая в историческом аспекте, где бывало всякое (вплоть до эпизоотии свинной чумы на Одессине в 70-е года, когда огнемётные команды выжигали даже почвенный покров на фермах с заболевшими животными), все-таки доказала свое право на существование и под черноморским небом.



Одесса

Неизвестная рукопись Йоганна Вольфганга Гете

Свободное переложение сохранившихся фрагментов текста

Как и всякое произведение человеческого искусства, ГОРОД не может быть познан вполне, всегда оставаясь величиной бесконечной и бесконечно ускользающей, тем более — при попытке выразить его сущность вербально. Другими словами, ГОРОД неисчерпаем. Говоря о решительно заявившем о себе младенце из европейских городов, Одессе, мы, разумеется, не беремся раскрыть его сущность исчерпывающе. Тем более, что она не совсем еще даже проявилась. Вероятно, мы напишем лишь кое-что по поводу, а не о ГОРОДЕ как таковом. С намерением также сделать прогноз его эволюции.

Облик юной Одессы, пародирующий типологические портовые города Леванта, вызовет ироническое недоумение избалованного итальянца ("Убогий вкус!") и француза ("Детские забавы!"). Невзирая на то, что едва народившийся город — специфическая проекция их собственной урбанистической культуры, с претензией на античное наследство. Разница в том, что местные богачи еще не дошли до той же сумасбродной архитектурной роскоши. Впрочем, усадьба регионального монарха Воронцова и череда строгих покуда палаццо на Бульварной улице напоминают о новых грядущих временах, которые рано или поздно переместят здешнюю стилистику с юга Европы в ее центр.

Город, сегодня составляющий архипелаг новостроек, приуроченных к отдельным функциональным площадям — Соборной, Лютеранской, Старобазарной и другим, — странным образом выглядит целостным, будто армада под штандартом многоопытного флотоводца. Видишь, как по команде с флагманского корабля эскадра готова лечь в дрейф либо сблизиться на расстояние внятного оклика. Топография создает эффект макета открытой гавани на суше. Отдельные корабли и вспомогательные суда по-военному строги, и это ощущение не колеблется от созерцания разноязыкой толпы и рельефных национальных костюмов, во все стороны расплескивающих пестрые и столько же крикливые краски. Общее

впечатление остается гармоничным, как перетекание красок у Джотто.

Обилие декоративных — пряных, красочных, экзотических — деталей быта особенно контрастно на фоне архитектурного аскетизма. Зодчество напоминает театрального суфлера, вкрадчиво подающего реплики повседневности, его словно бы и нет на подмостках.

Город пребывает в счастливом состоянии необремененности мелочами. Таково свойство молодости. Невменяемость молодости — залог продолжения жизни. Возраст умножает количество мелочей. Сочетание многочисленных мелочей рождает монстров. Так модные "романы в письмах" переполняются мелочами, за которыми неразличима совокупность островов архипелага, общий план сооружения. Наступает торжество унылой глупости.

Но пока мы видим еще резвого ребенка. Он, наверное, скажет, кем будет, — если спросить. Но что он знает о себе? Красота никогда не уясняет себе своей сути.

Насмехались над благородным мыслителем, когда тот назвал архитектуру застывшей музыкой. Пусть она будет умолкнувшей мелодией или понемногу умирающей красотой.

Пусть Чимарозе или Россини укажут обрывистое степное плато, обращенное к теплому морю. И пусть вынесут на лоно девственной природы звучный клавесин. Я не претендую на орган, поскольку его трудно будет доставить, и ему сложнее вписаться в пейзаж. Пусть маэстро пройдет по клавиатуре в виду приглянувшейся ему пустоши. Пусть из звуков вырастут дома с ионическими колоннами — точно такие, какие ныне самую жизнь выгравированы по периметру Вольного рынка. Пусть к базарам пристраиваются улицы, а к улицам — переулки. И пусть музыка растворяется в геоморфологии, но гармония остается.

Помните резвящегося ребенка. Такого умирительного. Но жизнь продолжается, то есть уходит, то есть умирает действительность. Красота умирает медленнее, умолкнувшая мелодия еще разлита в пространстве бывшего пустыря. И обитатели его отзывчивы на прежнее эхо, пробуждающее в них непередаваемые ощущения сопричастности. Ощущения уютной полноты мира, его (мира) сфокусированности. Комфорт души, ее особый тонус и потенции — в незримой виньетке, в излюбленных (облюбованных?) пределах.

Но есть другой берег залива, другие берега, где не звучали случайные композиции. Где падший ангел сгреб в охапку подвернувшееся по случаю

— заезжий двор, трактир, тюремный замок, поганую лавку спившегося башмачника. Где сумрак, лихорадочные тени, где срывающимся фальцетом голосит самодельная и самодовольная флейта, дребезжит колотушка туберкулезного ночного сторожа, ревет плешивый медведь на цепи, скользит по изгвазданной покрывке шарманки отвратительно тощий сурок.

В каждом яблоке — свой червяк. В Одессе, говорит вся Европа, можно неслыханно разбогатеть. И действительно, многие выходцы из материковой Греции, южной Италии и Франции нажили там миллионы на хлебной торговле. Некоторым из них по разным причинам пришлось потом покинуть гостеприимный берег негостеприимного моря. Не знаем, унесли ли они с собой образ отцветающей красоты, способность по-прежнему слышать ретроспективное эхо. Знаем только, что античная классичность, незамутненность молодого ГОРОДА оставили в них ощущение своеобразной гармонии, ибо они ищут свое несчастье не в самих себе, а лишь в своем удалении от этого города.

Говорят еще, что выходцы из ГОРОДА много смеются над собой. Смеются удачно, много и назойливо. Так, что нет возможности различить единичные всхлипы. Возможно — горький смех.

Примирился с фактом особого звучания выбранного случаем отдаленного места, осененного легкокрылым Гением. Один из элементов означенного гения — и это тоже следует признать — юмор. Он так хорош в сочетании. Но едва начинает солировать, тотчас превращает капеллу в паллиатив, в суррогат его (Гения) целостного образа. И тогда надвигается упадок. Шабаш деталей. Свистопляска излишеств. Красота хиреет. Из кремня уже не высечь огня умолкнувшей лиры.

(Без даты)
Версификация Олега ГУБАРЯ

ПРОЗА

Сергей РЯДЧЕНКО Пижоны с Новоаркадиевской	54
Родион ФЕДЕНЕВ Зимняя встреча в летнем кинотеатре	78
Вадим АВЛОШЕНКО Подарок	87
Марк ГИРШИН Crescendo	105
Анатолий КОНТУШ Городские портреты	118
Григорий РОЗЕНБЕРГ Я был в витрине	126
Александр ГРИНБЛАТТ 1 мая 1949 года	135
Наталья ХАТКИНА Новые русские сказки	142
Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК На перекрестке судьбы	146

Пижоны с Новоаркадиевской

Из дневника

В то утро, как уже сказано, было тихо и прекрасно, и по-особому розово, как бывает только на рассвете, только весной и летом, только у нас на юге, где даже в умах молекул воздуха в эту пору царят мир и блаженство. Ну разумеется, а как же иначе.

Мы разучивали мудру.

Восточной традиции, что привела нас в столь ранний час, в то чудное место, уже много тысяч лет, а нашему увлечению ею — без году неделя.

Там, где в Новоаркадиевскую дорогу сверху от бульвара впадает улица Пионерская и убегает дальше вверх к ипподрому, была тогда еще раздольная площадь с могучим гранитным валуном, но не по центру, поперек всех течений, а по-умному, на траве на косогоре с северо-востока наискось от камышового болотца на другой стороне. Потом в гранит чугунными свайками вколотят мраморную доску с начертанным на ней обещанием возвести тут основателю Одессы генералиссимусу Суворову Александру Васильевичу его бронзовую всенепременно конную статую. Занятно все же б знать, куда деваются вдруг за ночь все клятвы с обещаниями? Где их строгий накопитель ко дню Страшного Суда? Ну, не могут же они, право, все без исключения и каких бы то ни было последствий растаскиваться по дачам да поместьям сильных мира сего под стать кованым решеткам с Французского бульвара? Должны же быть и другие версии.

Однако ж мы там медитировали.

Легко вам в это поверить или не легко, дело десятое. Или двадцать пятое, как хотите. Поскольку, если уже в этом месте вы, голуби мои, пробуксовываете, то слушать дальше для вас, думаю, занятие праздное — вряд ли пригодится. Могу лишь для убедительности уточнить, что нас двадцать пять: семнадцать парней и восемь девчонок. До бакинцев не дотянули, зато апостолов переплюнули.¹ Все мы дети военнослужащих и железнодорожников и живем в домах, построенных дивизиями наших отцов и одесско-кишиневской железной дорогой на трех углах последние деньки Ботанической улицы, которую вот-вот переназовут проспектом в честь пер-

¹ Бакинские комиссары — 26; апостолы — 12.

вого космонавта, что как раз на двенадцатый от сегодня день слетает благополучно куда следует и сверкнет на весь белый свет своей чудо-улыбкой, ибо год, пацаны, на дворе за номером 1961, мистический, со своими в обе стороны, туда-сюда, цифрами — вертели? — а в ноль часов по московскому начался апрель, и, кстати, за йогу еще сажать пока не додумались, потому хотя бы только, что никакой, по сути, йоги тут тогда еще, собственно, днем с огнем. И вот — повсюду, значит, ни слухом, ни духом, а в Одессе уже как здрастье. И будьте уверены.

Кто из нас наткнулся на эту затею первым, теперь точно не восстановишь (когда было!), — может быть, даже и я, в какой-нибудь там "Технике молодежи" или "Вопросах атеиста". Кто не забыл, наверное, помнит, как тогда удилась всякая информация: самым непредсказуемым образом; и на эту непредсказуемость даже нюх особый с фартом вызревали. Вот, к слову, "Стрелу Ваджра" и "Щит Шамбалы", мне впервые абсолютно точно подsunул Чжан Чжэнь-Цзы, китайский студент четвертого курса политехнического института. Так что, согласимся, дыхание жизни в Совке никогда полностью не затухало, а лишь переключалось с одних нетривиальных русл и каналов на другие. Помножьте это еще на отгремевший в Москве международный фестиваль молодежи и студентов, на "оттепель" на излете и вы получите нас медитирующими ни свет, ни заря на траве косогора в непосредственном соседстве с гранитной глыбой, а через площадь по ту ее сторону шелестит камышом будущий парк, где пока что ползают змеи и квакают лягушки, а на холмах пасутся поутру динамовские кони.

Определили мы себе это место наискось от болота, потому что кто-то из нас, может быть, даже и я, как раз увлекся лозохождением, и лоза в его (моих) руках без обиняков указала: hic Rhodus, hic salta¹, а попросту говоря: медитировать здесь! Neureka, если на то пошло. Эврика.

Старшему из нас семнадцать. Это, кажется, мне. А младшему девять. Это тоже, кажется, мне. Память, сами знаете, — вот так новость! — страннейшая штука. Фортелли выделяет такие, что куда там. И с одной стороны это именно мне два милиционера в синей форме с красными погонами на углу Дерибасовской и Карла Маркса, под "Антарктикой", ре-

¹ Hic Rhodus, hic salta [хик Родус, хик сальта] (лат.) — некто хвалился необыкновенными прыжками на острове Родосе и в доказательство ссылался на свидетелей; один из слушателей заметил, что свидетели, если это правда, не нужны, и добавил: "здесь Родос, здесь прыгай".

И вот мы сидим на траве по-турецки, — полу лотоса еще не освоили, — с выпрямленными позвоночниками и полуприкрытыми глазами, а велосипеды уткнулись рулями, как рогами, в гранит, словно уснувшие бараны. Если тем когда-нибудь позволительно почивать на рассвете. Наши согнутые и чуть разведенные в стороны руки образуют парно пятьдесят латинских V. Вот так: VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV.¹ На свой страх и риск мы осуществляем полное, о котором еще двадцать дней назад никто слыхом не слыхивал, нюхом не нюхивал, глазом не видывал, в руках не держал, дыхание, раздувая сперва живот, а потом грудь и сжимая их до отказа в той же очередности. С максимализмом всех оттенков отрочества и юности мы изо всех сил стараемся достичь расслабления и исполниться покоя. Во льбах у нас пульсируют неосмысляемые догадки. В наши ладоны струится космическая энергия вечности. На каждом вдохе мы мысленно произносим "хар харей хари уахэй гуру", что приблизительно может, если надо, означать: Творец есть творец. Он создал высшую силу и мудрость. Он духовный наставник и водитель во тьме. Аминь.

¹ Жирным шрифтом выделены руки юношей.

Кришфалуди ходил в любимцах у дяди Жоры из последнего жилого дома в Отраде над обрывом и носил такое имя не только в соответствии

со своей мадьярской породой, но также и в честь партизана из катакомб, спасшего дядю Жору в сорок третьем, когда оккупанты хотели его повесить на Куликовом поле, а Кришфалуди бросил в них гранату, и они с дядей Жорой убежали. А Фома был гордостью огромной динамовской голубятни, располагавшейся в несколько ярусов за забором позади главной трибуны, но лично я последний раз его видел в конце прошлой осени, и надо сказать, что за это время Фома еще набрал и в размерах, и в окрасе. Этих двоих от Ланжерона до Аркадии знали все, а моравиец, судя по всему, был пштрсом залетным.

В свите этой троицы гордо печатали шаг несколько кингов, пятерка дутышей, красно-пегий ленточный турман, слева два махнача, справа два космача, каре двучубых в полунахлест с гривунами, далее трубачи бухарские в колонну по пять, вперемежку с бухарскими же в колонну по два барабанщиками, три блю рока, затем самолично ростовский лебедь во всей своей красе и свободе, а за ним уже — отрада глаз — целый выводок разномастных датчан и павлинианцев. Замыкала головную группу, как и положено, *Columbia livia* собственной персоной. Таким образом, передовая гвардия сразу определяла дух события не только разноцветьем пера, но также, и прежде всего, дисциплиной вкуса и четкостью поступи.

Красно-пегий ленточник, единственный в свите, шагал не как остальные, а удерживал в клюве на свой небрежный турмановский манер леску тройку на шесть килограмм, на конце которой довольно высоко, в метрах пяти с половиной над землей, раскачивался и плыл по воздуху весьма объемный шар литров на семьдесят с намалеванным на нем портретом Никиты Сергеевича Хрущева (какого-то лысого атлета).

А вослед своим предводителям тысячи и тысячи других птиц продвигались напористым и, тем не менее, весьма организованным порядком.

Впереди на правах хозяев шли одесские турманы числом до полуроты. Это, собственно, их голоса, такие похожие на нашу мантру, и звучали покуда громче других. Гуру-гуру-гуру и хар-харей-хари-хари-хар. За ними выступал батальон беспоясных чистых и черно-чистых, объединенных с чистыми оловянниками. А черно-чистые голоноженцы представили два отдельных взвода с неожиданными якобинами в кондукторах.

По левое и по правое крыло от каждой колонны по тротуару вдоль бордюра важно топали блюстителем птичьего порядка кайры черные обыкновенные с красными, как у дружинников, лапами, а в подмогу им рябки всякие со ржанками. Оно и понятно. Кайра ведь никогда голубем не был и не будет, сколько нас ни проси. Размер у него просто такой, под-

ходящий. И только. А что он при этом сам про себя думает, его личное дело. А не наше. Наше дело — верно классифицировать. А рябки со ржанками, так те вообще неизвестно кто, но не голуби, уж это точно. Тут не надо быть семи пядей, чтоб знать такое. Любого мальчика спросите — скажет не задумываясь: рябки со ржанками никакие на фиг не голуби, еще чего. Так что, само собой, этим бойким, без страха и упрека, не-голубям, кайрам со ржанками и рябками, конечно же, сподручнее, чем своим, осаживать натуральных голубей любого полета, если те, случись, разойдутся не к месту или не ко времени.

Один из нас сказал:

— До чего ж, ребя¹, у птиц все умно. Сколько этому ни удивляйся, а все не наудивляешься.

— Не трепись, — сказали ему. — Зачем болтать очевидное.

Разумеется, среди стражей на тротуаре попадались и в самом деле голуби натуральные — сизяки, к примеру, ташкентцы, видел даже вяхиря, — но это уж, как говорится, как водится. Птицы всякие нужны, птицы всякие важны. И в семье не без урода.

Кто-то из нас воскликнул:

— Смотрите, пацаны, вот Завихор тоже в мусора² подался!

Завихор был недюжинным клинтовым с бульвара, а компания наша в ту пору еще не разделилась на ментов³ и хулиганов, не до того пока было, мы ж как раз, если помните, йогой увлеклись.

— Ну, прямо сразу в мусора! — заступилась Вичка за уважаемого Завихора. — Ни в какие не мусора, а просто помогать вызвался. Вишь, как прут. Попробуй совладать.

Ей возразили, что не надо тут ни с кем "совлаживать", они ж сами себе управа, знают, что делают.

— Вот он как раз из тех, кто знает, — поддержала Вичку Натка.

— Правильно, — встрял Пеца. — Он сам управа, а не тихарь.

Соплились на том, что уважаемый Завихор не имеет все же к блюстителям прямого касательства, а функционирует вдоль колонн в одном только добровольном качестве народного дружинника.

Когда спор улегся, с нами, уступившими дорогу, как раз поравнялась передовая гвардия. Тут же подскочил изрядно запыленный по черноте

¹ Ребя — (сокр.) ребята; не путать с общепринятым обращением к равнине.

² Мусор — (жарг.) милиционер.

³ Мент — (жарг.) то же, что "мусор".

крыла, сердитый от своей обыкновенности, залетный, судя по говору, из большого далека кайра с красными лапами и подбитым глазом и потребовал, чтобы мы убিরались подальше.

— Мы ж не мешаем, — удивились мы дружно. — Проезжая вся ваша.

— Ну и что с того? — кайра заскрипел когтями по свежему, под скорый асфальт, гравию тротуара. — Вас здесь вообще быть не должно. Понятно?

Налетели со всех сторон десятка два рябок со ржанками:

— В сторону! В сторону!

— Прочь с дороги!

— И механизму на землю клади! — велел нам кайра. — А то, знаем мы вас...

И рябки наперебой:

— Знаем, знаем. Обязательно уроните.

И ржанки наперебой:

— А то обязательно возьмете да уроните.

И снова ржанки же:

— А то обязательно кого-то раздавите.

И рябки, как оглашенные:

— Раздавите! Вы ж раздавите! Нас раздавите!..

И только-только собрался кто-то из нашей братии и сестрии (может быть, даже и я или не я) ответить кайре насчет второго, пока еще неподбитого глаза, а рябкам со ржанками насчет всего остального, как от одесской колонны турманов, небрежно правым взмахнув крылом, отделился и подошел к нам турман Монька из голубятни братьев Арнольда и Германа со Среднефонтанской.

— Свои, — сказал он сердитому кайре. — Эти не уронят.

— А ты не лезь, — сказал ему кайра. — Не суй клюв куда не следует.

И ржанки с рябками наперебой затараторили ему в тон.

Чем бы это закончилось, еще не факт, но тут в оправдание, так сказать, финала нашего о нем диспута явился с той стороны, перелетев колонны, клинтух Завихор собственнокрыльно. Он приземлился, цокнув шпорами по гравию, и устоял на кайру, не замечая остальных. Рябки со ржанками вмиг заткнулись, и стал опять слышен дивный трепет воздушный, создаваемый колоннами шагающих птиц. Кайра набычился. Завихор выдержал паузу. А потом произнес:

— Эти не просто свои. А свои в доску.

— А почему я знаю? — уперся кайра. — У них что, на лбу написано?

Завихор повторил:

— Они свои в пух и прах. Понимаешь?

— Почему я знаю? — не уступал кайра. — Как по мне, так байстрюки они обыкновенные, вот кто, каких тут у вас в городе сплошные табуны, да и только. Вот затопчут, сами ж не рады будете.

Завихор сказал:

— Я сказал, вот ты и знаешь.

— Ты сказал?! — возмутился кайра. — А ты кто? Сказал — и след простыл. А мне отвечать!

Завихор положил тяжелую лапу кайре на грудь, стряхнул оттуда какой-то мусор и сжал черные перья в своих железных когтях.

— Я Завихор, — сказал Завихор. — Клинтух Завихор с Пролетарского бульвара. Слыхал?

Кайра на сей раз благоразумно промолчал.

— Иди, делом занимайся, — сказал ему Завихор и отпустил. — Не приставай к людям.

— Заступничков развелось, — проворчал сей блюститель и, уткнувшись клювом в перемятые перья, прошепствовал далее, дабы не отстать от предводительской свиты, правый фланг которой он обеспечивал своим пониманием птичьего порядка. На ходу он ворчал себе в грудь: — И откуда только взялись. Ведь было ж условлено — ни души...

Завихор делово кивнул в нашу сторону, поздоровался с Мoneй и перелетел на свою сторону Новоаркадиевской.

Турман Моня дал ему удалиться на половину своей полуроты по той стороне вдоль кустов сирени и только после этого позволил себе обратиться к нам в своей обычной изысканной манере:

— Рад приветствовать вас, медам и мюсье, друзья и подруги, в сей торжественный и радостный день! А ведь правду сказывают, что кто рано встает, тому Бог дает.

— Это все йога, — сказали ему. — Мудры. Космическая энергия вечности. А так бы дрыхли.

— Но не дрыхнете ж, — метко заметил наш добрый турман, которого вообще-то звали Эммануилом, но, ясен день, его так никто не величал. — Главное не пропустите.

— А что тут главное? — спросили мы хором, потому что и впрямь знать хотелось.

— Да нет, вы не поняли, — смутился одесский турман Эммануил по паспорту, а по жизни Моня. — Я не то хотел сказать. Кто я такой, чтоб ра-

зуметь, что тут главное, а что второстепенное? Нет. Я имел в виду, дамы и господа, не "не пропустите главное", а главное — не пропустите. Улавливаете разницу?

— Ну что ж мы, совсем пальцем деланные? — сказали мы через одного. А через второго каждого мы воскликнули: — А, ну понятно, спасибо, тогда конечно!

Турман пожелал нам удачи и бросился догонять своих.

Тут к нам прямо из-под сереньких облаков, задержавшихся с ночи на макушке неба, слетели сразу два тучереза, Фелька и Филька, авторитетнейшие представители голубятни Кецы Вяземского с улицы Уютной.

— Привет, ребя!

— Привет, робя!⁷

— Привет, пацаны, — ответили мы. — А что вы не со всеми?

— Так надо ж и там поглядывать, — сказал Филька, задрав клюв в небо.

— Чтоб все было тип-топ, — пояснил Фелька. — Земля землей, а небеса небесами.

— А что за сход? Слет? Праздник? — спросили мы.

На что Фелька, знатный тучерез, только и молвил:

— Событие нечастое. Сами ж видите.

А знатный тучерез Филька добавил:

— Рекомендую: не пропустите.

А мы им:

— Так раз уже видим, то уже не пропустим?

— Вам виднее, — сказал Фелька. — А вообще всяко бывает.

И снова мы им:

— А что это?

И тогда Филька рассудил так:

— Вы, главное, не пропустите. А там видно будет.

Ну, тут мы хором:

— Чтоб вы были здоровы!!!

А Фелька с Филькой: — Наше вам с кисточкой! — и снова взмыли в небеса барражировать порученный им коридор.

Кто-то из нас, помолчав, спросил:

— Они что, голову нам морочат?

И остальные, фыркнув, возмутились, что можно подумать, будто этот

⁷ Робя — то же, что "ребя"; тоже не путать.

кто-то с голубями впервые дело имеет; и вопрошавший или вопрошавшая вынужден(а) был (была) признать, что нет, не впервые, а как раз наоборот, с детства. И все стало на свои места. Утряслось.

За голоногими черно-чистыми двигалась сотня чернохвостых новочеркасцев, а белогрудые ростовчане составили в шахматном порядке общую с красногрудыми волжанами колонну по шестнадцать числом до пяти тысяч, и у них через каждый батальон вышагивал самолично ростовский лебедь, державший в клюве все ту же леску тройку на шесть килограмм, на конце которой в пяти метрах над землей плыли яркие шары с внушительными портретами импозантных героев революции.

То и дело к нам, нарушая порядки своих колонн, выскакивали знакомые: гривун Юрка из голубятни за сквером Девятого января, чеграши Севка и Сашка из-под Сабанеева моста и Венька с Тимкой и Борькой со Второй Заставы. Другие знакомцы, завидев нашу группу, колонн не покидали, а приветствовали нас радостным взмахом крыла изнутри своих пеших порядков, однако следует признать, что некоторая неразбериха при этом все же возникала, и пылюка шустро взмывалась у них и у нас над головами. И наконец старший, а ведь это мог быть и я, и вы, и кто угодно из нас, усмотрел в пребывании нашем на той обочине действительно (а ведь прав был кайра) некоторую гипотезу угрозы грандиозному пижонскому замыслу и предложил ретироваться, а вернее, передислоцироваться.

— Айда, робя, назад на косогор. Там их и встретим. А тут нас надолго не хватит. Каждому здрасьте — и ноги протянешь.

С ним не спорили.

Дружно, пешими по-велосипедному обогнав вдоль обочины шествие во главе со свитой из колумбийской ливии собственной персоной, из кингов и блю роков, дутышей и турманов, махначей с космачами, барабанщиков из Бухары с бухарскими же трубадурами, ростовчанина во всем своем лебедином блеске и целого выводка датчан с павлинианцами под предводительством Фомы лучезарного с мадьярским великаном Кришфалуди и пштрсом из Моравии, вскочили мы в седла и припустили назад на площадь.

И только пригнав к месту своей медитации, где в низине все еще было пустынно и предрассветно, вдруг оценили всю мощь восторга, распиравшего наши юные сердца, и одни из нас приписали это йогическому воздействию новой мудры, а другие — голубиному шествию по нашему городу птиц со всех сторон света. Как бы то ни было, но прилив душевных сил

необычайный испытывал каждый из в то утро двадцати пяти мудрецов. Аминь.

Велосипеды легли в траву. Кто-то забрался на гранит валуна, кто-то к валуну прислонился, а некоторые даже снова устроились медитировать. И всех пронизывало торопливое чувство, что время на время остановилось или уж, во всяком случае, изрядно замедлило свой обычный бег.

— Смотрите, пацаны, пяти еще нет. Как же это?

— А так, что нет еще пяти. Вот как.

— Вот клёво!

— А ты думал!

— А ты думала!

Чудный трепет продолжал все грандиозней и все туже уплотнять пространство утра вокруг нас и нас в нем.

И тут я понял, что и тогда мне не чудилось, и сейчас есть как есть: гуру-гуру-гуру, хар-хар-хар, уахэй, уахэй, гуру. Это сверху от бульвара и от ипподрома с двух сторон по Пионерской сюда навстречу движутся еще голуби — тысячи, тысячи, тысячи голубей.

Бульварные колонны возглавлял римский тексан весьма необычного окраса и чудовищных размеров с задиристым по правое крыло от себя штрассером полуночником и польским рысом по левое, который по случаю события наел себе такой загривок, что, если б я не видел это собственными глазами, никому б в жизни ни за что б не поверил. Видывал я всяких польских рысов, но такого никогда. Все трое выступали величаво, со знанием дела. Все трое были нам не знакомы. По понятным причинам с мясными породами никто из нас дружбу водить особо не стремился. И Кришфалуди был исключением. Да его никто мясным и не считал. К нему относились как к любимцу дяди Жоры, а еще он сам по себе был славным малым, то бишь, великаном, всегда готовым помочь доставкой записки в любую точку города, включая Пересыпь и Лузановку, и уступал почтарикам только в скоростном аспекте, но никак не в смысле надежности. Был мадьярский великан и в свите римского тексана и выступал он тут шароносцем. Он легко удерживал в клюве на леске огромный над собою шар с изображением Чапаева без папахи. А, может, это даже был и не Чапаев, а сам основатель РККА товарищ Дыбенко, но все равно без папахи. Мадьярец вышагивал в окружении свитских мальтийцев, исполнских кингов и штросов, а также там шли карьеры лазурные, пяток горлиц, три якобина, сводный оркестр витютеней с вяхирями и, наконец, ростовчане белогрудые в замыкающих числом до полутысячи. Первой ко-

лонной и в этом движении, как и в том, вслед за свитой выступал на правах хозяев полк одесских турманов, и оттуда нам из каждой роты, из каждого взвода уже махали всюю крыльями и славно улюлюкали.

Над рядами, продвигавшимися от ипподрома, раскачивался огромный шар с изображением Марии Жюлио-Кюри. Удерживал его в клюве на леске киевский светляк Агрипка. Он и вправду был прописан в Киеве, но у нас его как-то знали все, бывал налетами. Дело свое он исполнял на совесть, и шар над ним плавно продвигался в направлении площади. В этих порядках свиту возглавлял тоже не кто-нибудь, а сам пекинский крылобит полуметровый. Этого я знал только благодаря все тому же Чжань Чжень-Цзы, тогда еще второкурснику. Звали крылобита нарочно не придумаешь, и потому по просьбе наших товарищей китайское землячество переименовало его в Фуйку. Фуйка, между прочим, как и многие китайцы той поры, в общении был приятен донельзя. Сам в друзья не напрашивался, но дружить умел, как никто, великодушно. И вроде бы толку от такой дружбы с крылобитом из Поднебесной ну никакого, ан не скажите, как раз наоборот. И во главе престижно выступающих от ипподрома помпезных рядов и порядков рады были его мы видеть все от мала до велика.

— Привет, Фуйка! Авэ тебе. Медитури те салютант!

Восторг наш рос и креп.

Аллилуйя.

По левое и по правое от пекинца крыло вышагивали два московских монаха — один черный, один кофейный. Это было не просто красиво, а очаровательно. Ай да вкус, ай да Восток. Гвардейцами тут шагали красnodарские бойные в перевязи с армавирцами, несколько линий цветнобоких северокавказцев в череду с кавказцами цветнохвостыми, линия русских чистых, за ними семь горлиц, два сизяка и сводное каре кингов с дутышами, внутри которого и продвигался упомянутый светляк Агрипка с леской в клюве. Вослед каре двумя укосами шествовал выводок махачей и выводок космачей. Замыкала гвардию важная-преважная Columbia livia собственной персоной. Что за птица! Куда ни поставь, всюду на высоте.

— Вот это самооценка, — сказал один из нас.

И никто ему не возразил. Заметили мечтательно, что на таком уровне, пожалуй, ни к чему даже медитировать, раз все и без того само собой одно к одному.

— Так это ж, пижоны, и есть медитация, — сказал кто-то авторитетно,

и это, к сожалению, помню, был не я; а хотелось бы. — А не морды корчить, — добавил этот кто-то, точно помню, не вы, и тут же Муська присочинила, что ей, кажись, эту самую Колумбию на днях подержать давали в зоомагазине на Советской Армии. Ха-ха. Но такой был общий настрой, что не стали Муську выводить на чистую воду, а продолжили в кайф созерцание того, что созерцалось.

Первым полком вослед Фуюевому предводительству, как нетрудно догадаться, выступали одесские турманы. Завидев нас на косогоре, многие из них взмыли из рядов и совершили над валуном по кругу, а то и по два, почета, а некоторые и того больше. Старший турман подлетел к нам и, не приземляясь, а лишь оглушительно тормозя крыльями у нас над головами, в пуху и натуге, потребовал:

— Скажите им. Чтоб. Прекратили. Пусть вернутся. В строй. Перед гостями. Неудобно.

— Сам и скажи, — ответили ему. А другие сказали: — Пусть вернутся, кто же не дает.

И он улетел ни с чем назад возглавлять свою непослушную колонну.

А нам было смешно. А нам было здорово.

— И все-таки, ребя, кайра был прав, — зафилософствовал кто-то, не хотелось бы, чтоб я. — Мы тут помеха, это факт. И мы тут, робя, угроза.

— А ты помалкивай, — сказали ему более просветленные товарищи, — и все обойдется. И ничего тебе не факт.

Вот она, сила мудр на рассвете.

Ай да мы!

За одесситами без обиняков выдвигались сразу три когорты бразильских дальномеров, каждая по тысяче молодых, а через просвет, заполненный батальоном чукотских пингвинистых, шли еще две когорты бразильцев, но не дальномеров, а крестолетных, а за ними рота альпийских вертикалов с полуротой егерских камуфляжных, а там уже не меньше дивизии гавайских выносливых, и еще памирские гнездовые с приданными им фанскими высотниками общим числом до пяти полков, рота бесстрашных везувийцев, взвод пещерных голубей с Калимантана, взвод тяньшаньских парашютистов и крупное соединение ложных шестикрыльников всех цветов радуги, а им по пятам ступали в несколько колонн пугливые горлицы, салатные кусаки из-под Антананариву, чайки шанхайские, чайки саксонские, пешая эскадрилья маньчжурских индиго и сводный корпус странников со всех концов земли в немереном количестве.

Не знаю, как вам, а мне даже вспоминать дух захватывает.

И все это грандиозное в три потока братство вытекало, вытекло, шагало, пришагало, надвинулось сюда на площадь перед нами и, заполнив ее до краев и через край, нет, не остановилось, а задержалось на время для чего-то более необходимого, чем просто вышагивание шаг за шагом, шаг за шагом. Колышется, набухает. То ли заранее условлено, то ли команда неслышная отдана командирам от командиров, — не скажу, но только стали все три колонны, соприкоснувшись и переплетаясь головами, на диво складно, явив разумность недоказуемую.

Ай да голуби, ай да пижоны!

Вряд ли бы нам удалось уяснить хотя б столько, сколько удалось, если б, откуда ни возмись, не слетел к нам Завихор, бульварский клинтух, на сей раз в сопровождении таких же, как сам, опасных и твердых, а главное, что поразило нас окончательно, абсолютно незнакомых нам птиц. Только один из этой стаи отдаленно напоминал Босфорца, но это все равно, что вилами по воде, никаких гарантий. Сегодняшний я бы определил их как группу наведения, особая такая штучка в особых обстоятельствах. Но в то утро я мог только диву даваться да помалкивать в тряпочку. Завихор уселся меж нами на валун, — а прочие из его группы кто куда, но все кучно, — и снабдил нас необходимыми комментариями.

— Рты закройте, мальчики-девочки, — посоветовал он нам для начала. — Ворон тут, положим, не наблюдается, но какой-нибудь салага на радостях, глядишь, и влетит кому-то промеж зубов. Ха-ха.

Вот такой он, этот Завихор. Было чему поучиться.

Рты пришлось закрыть.

Завихор сказал что-то на непонятном, и тут же три птицы из его группы, метнувшись опрোметью по небу к центру площади, осуществили там впритирку к земле дивной красоты двенадцать пируэтов, по четыре каждый, у каждого свой, да для всех троих разные. В результате такого мероприятия там расчистился круг метров пяти в диаметре. Пируэтчики воротились и доложили на пиджине.

— Вижу, — сказал Завихор. — Благодарю.

И тогда в круг выступил Фома венценосец (вот экземпляр!) и, взмахнув при своих размерах крылами под стать кондору, исполнил по периметру выверенным шагом с подскоком и подлетом дивный танец-ритуал, а Кришфалуди с моравийцем аккомпанировали, и всяк, кто был там и видел то, дух имел перехваченным, а в сердце — восторг, да и только.

— Давайте так, — сказал нам Завихор без всякого лукавства. — Пусть один за всех говорит. Вот ты, например. Спрашивай. Только по-умному.

В пропитанный клеточным восторгом воздух, вовнутрь уплотненного счастьем трепета инородный звук с трудом проникает. И не сразу распоз-

А в круг тем временем восшествовал пекинский крылобит Фуйка полуметровый. Его танец был не танец. Его танец был балет. Восточный, выпуклый, непостижимый. Даже Завихор с его особой командой наведения приосанились — недоказуемо, но, тем не менее как один. А ведь были там у него и мавританцы, и танганьикские злобные, и отвороты приполяренные, да в общем, кого ни возьми, палец в клюв не положь, а вот Фуйка взял да и пронял всех до единого своим выходом. Вторили ему, как мы по-

мним, два монаха московских, черный да кофейный, и в такой они резонанс вошли, что просто удержу нет.

- А теперь что?
- Центр, — сказал Завихор. — Обозначен. Утрамбован. Завершен.
- То есть?
- То есть, исполнен. Чего тут не понять?!

Светляк Агрипка, Фуйкой приглашенный, взошел во круг, замер и выпустил шар.

- Складовская-Кюри?
- Не. Это Екатерина.
- Великая?
- Кому как, — сказал Завихор. — Фурцева это, пацаны, Фурцева¹.
- Да ты что?
- А я тут причем? — рассердился Завихор.

И тут дисциплина рухнула, и мы заговорили все разом.

- А мы тебе что?
- А мы тебе ничего.
- Просто спросили.
- Любопытно ж, елки-палки!
- Так вот она какая!
- А ты думал?
- Да ничего я не думал!
- Да ничего я не думала!

Были там и еще шары, много шаров, с изображенными на них портретами неизвестных, похожих на известных или ни на кого не похожих. Но только вот незадача, после третьего шара, с Екатериной, клинтух Завихор от дальнейших комментариев напрочь отказался.

— Не до вас, пацаны, — сказал он сухо и отлетел к своим. И оттуда молча наблюдал вместе с нами, как ловкие эскадрильи турманов и блю роков, выносливых гавайцев и бразильских дальномеров, да кого там только не было в том утреннем разнообразии, объединенные бесподобной летной выучкой, впрягли все три шара в небо над площадью в ковер из многоцветных лоскутов, лент и ленточек, перышек и перьев, переплели это богатство тугим узлом на всю свою голубиную совесть и только потом, по неслышной команде, наконец отпустили вовсе, и шары двинулись в вышину, дальше в небо, раскачиваясь и сверкая.

¹ Фурцева Е.А., министр культуры СССР.

Голуби на земле разом дружно захлопали крыльями. Было что послушать да на что посмотреть.

Мы чихнули.

— Не моют улицы, да? — сказал Завихор. — А надо бы.

Кому угодно, может усмотреть в сих словах иронию, но, ручаюсь, ее там в то утро не было и в помине. Все происходило буквально, а не в переносном смысле.

Завихор меж тем снова распорядился по-голубиному, и несколько его тучерезов да мавританец, да скандинав, да скалистых гор упредитель, да парочка кейптаунских тяжеловесов в компании с тасманийскими меткачами ринулись на бреющем в самый центр и ну там заново пируэтит — свечкаришь да штопорит, да Бог знает что еще выписывать на невиданной прежде скорости, и все впиритиру, и все на пределе.

Восхищаться на словах уже, честно говоря, слов не находилось. Восхищались молча.

И вот, послушное новому поводу, попятным шагом через одного, а потом два через четыре, а после семеро через восемнадцать, честное собрание с площади, перестраиваясь на ходу в единую отныне колонну, двинулось в сторону Аркадии.

Впереди вышагивали все предводители разом в окружении свит переплетенных. Венценосец Фома, великан непревзойденный, по праву печатал поступь свою величаво по центру. По левое крыло от него, хоть размером уступчив, но движеньем умел, шествовал римский тексан, предводитель когорт бульварных. А по правое крыло от венценосца дробно, весело шагал крылобит ориентальный товарищ Фуйка. Завидев меня на косогоре, он трижды взмахнул крылом и подпрыгнул на каждой ноге поочередно. И вот поди определи, кривлялся он в кураже события, или действительно имел целью выразить в мой адрес почтение как знакомцу его незабвенного друга Чжан Чжень-Цзы.

Привет тебе, Фуйка!

Предводители скрылись из виду, а движение не прекращалось. Три колонны вливались в площадь, с ловкостью заволаживающей совершали перепостроение и текли единопоточно дальше на Аркадию. То там, то тут в каждой из колонн встречались шароносцы. Каждый из них неизменно достигал центра, осуществлял там ритуальное замирание с заданным к небу клювом и отпускал шар, после чего, исполнивший, вливался в общие ряды, а шар, дрогнув, устремлялся в небо, в сферу забот эскадрилий сопровождения, которые, рискуя сшибить друг друга, продолжали вытво-

рять в небе над площадью что-то невероятное — какие-то шары эти асы вязали попарно, какие-то по три, и по пять, и по четыре, а другие отпускали ввысь самостоятельно. Усмотреть в их действиях какую-нибудь логику нам снизу не представлялось возможным, а Завихор продолжал казаться занятым и сурово помалкивать.

Шары прибывали. Эскадрилий в небе, соответственно, тоже прибыло. А по внешнему периметру всех уровней этого славно сочиненного и сложноподчиненного действия, опоясывая его, опушивая, барражировал непрерывно растущий караван черных с белыми бурнусами посланцев туарегов. И хоть вовсю уже ныли шеи, но оторваться от того, что там происходило, никак нельзя.

— Такая красота, и ни одного пингвина, — брякает Вичка в преумножение восторга, как по мне, так очень даже к месту.

Но Завихор тверд и заточен:

— В том-то как раз и штука, — чеканит он, — что каждый тут сам себе и пингвин, и кенгуру, и тасманский дьявол. А гастролеры пролетают. Как фанера над Триумфальной Аркой.

Уяснить это нелегко. Постарайтесь хотя бы запомнить.

Кто-то из местных турманов или тучерезов подлетел к валуну нам на выручку, и сколько Завихор его взглядом ни тиранил, продержался, молодец, с минуту или около. Это он разъяснил нам шар с Иоанном.

— Каким еще Иоанном?! — озадачился тот, кто спрашивал.

А храбрый турман (не тучерез, а это был, по-моему, все же Данька с Пироговской, если не путаю) смерил нас нелестным взглядом, а после молвил:

— Ну, уж не с Иваном, надо полагать, Четвертым.

Пауза.

— И не евангелист это на шаре. Нет.

Еще пауза.

— А Иоанн, который и в Африке Иоанн. Предтеча, разумеется.

И тут тот, кто спрашивал, и, к счастью, это все-таки, кажется, не я, или почти не я, или не совсем тот, кого однозначно можно назвать мною, не выдержал и спросил:

— А кто это?

Пауза, королева всех пауз. Ваше величество!

Кто повесил ее? Да все разом, чего уж тут. А прервал все тот же турман, не тучерез. Он сказал:

— Сдается мне, любезные, что вскорости от вашего поколения останутся только рожки да ножи.

И с этими словами был таков.

С одной стороны он, положим, угадал в точку, а с другой, как видим, просчитался напрочь. В любом случае огорчить кого-то всерьез своим предсказанием в то утро храброму турману Даниилу не удалось. Разве что клинтух Завихор утвердился в чем-то своем пуще прежнего. А нам до всего, что нам предстояло, с того косогора было так далеко, что не видно. Зато восклицания наши по поводу новых лиц на шарах зазвучали теперь еще громче, еще нелепей.

— Да нет, говорю, это не Карл Маркс! Это Хемингуэй.

— У того свитер.

— Причем тут? Это ж портрет, а не фотография. Ну, нет свитера, так что?

— Ну, а то вон там Энгельс?

— Не думаю.

— А кто?

— Сезанн какой-нибудь. Я, кажись, робя, усек систему.

— Ну?

— Не Сезанн, так Мане с Моне или Гоген с Ван Гогом. Ну, не знаю. Не важно. У меня дома такие альбомы с репродукциями.

— У меня тоже.

— И у меня.

— Да до лампочки. Но не Энгельс. Понимаете? Вот что.

— Ага! Но вон ведь точно уже Чапаев!

— Нет, не точно. Точно нет. Это Фолкнер.

— Вильям Фолкнер?

— Нобелевский лауреат.

— Можно подумать!

— Ха, робя, а разве вон тот не Луначарский? Ведь точно Луначарский!

— Шекспир, балда. Шекспир.

— Вильям?

— Ага, лауреат Сталинской премии.

— Да ладно тебе.

— Точно, Шекспир. Один к одному.

— И мать его Гертруда.

Теперь, почти полвека спустя, я понимаю, что там, конечно же, должны были шариться или шароваться портреты и самого Андре Бретона, и Поля Элюара и иже с ними. Но внешность этих господ и поныне пред-

стает для меня загадкой, и, случись сегодня наткнуться на портрет без подписи, опять бы не распознал. Так что уж говорить про то безусое утро. Были? Не были? Должны были быть.

— А чего это он вдруг Фолкнер?! С таким же успехом скажу, это Пржевальский.

— Ни фиги!

— Чего это?

— А того это. Вон Пржевальский на том шаре, видишь? Вот это Пржевальский.

— Елки-палки! Похоже.

— И в самом деле Пржевальский.

— А с кем это они его вяжут? С Хрущевым? На этот раз Хрущев?

— Ну, может, и с Хрущевым. Во всяком случае не с Пикассо.

— А это уже третий лысый атлет. А второй кто был?

— Котовский.

— Ну, нет же. Сам говоришь, что не в системе.

— Ну, говорю. А на самом деле — что мы тут понимаем. Я так, с наскоку, в первом приближении.

— Ну, все равно не Котовский.

— А кто?

— Может, Филатов? Наш, глазной доктор.

— А может, еще кто-нибудь.

По поводу нескольких последних шаров меж нами разгорелся особенно жаркий спор, и Завихор не выдержал.

— Ну, будет вам, — сказал он. — Так орать спозаранку, никаких сил не хватит.

Мы перевели дух.

— Слушай сюда, — сказал Завихор. — Справа большой — это Тур Хейердал на Кон-Тики. Вон тот это Антон Чехов. Ясно? Стыдно. А вот этот вот — это Вася Кандинский. Наш, одессит. И баста.

Замыкающими во всех трех колоннах шли одесские турманы. Они водвинулись в площадь на всех парах, ловко перестроились, взмахнули разом левым крылом, прощаясь, взмахнули правым. Эскадрильи в небе распорядились последними шарами и, спикировав одна за одной, приземлились в центре. Здесь они выстроили своеобразный порядок, под стать узору на персидском ковре, имевший целью символизировать их особую, без разделений на породы, летную высшего пилотажа принадлежность, после чего, взмахнув крылами, небреж-

ным шагом пустились вослед турманам одесским и вскоре скрылись с наших глаз.

Трамвай снизу, ведомый усталой вагоновожатой, рванул на подъем и загромыхал, набирая скорость. Трамвай сверху медленно пополз за голубиным шествием вниз к Аркадии.

Клентух Завихор цокнул когтями по граниту и расправил крылья.

— Тут все. Пора двигать.

Он окинул нас строгим взглядом.

— Вот и славно, — молвил он. — Честь имею, — и, подняв своих в крутом вираже, растворился в мгновение ока в ясном небе.

Тишина, какой свет не слыхивал.

А сбоку от этой тишины удаляется, гаснет хар-хар-хар, гуру-гуру-гуру.

Семь, начало восьмого, а кажется, жизнь прожита.

Вдруг с холма над болотцем под стать всему под самое небо звонко, весело, но не в шутку, ржет молодой выпавший конь. И-го-го тебе, брат, и-го-го.

Мы разделились. Одни из нас, кто посвободней, отправились в Аркадию досматривать. А другие, кому в то утро предстоял обещанный маме поход за продуктами, мытье полов или еще что-нибудь, ну, например, если все же было не воскресенье, ведь не обязательно, то хотя бы первая смена в школе, первая пара в институте, начало рабочего дня, а если все же воскресенье, так мало ли еще чего удумает мир, дабы озаботить нас повседневностью, и вот эти, озабоченные, покатили домой. С кем был я, сказать не берусь. Если я отправился в Аркадию, то видел, как голуби, не нарушая порядков, шествовали по центральной балке, по молодой траве, минуя тротуары, достигали песчаного берега и там взмывали в небеса поротно и побатальонно, посотно, попятисотно, потысячно. Они совершали замысловатый круг, скорее восьмерку, над высоким рыжим обрывом с пограничной вышкой и затем устремлялись через залив в сторону Лузановки. Тень от их построений неслась вместе с ними, колышась, по сверкающим синим волнам. Дальнотворки утверждали, что видели и там Завихора, который со своей особой группой наведения продолжал выполнять в небе среди всей этой неразберихи, то в зените в вышине, то на бреющем над самой водой, какую-то немыслимую нужную задачу. Потом оказалось, что честное птичье собрание, все эти тысячи, сотни тысяч голубей до единого, направляются не в Лузановку, а вовсе за горизонт. Кто-то сказал, в Крым. Почему, не знаю. Но я тоже это повторял, настойчиво, дабы обрести посреди той грандиозности хоть какую-то маленькую опору.

- В Крым подались. В район Судака.
- Ну, ясно. Там уже тепло.
- Так и у нас не холодно.
- А там теплее.
- Ясно, теплее. Крым же.
- Ага, не Сибирь.
- Так и у нас не Сибирь.
- Так вернутся ж.
- Вернутся?
- Ясен день, вернутся. Куда ж они денутся. Наши вернутся.
- Вот тогда и расспросим толком.
- Точно. А то аж голова гудит. Может, выкупаемся?

Кто-то купался в холодных волнах, кто-то нет. Но воротившихся домой голубей, а они прибыли недели через две, никто никогда ни о чем уже не расспрашивал. Не знаю, почему. Так вышло.

Если же я в то утро в Аркадию не поехал, а вернулся домой выполнять какую-нибудь обязанность, в таком случае я всего этого не видел, а мне потом рассказали, правильно? — и со временем я стал думать, что видел, вот, а на самом деле в тот момент покупал на Привозе курицу с овощами или писал мелом на доске, и ответственно мог утверждать только, что люди и события в тот и несколько последующих дней существовали в регистре более высоком и насыщенном, чем обычно. Потом говорили, что планета таким образом прихорашивалась перед первым полетом человека в космос. Вроде глупость, да? А с другой стороны, а что тут глупого?

Уж не глупее, чем все остальное.

Куда ни глянь.

И вот еще что. По себе знаю, у вас, конечно же, будет сильное искушение решить, что все тут изложенное чистой воды выдумка. Тогда ответьте себе на один-единственный вопрос: положи руку на сердце, вы всерьез полагаете, что такое можно выдумать? Да? Попробуйте. А я на вас посмотрю.

Мы же тем временем, те, кто стал в то утро случайным (или не случайным) свидетелем события, и кто умудрился пережить последующие тридцать-сорок-пятьдесят лет, с йогой и без йоги, с правдой и без нее, среди дважды и трижды переименованных улиц, собираемся теперь по пятницам в нашем кафе на углу двух проспектов. Мы его так и называли Под Голубем, а на вывеске один из нас, не я и не ты, а некто Макар, примкнувший из сочувствующих, грандиозно намалевал живописнейшую блямбу

помета, но только мастерство его, сдается, опередило свое время, а может, и вообще люди в массе своей не очень наблюдательны, поскольку блямбу эту принимают то за вид Черного моря с высоты гагаринского полета, то за полуостров Крым, а то и просто путают с расхожим изображением цыпленка табака.

— А помните, — произносит кто-нибудь из нас вместо тоста, — как они шагали, а потом летели?

— Еще бы, — подхватываем. — Всей тучей в Крым.

— В залив Феодосийский.

— Куда?

— А куда?

Пауза.

С чувством, с хрустом, всем миром разом пожимаем плечами.

И кажется, игра эта никогда не надоеет.

Удачи нам, удачи вам, пижоны.



Зимняя встреча в летнем кинотеатре

Из одесских "Аркадийских рассказов"

"Кажется, за мной следят", — подумал Сечнев, когда поднялся по каменной лестнице на самый верх аркадийского берега. Здесь, возле обрыва, расположился летний кинотеатр. "Да ведь это же какие-то довоенные дела!.. Сталинский ампи́р в парке Чаир". За каменной стеной метров на двадцать вверх взметнулась раковина эстрады тридцатых годов...

Чувствуя на себе чей-то взгляд, он остановился у широких, когда-то торжественных ворот. Унылый их вид настраивал на печаль. "Наверняка тут был когда-то лозунг "Искусство принадлежит народу". И был. И осуществлялся. Ворота эти для того так широки, что народ сюда ломился за искусством. А сейчас... Мемориал Помпеи..."

— А я то думаю... кто это тут?..

Пожилая невысокая женщина в синем платке сошла с эстрады и остановилась возле штабеля досок. Смотрела васильковыми глазками, была худощава, в темном платье; а поверх — матерчатая венгерка-безрукавка, и был еще почему-то на ней черный сатиновый передник. Она подошла ближе, выжидала, молчала. А в мозгу Сечнева вдруг секундно вспыхнуло воображение: "Да ведь она пришла сюда не просто так! Не она ли когда-то скандировала из этой раковины: "Не быта узницы, а синеблзницы!"? Барабаны, горны... Не она ли пальчиками по аккордеону..." Одним словом, как это бывает у людей пишущих и ищущих темы, будущий рассказ одно-моментно возник в мозгу Сечнева. Его осенило рассказом. "Да! Приходит сюда эта женщина и вспоминает. И печаль светла. И время не властно..."

— А если тут кто ходит, то собаки могут порвать, — вдруг сказала женщина, сказала в пространство, не Сечневу, но краешком имея ввиду и его. Но отрезвить неопита прозы эти слова не могли. Он смотрел на женщину почти восторженно, ее появление все изменило, все перевернуло и так удачно соединило для будущего рассказа!

— И вы часто сюда приходите? — спросил Сечнев, так сказать, приступая к сбору материала для рассказа.

— Куда прихожу? — удивилась она.

— Да вот... сюда. Тут ведь летом кинотеатр, кажется.

— Летний, — ответила она. — Но... тут и сейчас можно документы про-

верить. Я, если без документов, и разговаривать нечего. Я и Лузину так сказала. И два милиционера тут. Вот сейчас должны прийти.

Сечнев не зал, что и отвечать. Кхм. В безлюдном уголке Аркадии женщина в переднике говорит о документах, о Лузине каком-то...

— Вы не простудитесь? — спросил он. — Холодно сегодня.

— А я сейчас к себе пойду.

Она махнула рукой в сторону, и Сечнев увидел, что покатая спина-крыша раковины эстрады заканчивается двумя окнами и крыльцом с каменными ступеньками. Крашеная зеленым, кое-где утепленная дверь, вела в какие-то внутренние помещения.

— Да неужели вы здесь живете?

— Живу.

— Здесь? В этой раковине?

— У меня тут квартира.

"Ну и ну!" — удивился Сечнев и спросил осторожно:

— Вы и прописаны тут... на эстраде, в этой раковине?

— А как же. Если живу. Я тут сторожем. Спросите — Алевтину все знают. И прописана постоянно.

— Как же вы тут оказались?

— А я в эту раковину замуж вышла. Мы поженились — меня к мужу и прописали после войны.

Нда. Будущий рассказ приходилось корректировать на ходу. Значит, не молодежная эстрада, а послевоенная разруха... "Но ей так все это дорого, что она и поселилась тут..." Кхм. Но получалось, что и теперь, до сих пор она живет в такой же разрухе!.. Женщина смотрела на Сечнева подозрительно, и только он хотел навести справки о ее муже, как она завела свою непонятную волюнку:

— Я паспорта у всех спрашиваю. Вот к ухо-горлу как-то одна прибежала... Ночью. А что это начнется?

После наводящих вопросов Сечнев выяснил, что ухо-горло — это Лузин, врач-ларинголог из аркадийской поликлиники, водивший в раковину дам. Сечнев был разочарован. "Водевилей я не пишу", — констатировал он и вовсе помрачнел, когда выяснилось, что покойный муж этой привратницы эстрады воевал, попал в окружение, вышел из него без документов и загремел на всю катушку, то есть на десять лет, после которых был на поселении в Кемі, потом его реабилитировали, он приехал отогреваться в Одессу и устроился при летнем кинотеатре. Одним словом: "Э, какой уж тут рассказ, — сказал себе Александр Иванович Сечнев. — Какой рас-

сказ, если муж сторожихи-мечтательницы, бывшей горнистки, от звонка до звонка трубил в зоне из-за отсутствия документов, а эта Алевтина по этой же причине теперь имеет заскок".

Да, так счастливо наметившийся рассказ рухнул. А было жаль. Потому что внутренним оком Сечнев увидел и подходящую тему, и неординарность обстановки, почувствовал в ненаписанном рассказе редкое настроение. Да и намечалось в нем главное: писать по живому, не выдумывать, а идти за судьбой реального человека. Но, разумеется, не без фантазии и игры ума. В писании рассказов Сечнев старался придерживаться принципа, который предрек еще Лев Толстой: настанет время, когда писатели будут писать о том, что сами хорошо знают, сами пережили, не фантазируя. С последним постулатом Толстого Сечнев не соглашался. Фантазия — воздух творчества, считал он. Но рассказ о зимней встрече в летнем кинотеатре, по мнению Сечнева, был обречен из-за прошлого героев: бывший зэк и его жена. Реалий этого прошлого Сечнев не знал. Вникнуть в глубины их характеров вряд ли бы удалось. В конце концов он посчитал, что жизнь этой низкорослой худощавой Алевтины протекает бессмысленно и уроком человечеству никак послужить не может.

Прошло время. Где только не работал Сечнев! А как-то в начале лета ему пришлось побывать в Аркадии по заданию редактора газеты, где он сотрудничал внештатно. Надо было сделать репортаж. По методу акынов Сечнев, что видел, о том и писал в таких репортажах. А пока делал заметки в блокноте: "Засилье частных лавочек. Бочек с квасом нет. "Фанта", "Пепси". Инвалид продает брелоки с портретом Сталина. Возле американского автомата "Однорукий бандит" много школьников". Он зашел в пункт милиции возле памятной лестницы к летнему кинотеатру. Капитан коротко сообщил о правонарушениях и в заключение сказал:

— Тут в Аркадии и за геройские поступки есть кого отметить в газете.

Сечнев этим очень заинтересовался, и капитан сообщил, что вчера взяли николаевского гастролера-рецидивиста, который уж полгода как в розыске, а задержала его санитарка поликлиники Пляцко. Не просто задержала, а даже ранила — прострелила ему бедро, — и бандит не ушел. На пляже его и взяли.

— Как прострелила? — удивился Сечнев. — Она что же, с оружием на пляж пришла?

— А Пляцко местная. Живет тут на плато Гагарина, два.

Только-только Сечнев вознамерился задать массу вопросов, как сержант привел двух школьников, которые пытались американский играль-

ный автомат унести на Молдаванку. Пошло разбирательство, и Сечнев отправился на плато Гагарина, 2.

Створки ворот были приоткрыты, Сечнев вошел на территорию кинотеатра и увидел на скамье голого по пояс мужчину. Он оказался киномехаником Мураховским, сидел и держался за перебинтованный бок. Сечнев предъявил удостоверение и попросил рассказать подробности об инциденте.

— Во подробности, — сказал мужчина и показал на свой бок.

Выяснилось, что вчера, после сеанса кинокартины "Калина красная" двое пырнули киномеханика пером и потребовали картину прокрутить снова. Алевтина Игнатовна Пляцко, сторожиха, все видела и начала стрелять.

— Да откуда же у нее пистолет?

— Подарочный. Тут госпиталь когда-то был. Она маршала выходила.

Сечнев был раздосадован, но в то же время и торжествовал. Досада была из-за того, что он так опрометчиво и давно отказался от сбора материала о жительнице летнего кинотеатра. Но торжествовал он потому, что зимнее внезапное озарение рассказом, оказывается, не было случайным, а, так сказать, в какой-то мере провидческим. "Да, теперь сама жизнь закрутила этот ненаписанный рассказенный, — думал он. — А что? Санитарка, маршал... Она своей любовью и заботой ставит на ноги старого полководца, он готов для нее на все, но она верна своему мужу... кхм, зэку и сторожу, черт!".

— А где же она сама, Алевтина... Пляцко ее фамилия?

— Сидит у себя. Боится, — махнул рукой Мураховский. — Говорит, что больна. Протокол через окно подписывала. И у всех документы требует. Как ни уговаривали — не вышла.

В окне раковины Сечнев увидел саму Алевтину Игнатовну: маленькая головка с настороженными глазками; волосы уложены гладко. В руке вдруг сверкнул нож.

— Я... э, я зимой тут был как-то... А теперь узнал... — начал довольно коряво начинающий прозаик, а потом заявил: — Я корреспондент. Вот удостоверение.

— Теперь-то у всех документы, — ответила героиня, не проявив должного внимания к удостоверению. — У всех красные книжки, кого не спроси.

Руки у нее были мокрые. Она что-то бросила в кастрюльку на подоконнике. "Да она картошку чистит", — догадался Сечнев, вспомнил о Льве

Толстом и решил брать быка за рога:

— У вас, значит, подарочное оружие... от маршала. Мне сказали "Королек". Это что за тип оружия?

— "ТК" — Тульский Королев, — объявила Пляцко и исчезла из проема окна. Будущий Хэмингуэй ждал минут пять, потом стал окликать женщину: "Алевтина Игнатовна!", но она не появлялась.

— Ладно, — громко сказал будущий Фицджеральд. — Я завтра приду. Я вас сфотографирую. Карточка вам будет.

Алевтина появилась, ни слова не говоря, закрыла ставни окна и канула в темной утробе раковины. "А чтоб тебя, худяра ты дикая", — мысленно чертыхнулся будущий Чехонте.

Три дня он собирал сведения и приступил к делу. Рассказ писался легко. Он назвал его "Пистолет маршала" и положил на стол редактору газеты.

Редактор тоже писал рассказы и был последовательным сторонником умозаключений Льва Толстого, а поэтому писал исключительно о своей личной жизни — уж что-что, а это он пережил сам, а, значит, хорошо знал. Редактор рассказ прочитал, подумал и сказал:

— Знаешь, старик, достоверности еще маловато. Поищи детали. Деталь — это же мать достоверности! Ищи эту мать.

Сечнев с этим согласился, но показал рассказ одесскому маститому прозаику.

— У вас, коллега, в рассказе есть длинноты, — сказал прозаик, и добавил непонятное: — Поэтому почаще вспоминайте, чьей сестрой является краткость.

Сечнев задумался, но потом до него дошло, что краткость приходится сестрой таланту. Значит, в его рассказе не хватало как матери, так и сестры. И он выкроил время, и отправился в Аркадию на поиски этих родственников.

Свою героиню он увидел не в летнем кинотеатре, а внизу, возле моря, в аркадийской аллее. Героиня будущего нравоучительного рассказа продавала помидоры. Он и подходить к ней не стал. Наблюдал из-за газетного киоска: в темном холщовом платье она сидела на перевернутом ведре, склонившись над помидорами, разложенными на кучки. Обута она была в новенькие синие детские сандалеты. Неподалеку, разложив афиши на скамье, женщина помоложе и покрупнее Алевтины продавала театральные билеты, и Сечнев с легкой душой ухватился за мысль о подмене: "Вот если бы Алевтина продавала билеты в театр!.. И не просто билеты, а биле-

ты на спектакль о маршале... Хороший поворот!" Но — помидоры... черт бы их побрал. Помидоры Сечнева смущали.

Он зашел в аркадийскую поликлинику и на втором этаже нашел кабинет ларинголога. От врача Лузина узнал он немало. До недавнего времени Алевтина работала в поликлинике санитаркой. Это годилось для рассказа. Но она еще прирабатывала банщицей в морских ваннах и у нее была левая клиентура. Это не годилось. После давнего бракосочетания со сторожем она на территории летнего кинотеатра завела огород с парником и продавала ранние овощи по спекулятивным ценам. На аркадийских склонах Алевтина собирала липовый цвет, плоды шиповника и сдавала их в аптеку, разумеется, не безвозмездно. Это хорошо характеризовало деятельную санитарку! Зимой в своей двухкоморной квартире на эстраде она отапливалась электроплитками — удовольствие дорогое. Но у нее был знакомый электрик, который показания счетчика откручивал, и отопление получалось бесплатным. Сечнев слушал ларинголога Лузина, тайком вздыхал и чуть не кричал от досады. Алевтина получала копеечную пенсию, а поэтому, кроме всего прочего, ловила черноморских бычков с причала и продавала их на Привозе, и подрабатывала на киносьемках статисткой. Сечнев узнал, что она не только живет в раковине эстрады, но еще и пускает квартирантов в соседние пустые каморки! Это... это уж как-то не совмещалось с одухотворенной героиней будущего произведения. Тем не менее, у нее были постоянные квартиранты — зимой милиционеры, и уже много лет к Алевтине приезжал в отпуск запойный летчик из Донецка и семья инвалида из Кременчуга.

Многое прояснилось в жизни и бурной деятельности бывшей санитарки, но что делать с рассказом — Сечнев ума не мог приложить. Сидел вечерами, черкал, вписывал, мучился, извелся сам и извел жену — преподавателя технологического; нервничал, осунулся, вскакивал по ночам и... в переделке рассказа пошел по пути давно известному: от жизни к художественному вымыслу. В его рассказе Алевтина безвозмездно сдавала дары природы в аптеки, и, конечно же, не сдавала углы на эстраде жильцам-горемыкам-милиционерам, а просто к ней заходили исключительно ветераны, и приезжал летчик из Донецка — депутат и мечтатель. Черноморские бычки, фокусы с электросчетчиком и помидоры рассказчик утаил от будущего читателя вовсе.

"Это не рассказ, — сказал маститый прозаик Сечневу, — это, мой друг, материал для нечто большего, эпического. А отчего бы вам не замахнуться на роман?"

Сечнев обещал подумать, но прежде чем приступить к роману, показал рассказ редактору. Тот очень бодро сказал:

— Это то, что нужно, старик. Можно печатать. Поздравляю. Ты здорово поработал.

Автор был счастлив и ловил ртом воздух от искреннего восхищения своим редактором, который спросил:

— Скажи, а эта твоя Пляцко — она жива или ты факт смерти не отразил?

— Жива! — удивился и немного даже возмущился автор. — Жива. В Аркадии живет. Факта смерти не было.

— Но тебе, можно сказать, сказочно повезло! У тебя прототип жив, а ты рассказ о нем пишешь! Это ни к чему.

— А-а... как же?... Что же писать?

— Да не пиши ты рассказ! Ты пиши, как есть! Как встретился, о чем говорили, что узнал, чему удивился, какая была погода и чем пахло. И больше ничего не надо! Если ты сможешь, у тебя получится не рассказ, а шедевр. Нет, не я буду твоим редактором, если ты не напишешь этот шедевр!

"И ведь это так просто! — убеждал редактор, — предельно просто: писать, как есть. И Лев Толстой завещал, старик! Напечатать и так можно, но уж лучше шедевр — осталось-то всего ничего".

И Сечнев ринулся в эту пучину.

Он приезжал в Аркадию, вынюхивал, спрашивал, сопоставлял. "Чем Алевтина живет сейчас? Ведь должен быть какой-то смысл в ее теперешней жизни! У каждого есть стержень, за который он держится..."

Дома, в состоянии прострации, он пролеживал часами тахту, мысль его слабела, и даже подумалось: а не написать ли академику Лихачеву? Мысль об академике явилась не просто с потолка, а с экрана телевизора: академик выступал и отвечал на вопрос: может ли литература перевернуть мир? И Лихачев после некоторой запинки, некоторого смущения, все-таки ответил: да, может, может она перевернуть мир! А Сечнев вяло думал: чей все-таки мир она может перевернуть? Вряд ли это мог быть мир Алевтины, потому что зиждился он совсем не на академических началах.

Сечнев еще не знал, что для создания шедевров требуется не испорченный подлой жизнью небесный дар, божественные стечения обстоятельств и каторжный труд. Но когда он окончательно понял, что ни начать, ни закончить, ни вообще написать свой шедевр не сможет, начались

в обществе такие перемены, такие тихие революции с поножовщиной и стрельбой, что судьба забросила его на пять лет в Крым, где он открыл фирму и сражался с наездами местных мафий. И как-то по делам он приехал в Одессу, и под вечер велел шоферу ехать в Аркадию. То, что он увидел на месте летнего кинотеатра, потрясло его. Как будто сатанинским взрывом тут все было искорежено, смято, превращено в печальную свалку. Раковина эстрады рухнула, и оставалось лишь гадать: придавила ли она Алевтину, или та успела выскочить и спастись. "Время... — философски подумал несостоявшийся мастер прозы, — против него никто пойти не властен". Внизу, в Аркадии, дымили, чадили, извергали какофонию джаза и рока "Копакабаны", "Атлантиды", "Лабиринты" — рестораны и бары. "Что я могу? — думал он. — Купить эту землю? На черта? Да и она тут дороже золота..."

Он вдруг ощутил свою никчемность, да и вообще ненужность, необязательность своей жизни, и вдруг вспомнил, как золотым осенним днем с неярким прощальным солнцем возле раковины эстрады на дощатый именинный стол упала синяя скатерть с нашитыми на нее лоскутными кленовыми листьями. Глухо стукнула о доски плоская тарелка, из которой по краям свешивались и подрагивали, будто готовые взлететь, тонкие ломти брынзы. Помидоры Микадо с малиновым отливом, фаршированные яичным желтком и рыбой, казались на этом столе счастливыми игрушками из детского мира. Зернистая копна белого риса просвечивалась солнцем насквозь, нежно сияла, а в глубине ее темнели островки распятого чернослива. В гранях хрустальных стаканчиков на синей скатерти то вспыхивали, то прятались блески и звезды. Сказочный стол был накрыт во дворике возле раковины эстрады в честь именин! И алевтиныны собаченции возлежали между ножек стола, а сама Алевтина Игнатовна стояла на крыльце и на вытянутых руках держала полутораметровое вафельное полотенце.

Тогда Сечнев впервые увидел ее в однотонном голубовато-выцветшем платье с рукавчиками по локоть. "Наверняка оно из какого-нибудь древнего креп-жоржета..." Когда-то Сечнев слышал о непреложном правиле: надо любить своих героев, любить тех, о ком ты пишешь. Правда, он не понимал: как можно полюбить, скажем, Сатану, если начать писать о нем? Но тогда не думалось о рассказе. Эта женщина-подросток просто нравилась ему, он заметил в ней какое-то необычное достоинство: она не суетилась, не подкладывала яства гостям, не играла роль хозяйки, а сидела на зачехленном конторском стуле очень прямо, точно по его спинке — и смо-

трела и слушала не умиротворенно, наслаждаясь, а очень просто и даже обыденно, как будто такие сказочные осенние субботы, когда листья дикого винограда над головой накалились до яркого багрянца и вот-вот вспыхнут, — такие вечера совсем для нее обыкновенные дела. И Сечнева только тогда осенило потайным смыслом жизни этой женщины, наконец он понял его, но совсем не удивился своему открытию, он обрадовался ему, как будто определил и свою жизненную основу: "Ну конечно! Она всю жизнь стремилась жить, как люди. И все время к этому были преграды! Голод, сельское рабство, нестроенность после бегства в город и свой угол в летнем кинотеатре с измученным этой злой жизнью мужем. Поэтому у нее свое, особое понимание вот этого: "чтоб было все, как у людей"... И это застолье, и неожиданный, полный достоинства облик хозяйки, и это тихое небо над столом — "все, как у людей, по-людски"...

Летчик из Донецка и киномеханик Мураховский затеяли сюрприз для хозяйки. Для этого они отправили ее в дальний конец летнего кинотеатра, сами суетились, бегали к воротам, разматывали и натягивали какой-то провод... Когда закончили, то отвели именинницу к воротам и предложили нажать на кнопку, которой раньше тут не было. Алевтина нажала — и в ее эстрадных покоях раздался переливчатый мелодичный звонок.... И хозяйка, забыв обо всем, беспрестанно нажимала на кнопку звонка и смеялась.



Подарок

- Простите, графиня, что приехал к вам без подарка.
— Ах, князь! Ваше пребывание у нас уже есть подарок!
Сцена из оперетты

Ранним декабрьским утром Станислав Семенович, бреясь, торопливо прокручивал в уме предстоящий день: "Заскочить на фирму, посмотреть сценарий новогоднего утренника... Потом репетиция. Да, предложить Юлику новую мизансцену в дуэте с Люсей... После репетиции забрать из школы внука, пообедать, часок подремать... Или заняться крючками? О-о, надо же доделать блесну, совсем забыл!.. В четыре съемка рекламного ролика, в шесть — в театр! Попросить Эрика во втором акте играть "Молдаванку" помедленнее, вчера едва успевал... Да-а, силы уже не те..."

— "Но об этом никто не узнает", — пропел он, сложил бритву и, продолжая напевать, отправился завтракать. В кухне его ждала жена с тонометром. Он безропотно закатал рукав рубашки.

— Сто сорок на девяносто, — сказала жена, складывая прибор.

— Нормально.

— Для твоего возраста — да. Но особенно не скачи.

— У нас сегодня вокальная репетиция. Танцевальная — завтра.

— Я это учту. Завтракай.

Он уже заканчивал свою овсянку, когда раздался телефонный звонок.

— У меня зазвонил телефон! — Станислав Семенович поднялся, прошел в коридор. — Кто говорит? Слон! — снял трубку. — Алло!

— Хэллоу! — незнакомый голос звучал уверенно, с легким напором. — Мне нужен на пару слов Стас Семеныч!

— С кем имею честь?

— На проводе Берни Лодер из Сиднея.

Он любил родной город, одесситов чувствовал за версту.

— А как вас звали на Успенской?

— На Успенской? — голос на секунду растерянно смолк. — А, на Троицкой! На Троицкой меня звали Боря Лендарский!

— Лендарский? Это не те Лендарские, что жили в доме 10?

— Нет, мы жили в доме 15. Вы, что, за нас знаете?

трела и слушала не умиротворенно, наслаждаясь, а очень просто и даже обыденно, как будто такие сказочные осенние субботы, когда листья дикого винограда над головой накалились до яркого багрянца и вот-вот вспыхнут, — такие вечера совсем для нее обыкновенные дела. И Сечнева только тогда осенило потайным смыслом жизни этой женщины, наконец он понял его, но совсем не удивился своему открытию, он обрадовался ему, как будто определил и свою жизненную основу: "Ну конечно! Она всю жизнь стремилась жить, как люди. И все время к этому были преграды! Голод, сельское рабство, нестроенность после бегства в город и свой угол в летнем кинотеатре с измученным этой злой жизнью мужем. Поэтому у нее свое, особое понимание вот этого: "чтоб было все, как у людей"... И это застолье, и неожиданный, полный достоинства облик хозяйки, и это тихое небо над столом — "все, как у людей, по-людски"...

Летчик из Донецка и киномеханик Мураховский затеяли сюрприз для хозяйки. Для этого они отправили ее в дальний конец летнего кинотеатра, сами суетились, бегали к воротам, разматывали и натягивали какой-то провод... Когда закончили, то отвели именинницу к воротам и предложили нажать на кнопку, которой раньше тут не было. Алевтина нажала — и в ее эстрадных покоях раздался переливчатый мелодичный звонок.... И хозяйка, забыв обо всем, беспрестанно нажимала на кнопку звонка и смеялась.



Подарок

- Простите, графиня, что приехал к вам без подарка.
— Ах, князь! Ваше пребывание у нас уже есть подарок!
Сцена из оперетты

Ранним декабрьским утром Станислав Семенович, бреясь, торопливо прокручивал в уме предстоящий день: "Заскочить на фирму, посмотреть сценарий новогоднего утренника... Потом репетиция. Да, предложить Юлику новую мизансцену в дуэте с Люсей... После репетиции забрать из школы внука, пообедать, часок подремать... Или заняться крючками? О-о, надо же доделать блесну, совсем забыл!.. В четыре съемка рекламного ролика, в шесть — в театр! Попросить Эрика во втором акте играть "Молдаванку" помедленнее, вчера едва успевал... Да-а, силы уже не те..."

— "Но об этом никто не узнает", — пропел он, сложил бритву и, продолжая напевать, отправился завтракать. В кухне его ждала жена с тонометром. Он безропотно закатал рукав рубашки.

— Сто сорок на девяносто, — сказала жена, складывая прибор.

— Нормально.

— Для твоего возраста — да. Но особенно не скачи.

— У нас сегодня вокальная репетиция. Танцевальная — завтра.

— Я это учту. Завтракай.

Он уже заканчивал свою овсянку, когда раздался телефонный звонок.

— У меня зазвонил телефон! — Станислав Семенович поднялся, прошел в коридор. — Кто говорит? Слон! — снял трубку. — Алло!

— Хэллоу! — незнакомый голос звучал уверенно, с легким напором. — Мне нужен на пару слов Стас Семеныч!

— С кем имею честь?

— На проводе Берни Лодер из Сиднея.

Он любил родной город, одесситов чувствовал за версту.

— А как вас звали на Успенской?

— На Успенской? — голос на секунду растерянно смолк. — А, на Троицкой! На Троицкой меня звали Боря Лендарский!

— Лендарский? Это не те Лендарские, что жили в доме 10?

— Нет, мы жили в доме 15. Вы, что, за нас знаете?

— Слышал, — хоть и опаздывал уже, но решил "австралийца с Троицкой" выслушать до конца. — Так что вы хотите?

— Хочу пригласить вас в Австралию. Вас очень любят мои мама Люба и папа Коля.

— И это повод, чтобы я летел на другой конец света?

— А что такого? Так вы согласны? В Сиднее надо быть не позже 5-го января!

В голове телеграфно простучало: "Розыгрыш! Кто? Найду — убью!". Но ответил по-актерски приветливо:

— Господин Лодер, у меня еще не утвержден январский график. Позвоните мне дня через три, я уточню свое рабочее расписание.

— О'кей! — и в трубке зазвучали гудки отбоя.

Определитель номера выдал цифровую абракадабру, начинавшуюся с "612", такой комбинации он еще не встречал ни разу.

— Кто звонил? — поинтересовалась жена, когда они спустились во двор к машине.

— Предложили халтуру, — он решил не посвящать ее в странный разговор. — Но она мне что-то не очень.

То, что это розыгрыш, Станислав Семенович не сомневался ни секунды. В Одессе умели разыгрывать и похлеще композитора Никиты Богословского, аса шуточек и подначек, порой очень жестоких: это он в страшном тридцать седьмом опечатал квартиру актера Хенкина, тоже известного шутника, приклеив на двери бумажную полоску с "гербовой" печатью, сделанной с помощью простого пятака. Подслеповатый Владимир Яковлевич монетный герб принял за печать НКВД, много дней боялся даже подходить к дому, ютился в театре и у друзей, пока молодой олух Никита не сжалился над стариком.

Интересно, кто решился разыграть его, да еще так "масштабно"? Можно же было предложить, к примеру, главную роль в Венской оперетте или посулить денежные гастроли, — ан нет, замахнулись ни больше ни меньше как на поездку на далекий "зеленый" континент.

Весь день он прислушивался к голосам коллег, друзей и приятелей, пытался уловить интонации "австралийца с Троицкой". У него был абсолютный слух и феноменальная музыкальная память, недаром он — драматический актер, волею Судьбы оказавшийся в театре оперетты, не получивший никакого музыкального образования, не знал даже нот, стал, тем не менее, ведущим комиком, любимцем публики, кумиром, Народным артистом... Но ухо ничего ему не подсказывало.

На следующий день он вырвал полчаса и съездил на Троицкую. Во дворе дома 15 он увидел четырех старух, гревшихся на неярком декабрьском солнышке. Станислав Семенович подошел к ним и по приветливым улыбкам понял, что его узнали.

— Здравствуй, племя молодое! — приветствовал он старух.

— Здравсте! Какой гость! — заворковали они радостно.

— Не скажете, женщины, в какой квартире живут Лендарские?

— Да они, почитай, года три как уехали.

— Пять лет назад, — уточнила старуха, сидящая чуть в сторонке от соседок.

— Куда? — сделал он огорченное лицо.

— Не то в Австрию, не то в Германию.

— Что, все уехали? Может, кто остался?

— Все! Коля с Любой, и Боря-обалдуй, их сын.

— Обалдуем он был в школе, — не согласилась с соседками "одиночка", — а как кончил, то сначала "челночил", потом обзавелся контейнером на 7-ом километре.

— Точно! А потом банду сколотил, на "фордах" раскатывал!

— На "Мерседесе 500", — вновь возразила "одиночка". — И не банда у него была, а бригада, дома строили в "Царском селе"!

— Да-а, добра наворовал, такой ремонт в квартире отгрохал!

— А толку? С месяц и пожили как люди...

— Нет, полгода!

— Какой полгода? Ремонт кончили осенью, а перед Новым годом уже уехали!

Заспорив, старухи забыли про гостя, а он не стал ждать конца их перепалки, прощально кивнул молчавшей "одиночке" и быстро скрылся в подворотне.

По пути в театр заехал на "междугородку", где ему сказали, что код Австралии "61", а Сиднея — "2"... Итак, Борис Николаевич Лендарский существует, и даже пять лет назад проживал в Одессе на улице Троицкой...

Следующий звонок из Сиднея раздался утром третьего дня. Направляясь к телефону, Станислав Семенович еще не знал, что скажет и как поступит.

— Вы согласны? — в лоб спросил Берни Лодер.

— Даже не знаю, что вам ответить, — в его голосе, видимо, прозвучали нотки неуверенности, их мгновенно уловил Борис:

— Есть проблемы?

— Дело в том, что я главный Дед Мороз Одессы. С 1-го января на морвокзале в течение каникул у меня по три елки в день.

— Значит, десять дней не будет репетиций в театре?

— Да-а... пожалуй.

— "Дед Мороз", найдите себе замену!

— Нет! Это невозможно! И потом... это возможность заработать, — Станислав Семенович тут же мысленно обругал себя: "Что с тобой, Стасик? Тебя берут на понт, а ты лепечешь несусветную чушь: это невозможно... есть возможность... Тьфу!"

— Я вам все компенсирую!

— К сожалению, я вынужден отказаться от столь заманчивого предложения. Нужен убедительный повод, чтобы просить замену.

— Во сколько у вас начинаются репетиции?

— В одиннадцать утра, — автоматически ответил он.

— По-нашему это... в семь вечера. О'кей, я найду вам убедительный повод! До встречи! — и Борис положил трубку.

И вдруг Станислава Семеновича даже в жар бросило: розыгрыш затеяли для того, чтобы сорвать премьеру и отобрать дорогую для него роль Деда Мороза! Точно! Все, хватит! В следующий раз он просто пошлет "австралийца" подальше!

Через неделю, в разгар репетиции, на сцену влетела секретарь директора Вера и трагическим голосом закричала:

— Стасик! К телефону! Срочно!!!

— В чем дело? — донесся из темноты зала голос режиссера.

— Прошу прощения! Звонок из Москвы!!!

— Да хоть с Марса! — возмущенно оборвал Веру режиссер. — Кто позволил вам врываться на сцену и срывать репетицию?

— Но звонят из посольства Австралии! Говорят, по важному делу!

— Из Австралии? — переспросил режиссер и милостиво разрешил. —

Ладно, перерыв — десять минут.

Поднявшись в приемную, Станислав Семенович направился к телефону, но Вера показала на пустой кабинет директора, сквозь распахнутую дверь которого он увидел лежащую на столе трубку.

— Алло!

— Господин Овсяник? Здравствуйте, — в трубке звучал приятный женский голос. — С вами говорит атташе по вопросам культуры посольства Австралии Кэрол Эджвер. Я рада сообщить вам, что на ваше имя пришло официальное приглашение в нашу страну от господина Лендарского.

Билеты в оба конца и недельное пребывание в Австралии полностью оплачены. Мы просим вас приехать для оформления документов.

— На какое число мне заказан билет на Сидней? — Станислав Семенович нажал кнопку определителя номера: "095" — звонили из Москвы.

— Билет на рейс "Москва — Сидней" заказан на 3-е января. Вылет в 12.00 московского времени, прилет в Сидней в 10 утра 5-го января.

"Неужели не розыгрыш, и все это мне не снится?" — пронеслось в голове, но он решил не сдаваться, а отступить на последний рубеж обороны:

— Извините, ехать в Москву сейчас, чтобы подписать несколько бумажек, а потом приезжать снова, мне как-то не с руки. Госпожа Эджвер, я очень занят, на носу премьера...

— Я вас понимаю: время — деньги, особенно для артиста, — голос атташе был предельно вежлив. — Не отходите от аппарата, я проконсультируюсь, что можно для вас сделать.

Станислав Семенович покосился и увидел изумленные глаза Веры, застывшей в дверях.

— Что... наследство получил? — спросила она с придыханием. Он не успел ответить, вновь заговорила Кэрол Эджвер:

— Господин Овсяник, может, вам будет удобнее подъехать в наше консульство в Киеве? Мы передадим документы туда сегодня же.

— Да, так будет лучше. Спасибо. Всего доброго, — Станислав Семенович осторожно положил трубку. Замер. Поднял голову и невидящим взглядом уставился на Веру. — Ты что-то сказала? — спросил он и, не дожидаясь ответа, медленно прошел мимо.

— Вот счастье привалило, — услышал он за спиной ее завидующий голос.

И тут до него дошла суть произошедшего: его действительно пригласили в Австралию! Совершенно незнакомый Борис Лендарский решил дорогих маму с папой "угостить" их любимцем, Стасиком Овсяником, истратив на свой эксцентрический поступок несколько тысяч долларов. Видимо, "достали" папа с мамой бывшего одесского "челнока" своими ностальгическими воспоминаниями и вздохами: "Ах, Стасик! Ах, "Марица"! Ах, "Цыганский барон"!.. А помнишь, каким Стасик был прекрасным Кавалькадосом в "Поцелуе Чаниты"!.."

Он попытался репетировать, но скачущие мысли мешали сосредоточиться и, в конце концов, его постоянная партнерша, восхитительная Люся не выдержала:

— Что с тобой, Стас? Проснись!

А на сцену уже грозно поднимался режиссер. Юлик встал перед ним и, задрав голову, молча уставился на его "опрокинутое" лицо.

Станислав растерянно пробормотал:

— Бред какой-то... Надо лететь в Австралию.

— Объясни толком, — нарушил тяжелое молчание Юлик.

— Толком? — Станислав глупо улыбнулся, развел руками, его длинное тело виновато согбилось. — Приглашают... говорят... наследство... — Он не знал, почему и откуда выскочило это слово, но оно было сказано.

— Наследство — это серьезно, — Юлик заправил в мундштук новую сигарету, закурил. — Надолго летишь?

Станислав не верил своим ушам: казалось бы, неразрешимая проблема решалась так просто и безболезненно.

— На неделю... Билет из Москвы на 3-е января...

— Ну что ж, до твоего отъезда будем репетировать день и ночь!

Станислав Семенович дремал, проваливаясь изредка в тяжелый, короткий сон — заснуть основательно мешали стюардессы, казалось, безостановочно разносящие завтраки, ленчи, обеды, полдники, ужины, напитки горячительные и прохладительные, кофе и чай, газеты и журналы, предлагая игры, наушники и прочая, и прочая. Не выдержав конвейерного сервиса, он на своем ужасном английском, но больше жестами, попросил принести повязку на глаза, затычки в уши, подушку, плед, и умолил, нет, потребовал, чтобы его не беспокоили хотя бы "файв" — он на всякий случай растопырил пятерню — пять часов! И от него отстали. Покрутившись в кресле, устроился поудобнее, думал, уснет мгновенно, но увы...

...После звонка из посольства он обо всем рассказал жене.

— Такого не бывает, — улыбнулась она. — Это сон. Сказка.

Поздно вечером, когда он в своем закутке готовил к поездке кофр с фотопричиндалами, она села напротив и вздохнула:

— Что-то тревожно... По-человечески мне понятен поступок этого Бориса, но такие деньги, просто так... Давай посоветуемся с детьми, они больше нас понимают в этой новой жизни.

Дети — это два сына, две невестки, внук, две внучки, правнук... Когда все собрались на "генеральную репетицию", как он называл семейные советы, расселись и успокоили внуков, он рассказал о странных звонках и о своих с матерью сомнениях. Младший сын, живчик Никита, едва дождался конца рассказа и категорично заявил:

— Нормальный ход! Были бы у меня такие деньги, поступил бы точно так же! Езжай, папа, и ничего не бери в голову!

Его поддержали невестки, а внук не то попросил, не то приказал:

— Дед! Привезешь уткуноса?!

Старший сын Андрон, спокойный, собранный, рассудительный — весь в мать — был осторожнее:

— Чисто одесская выходка! Последствия непредсказуемы, а посему... Субсидирую поездку в Киев, но, папа, будь в консульстве предельно внимателен!

В Киеве документы оформили за час, еще часа два терпеливо и подробно отвечали на его дотошные вопросы... А что он сам помнил со школы о тех, "кто под нами вверх ногами"? Что скажут по Австралии кенгуру, бегают дикие собаки динго, поют райские птички, ползают в травке уткуносы и ехидны, что расплодилось несметно кролики, стали напастью вроде колорадского жука. Вот, пожалуй, и все...

Поднадчик Никита то и дело страшал отца:

— Ты там особенно не разгуливай, знаю тебя, интересанта, любишь поглазеть, — и с хитрым прищуром добавлял: — Все-таки Австралия — место ссылки, страна бывших каторжников...

...Проспал Станислав Семенович не пять, а почти семь часов. Проснулся отдохнувшим, с удовольствием поел, даже позволил себе чашечку давно запрещенного врачами кофе. За иллюминатором сверкали яркие близкие звезды, и только из-под крыла "Боинга" выглядывала тонюсенькая малиновая полоска, похожая на отсвет далекого пожара. Он взглянул на часы — в Одессе семь вечера, начинается спектакль. Без него. Пожалуй, впервые в программке напротив его фамилии помреж карандашом поставила "птичку" и чуть ниже вывела другую фамилию — замена. Впервые за полвека...

...Когда в конце почти двадцатичасового полета объявили посадку и попросили пристегнуть ремни, сердце екнуло. Нет, не от встречи с неизвестной страной, на своем веку он повидал их немало, совсем недавно добрался, так сказать, и до Америки. Его волновала встреча с Лендарскими, незнакомыми людьми, сделавшими ему такой шикарный подарок. Как себя вести с ними? Как встретят они его? Надеюсь, узнают, хотя и не договаривались ни о гвоздике в петлице, ни о газете "Правда" в левой руке.

Выйдя из таможенного зала, Станислав Семенович почувствовал, как кто-то крепко взял его за локоть: рядом стоял типичный одесский "качок", который вместо "здрасьте" протянул ему большие черные очки.

— Борис Лендарский?
— Я его кореш, Володей зовут. А Борис занят по эти... по самые...
— Как вы меня узнали?
— Кто ж вас не знает, — хмыкнул Володя и чуть не силой водрузил ему на переносицу очки. — В этом проблема.

— В чем?
— Что знают. За мной!

Какими-то коридорами, через боковые двери Володя быстро вывел его к автостоянке, буквально впихнул в "холден", и они понеслись по широкому оживленному шоссе. За окном машины мелькали аккуратненькие домики, бензозаправочные колонки, рекламные щиты, диковинные деревья, слева горизонт закрывали горы.

— Как называются эти горы?
— Без понятия, — пожал плечами Володя. — Я тут всего три месяца, толком не осмотрелся.
— Куда мы едем?
— В отель.

Странно, почему его сразу не везут пред ясны очи мамы Любы и папы Коли, так жаждущих встречи с ним? И почему его не встретил сам Борис, ведь знал время его прилета еще до Нового года, мог спланировать свои дела... Что-то здесь не так. Не хватало еще на старости лет вляпаться в историю...

На все вопросы Володя отвечал односложно: "Без понятия", и Станислав Семенович отстал от него. Нарастающая тревога мешала любоваться улицами Сиднея, запомнился лишь горбатый мост через залив — больше и шире знаменитого одесского тезки.

В номере отеля Володя протянул пакет:

— Борис велел переодеться, чтобы походили на аборигена. И — не снимайте очки, а то сразу узнают.
— Кто? — искренне удивился Станислав Семенович.
— Да здесь одесситов как нерезанных собак. Вас могут узнать, и тогда не будет сюрприза.
— Какого?

— Передавать не велено. Борис вечером заедет, сам расскажет. Чао!

Ну, прямо сцена из "Сильвы": "Велено передать цветы." — "От кого?" — "Не велено передавать!". Ладно, посмотрим, что будет дальше...

В оставленном пакете он обнаружил легкую маечку со смешным рисунком кенгуру на груди и яркие шорты. В их кармане лежал конверт

с невиданными доселе австралийскими долларами.

Выйдя из отеля, Станислав Семенович с благодарностью оценил презент Бориса — было нестерпимо жарко и душно. Так и должно быть — когда у нас зима, у них — лето, сегодня здесь как бы 5-е июля, а не 5-е января. Он никогда не был в Англии, но примерно так представлял себе Лондон: сверкающие витрины магазинов-аквариумов, чистые мостовые и тротуары, левостороннее движение, солидные викторианские дома, над которыми возвышаются немногочисленные небоскребы из стекла и бетона. А ведь совсем недавно на этих улицах, за этими стенами бушевали нешуточные страсти. Жена Андрона перед отъездом заботливо подсунула ему несколько журналов, из которых он узнал, что не так давно спешащие вокруг респектабельные потомки каторжан отвергли на референдуме "самостийность" и пожелали остаться подданными королевы Англии.

Весь вечер Станислав Семенович провел в номере, но никто не пришел. И не позвонил. Ночь он провел ужасно, глаз не сомкнул — сказывалась восьмичасовая разница во времени. Лишь к утру уснул, но тут же, как ему показалось, проснулся от громкого стука в дверь.

— Кто там? — пробурчал он недовольно.

— Борис Лендарский!

В номер вошел мужчина лет 50-ти в светлом костюме с солидным, выпирающим из-под ремня животом. Окинул взглядом номер, удовлетворенно кивнул и без приглашения опустился в кресло.

— Собирайтесь, Стас Семеныч, пора на работу.

— Какую работу? — Станислав Семенович еще толком не проснулся и соображал туго. — Объясните толком.

— Сегодня "золотая свадьба" у моих родителей. И я решил сделать им необычный подарок. Подарок — это вы!

— Та-ак, — Станислав Семенович с изумлением уставился на Лендарского. — И как вы намерены меня преподнести? Перевяжете ленточкой?

— Зачем? Вы сами себя преподнесете. У вас есть что спеть маме с папой? — и страшно фальшивя, пропел: "Я цыганский барон, у меня тыща жен..."

— У меня большая концертная программа, — Станислав Семенович растерянно развел руками, — но мне нужен концертмейстер. Если бы вы предупредили...

— Вас устроит выпускник одесской консерватории? — перебил его Борис.

- Не знаю. Мне надо с ним встретиться, порепетировать...
- А я о чем! — Борис поднялся. — Едем репетировать!

Для семейного торжества Борис Лендарский арендовал ресторан. В зале человек на двести их ждали несколько мужчин, среди которых Станислав Семенович узнал встречавшего его Володю.

- Вовчик, — скомандовал Лендарский, — обеспечить конспирацию!

Трое поднялись и вышли из зала.

— Меры предосторожности, — пояснил Борис. — Хочу, чтобы сюрприз таки стал сюрпризом. Где пианист? Где Сема?

— Я здесь, господин Лодер! — В дальнем углу поднялся худой парень в очках, во фраке и с бабочкой под подбородком.

Еще на его подходе Станислав Семенович почувствовал беду:

- Здравствуйте. Вы играете Кальмана? Оффенбаха?
- Нет. Я думал, что вы привезли ноты.

Станислав Семенович растерянно посмотрел на Лендарского.

— А без нот ты не умеешь? — спросил он Сему. — Кого ты мне привез? — Борис грозно повернулся к Вовчику.

— Айн момент! — Шаркая больными ногами, к ним приблизился грузный лысый старик. — Я дедушка этого пацана. Наум Исаакович. Консерваторий не кончал, всего лишь школу Столярского, но несколько лет играл в ресторане "Море", когда там начинала петь Ларочка Долина. И еще немного знаю, как играет Эрик Штейнберг. Вас устроит такой вариант?

Станислав Семенович пожал плечами — давайте попробуем. Они поднялись на небольшую эстраду, старик тяжело опустился на стул перед роялем, поднял крышку, поерзал.

— Так что будем петь из Кальмана? "Сильву"? "Марицу"? "Принцессу цирка"? — он опустил на клавиши свои толстые пальцы-сосиски и, почти не поднимая рук, легко и экспрессивно сыграл "Ах, эти девушки в трико! Так ранят сердце глубоко!".

Буквально за полчаса они отрепетировали всю программу — вполголоса и вполноги. Старик аккомпанировал с виртуозным мастерством, он, казалось, дышал не воздухом, а звуками, рождающимися у него из-под пальцев, чувствовал каждый акцент, каждую паузу, каждое танцевальное движение, каждую фиксацию позы...

— Ну как, маэстро, вас устраивает такой аккомпанемент? — безучастно спросил старик, когда они закончили.

— Это потрясающе! Огромное спасибо! — искренне поблагодарил его Станислав Семенович.

— Увидите Эрика, передайте привет от Нёмы, старого, никому не нужного еврея.

— Ну что вы! Вы потрясающий музыкант!

— Раньше в Одессе таких было тринадцать на дюжину, — старик тяжело вздохнул. — Боря! — вдруг обратился он к довольному, собравшемуся уходить Лендарскому. — Одну минутку! У тебя найдется еще пару лишних копеек?

— А в чем дело?

— Если "да", то я попробую за пару часов собрать небольшой оркестр. Маэстро надо подать в приличной упаковке!

— О чем речь! — Боря мгновенно протянул старику мобильный телефон. — Звоните! Машина в вашем распоряжении!

— Сема! — позвал старик внука. — Пока я им буду звонить, привезешь сюда дядю Леву, Осика Гольдмана, Эмика Михалыча, Яшу. Пусть захватят инструменты. Да, еще заедешь за Гришей Авербухом, у него машина, пусть везет свой контрабас сам, — Наум Исаакович на глазах оживал. — Вы мне, маэстро, не нужны, ваш репертуар я знаю, манеру тоже. Отдыхайте, а я с ребятами разберусь сам.

Станислав Семенович вернулся в отель, пообедал, поднялся в номер. Предстоящий вечер будоражил. За себя он не тревожился — много раз выступал с этой программой, она "обкатана", имела успех у зрителей. Но ведь и зритель у него сегодня необычный, и сама обстановка тоже. В Одессе он ни разу не позволял себе опуститься до выступлений на сомнительных сборищах, в ночных клубах, хотя и приглашали, и сулили большие деньги. А деньги были ох как нужны, особенно после того, как ушел из оперетты. Не мог он больше там оставаться, понял, что ему неинтересно до конца жизни играть иггранных-переиггранных Воляпюков и Пеликанов, хотелось чего-то нового. Вместе с друзьями он создал театр современного музыкального жанра, театр-шоу, нашел пьесу, удивительного режиссера, художника, балетмейстера и, конечно, молодых талантливых актеров. Да их и искать было не надо — кто прозябал в ТЮЗе, кто в Дrame, кто в Оперном. Вместе с ним ушла и его постоянная, вот уже почти полвека, партнерша Люся, с которой они понимали друг друга и в жизни, и на сцене с полувзгляда, намека, "десятым чувством". Потрясающая актриса и человек... Королева сцены... И деньги на постановку нашлись — помог город, порт, заводы... Вот, на выходе премьера... А он здесь, у черта на

куличках... Вспомнилась строчка из услышанных вчера стихов: "Зачем я здесь, на этом берегу?". А затем, Стас, чтобы доставить землякам несколько мгновений радости, чтобы улыбнулись они, вспомнили родной город... Ведь бывших одесситов не бывает...

Он проснулся, будто кто-то толкнул его в бок. Глянул на часы — еще есть время. Поднялся и занялся привычной разминкой, приводя в "боевую готовность" погруневшее с годами тело.

Пробежался "мелким бесом" — размял голеностопы; сделал несколько широких шагов с проседанием — "разогрел" икры и бедра; наклонился вперед-назад, вправо-влево, энергично размахивая руками — поясница и плечи приобрели гибкость. Взял трость, покрутил "пропеллер", вскинул над головой, поймал спиной — и так минут двадцать. Затем отправился в душ.

Когда через полтора часа за ним заехал Володя, он был во всеоружии: в светлом в тонкую полоску костюме, в кремовой рубашке, бабочке, на голове канотье, в руках тросточка, на ногах штиблеты с подковками. Замерший на пороге Володя только и смог в изумлении выдавить из себя:

— Ну-у... Стас Семеныч... ну-у... вы... вообще...

Через служебный вход Володя провел его на кухню. Из-за плотной шторы доносился шум голосов, негромкая музыка.

— Борис сказал, что ваш выход, когда заиграют эти, ну, что часы на горисполкоме играют...

— Позывные Одессы?

— Во-во, — кивнул Володя. — Вы покантуйтесь здесь, а мне в зал надо, — и он оставил его одного.

Сквозь узенькую щель в шторе Станислав Семенович увидел переполненный зал, на эстраде оркестр, возраст участников которого в совокупности перевалил за пятьсот лет. Состав был взрывчатый: рояль, две скрипки, контрабас, труба и саксофон, но он с удовлетворением отметил, что звучал оркестрик очень даже прилично, слаженно, будто играли музыканты вместе долгие годы, а не собрали их пару часов назад... Наум Исаакович вдруг резко взмахнул рукой, оркестр смолк и по новому взмаху заиграл "Марш" Мендельсона.

В зал торжественно вступили "золотые молодожены": под оглушительные аплодисменты между столиками неторопливо шли, крепко сцепившись друг в друга, два седых человека. Мама Люба была в светлом платье и длинной, до пят, невесомой фате из тончайших кружев; папа Ко-

ля — в черном строгом костюме, в котором чувствовал себя явно неловко. Их усадили на почетные места за центральным столиком, Борис вскинул руки, требуя тишины:

— Дорогие гости! Прошу налить по первой! Хочу сказать пару слов за маму и за папу!

Зазвенели бокалы, послышались хлопки открываемого шампанского.

Станислав Семенович вдруг резко повернулся, быстро вышел из кухни, обогнул квартал и подошел к главному входу в ресторан, у которого скучало несколько парней во главе с Володей.

— Стас Семеныч, вы почему здесь? — удивился он.

— Володя, проверь: в фойе никого нет?

— Нет, все в зале.

Да, в фойе было пусто, из зала доносился голос очередного "оратора", произносящего необходимые случаю слова приветствия... Раздались аплодисменты и тут же зазвучали знакомые позывные: "Ты в сердце моем, ты всюду со мной — Одесса, мой город родной... Там-та-та-там..." Станислав Семенович глубоко вздохнул и шагнул в зал.

Он вальяжно шел между столиками, поигрывал тросточкой, приветственно улыбался, приподнимая канотье: "Здрате! Здрате! Здрате!". Оркестр смолк, и в зале воцарилась тишина. Эту тишину сравнить было не с чем, потому что это была полная, абсолютная тишина. Станислав Семенович легко поднялся на эстраду, подал неуловимый знак оркестру и запел приветственные куплеты... Закончил... В зале по-прежнему висела недоуменная тишина... И вдруг кто-то не выдержал:

— Так это ж Стасик Овсяник!!!

— Я вас умоляю! — недоверчиво возразил второй. — Откуда?

— Не может быть! — засомневался третий.

— Привет вам из родной Одессы! — Станислав Семенович снял канотье и низко поклонился. — Поздравляю вас, мама Люба и папа Коля, с золотым юбилеем! Я здесь не случайно. Это ваш горячо любимый сын Боря, уважаемый Борис Николаевич, специально пригласил меня на ваше торжество. Я — подарок вам!

И словно обрушился потолок — гости, забыв об этикете и всяких светских приличиях, закричали "Ура-а-а!!!", бросились обнимать и тискать "этого хорошего сына", "этого хохмача Борю", в зале творилось что-то невообразимое.

Привел всех в чувство Наум Исаакович: что-то крикнул музыкантам,

они грянули знаменитую мелодию из "Принцессы цирка", а Станислав Семенович подхватил ее:

Эй, гусар! Эй, гусар!
Веселись, пока не стар! И знай, —
Что время идет, забывать о том нельзя,
Надо прожить нашу молодость не зря!
Помни, гусар, — счастья не жди!
Счастью навстречу иди!

В зале успокоились, и Станислав Семенович начал свою программу, — конечно же, с бессмертного шлягера из "Сильвы":

Без женщин жить нельзя на свете, нет!
В них "солнце мая", как сказал поэт!..

Каждый номер принимали на "ура", с восторгом, долгими аплодисментами, куплеты Мишки Япончика пришлось "бисировать". Оркестр за спиной работал безукоризненно, он несколько раз поднимал измочаленных стариков на поклон. Они давно скинули свои парадные пиджаки, растегнули ворота рубаш, лица их светились от счастья, было видно, как истосковались эти старые "лабухи" по настоящей работе, которая вернула их в юность.

Ему самому на миг показалось, что поет и танцует он не в ресторане далекого Сиднея, а в родной "Красной" — те же лица, те же улыбки, тот же смех...

...Посмотрев впервые эту его программу, Ася назвала ее "Путешествие по жизни". Действительно, память щедро подсказывала ему песни и сценки, куплеты и танцы из сыгранного за полвека. Он хотел развернуть перед зрителем свою судьбу, судьбу человека, прожившего долгую, разнообразную и — черт возьми! — интересную жизнь!..

Когда он запел одесские песни, зал ответил ему благодарным ревом и запел вместе с ним... А когда зазвучали слова заключительной песни: "Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты знала много горя! Ах, Одесса..." — все как один встали и подпевали так вдохновенно, будто клялись в вечной любви далекому, но навсегда родному городу. У многих текли по щекам слезы, но они не стеснялись их...

После выступления его подвели к виновникам торжества. Он еще раз поздравил их с юбилеем, с прекрасным, заботливым сыном. Мама Люба

вцепилась в рукав его пиджака и не отрывала от него влюбленных глаз. Папа Коля, слегка уже пьяненький, выслушал его, кивнул и приказал сыну:

— Бора, налей человеку румку, я хочу с ним выпить, — они чокнулись, выпили. — Ви здорово пели. Спасибо вам.

— Это вашему сыну спасибо, — деликатно ответил Станислав Семенович.

А потом он пошел "по рукам": каждый хотел потрогать его, убедиться, что это таки действительно он — настоящий Стасик, а не пародист; каждый хотел задать "свой вопрос за Одессу" и услышать ответ "для себя"... Непрерывно приглашали в гости на "рюмку чая"...

В фойе его окликнул человек, лицо которого показалось знакомым.

— Отличная программа! — сказал незнакомец и заботливо обнял его за талию — выше не позволял рост. — У меня есть деловое предложение. На фига вам та Одесса? Что вы там имеете? Оставайтесь здесь! Будем катать вашу программу. Сначала по всей Австралии, потом по Новой Зеландии! Везде полно наших людей. Можно заработать хорошие деньги!

— Извините, я очень устал, — Станислав Семенович сбросил с гудящей поясницы руку незнакомца.

— А как же мое предложение?

— У меня в Одессе очень много дел, — и Станислав Семенович направился к выходу, вспомнив замершего за спиной "доброхота": работал администратором на киностудии.

У машины ждали Борис и Наум Исаакович.

— Ваш гонорар, — Борис протянул ему конверт.

— Нет, нет, — решительно отказался Станислав Семенович.

— Но вы же работали.

— Я получал наслаждение.

— Я тоже, — поддакнул Наум Исаакович. — Золотой получился вечер. Жаль, нельзя повторить. Завтра о вашем выступлении, маэстро, будет гудеть весь Сидней.

— Повторить? — переспросил Станислав Семенович. — А, что, давайте повторим. Здесь, говорят, много наших.

— Много, — глаза Бориса загорелись. — Сколько вы сможете выступить за неделю?

— Не знаю. Раза три, не больше. Силы уже не те... годы...

— Два! — твердо произнес Наум Исаакович. — Это же работа на износ!

— Мне бы хотелось поездить, посмотреть, — нерешительно сказал Станислав Семенович. — Когда еще придется попасть в эти края, и придется ли...

— Ирину я дам, и Вовчика в придачу. Только он здесь еще ни хрена не знает.

— А я своего Сему дам в провожатые, за пять лет освоился.

— Только давайте, Стас Семеныч, договоримся сразу, на берегу. Концерты — платные, надо будет оплачивать помещение, оркестр и вам, детишкам на молочишко. А пока — вот аванс, — и Борис снова протянул Станиславу Семеновичу конверт.

На этот раз артист конверт взял.

Внук Сема явно получил не то образование, ему бы быть социологом или экономистом — с таким жаром, с таким знанием предмета рассказывал он об Австралии, о ее природе, хозяйстве, культуре.

Они побывали в столице Канберре — тихом, уютном городке, похожем скорее на огромный парк: кварталы из одноэтажных коттеджей разделяли друг от друга широкие тенистые аллеи, многоэтажных домов было раз-два и обчелся — здание парламента, несколько магазинов и гостиниц.

— В Канберре нет ни одного промышленного предприятия, только их представительства, — заметил Сема. — Город чиновников.

— Вот где крутятся деньги! — ахнул Володя.

— Деньги крутятся не здесь, а в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

— Откуда ты знаешь?

— Читать надо, интересоваться. Если эта страна стала твоей родиной...

— Моя родина — Одесса! — оборвал Сему Вовчик. — Вот накошу побольше башлей и сорвусь домой. Что здесь делать? Овец, что ли, пасти?

— А это, между прочим, здесь очень выгодное дело, — горячо возразил Сема. — Ты знаешь, что Австралия производит больше всех в мире мериносной шерсти, что здесь почти двести миллионов овец?

— Иди ты?!

— Вот и иди. А ну-ка, сверни налево.

Дорога запетляла вверх. Минут через двадцать они остановились, вышли из машины. Поднимаясь на ближайший пригорок, поотстав от Володи, Станислав Семенович негромко спросил плетущегося сзади Сему:

— А чем занимается Борис Лендарский?

— Бизнес Берни Лодера разнообразный, яйца он в одну корзину не складывает, хотя точному определению его бизнес не поддается... Но, судя по всему, процветает.

Перед ними простерлась долина, охваченная далекими скалистыми

горами, за снежные вершины которых цеплялись венчики перистых облачков. А внизу, на роскошном альпийском пастбище паслось несколько тысяч овец и, казалось, что снег выпал и в долине.

— Вот где деньги! — взмахнул рукой Сема. — Настоящее золотое руно!

— Да иди ты! — зло процедил Володя. — Тоже мне умник нашелся! Двух нот сыграть не смог!

— Мне эта консерватория вот где! — Сема рубанул себя ладонью по щеке. — Я в академию управления хотел, но дед настоял...

Вот так, под перепалку парней, и знакомился Станислав Семенович с Австралией. Вообще, оставшиеся до полета дни стали для него воистину "горячими": с утра — в машину, и — то поездка в город Ньюкасл, то на побережье, то в национальный парк "КосцюшкоСтет"... А еще экскурсии в музеи, на выставки, посещение театров... И каждый вечер его кто-нибудь непременно утаскивал к себе в гости, где за "рюмкой чая" засиживались в ностальгических воспоминаниях чуть не до утра. Спал он в эти дни часа по три-четыре... И еще два концерта, прошедшие с огромным успехом при переполненных залах...

Провожать в аэропорт Станислава Семеновича Лендарские приехали всем многочисленным семейством, оркестр — в полном составе, и человек двадцать "фанов", горячих почитателей его таланта. Из знакомых не было только Володи и Семена-внука. Мама Люба повисла у него на руке, не отпуская от себя ни на шаг. Папа Коля, слегка пьяненький, время от времени теребил сына, что-то требуя, но всякий раз Борис твердо отвечал: "Нет, папа". Станислав Семенович рассеянно слушал непрерывные просьбы "передать...", "спросить...", "непременно зайти...", рассовывал по карманам письма и записки, кивал, улыбался...

Фу, наконец объявили посадку... И в этот момент в зал влетели Володя и Семен.

— Вот! Все-таки нашел! — Володя протянул Станиславу Семеновичу небольшое чучело утконоса.

— Я тоже успел! — Сема подал ему пачку газет. — Прямо из типографии!

Начались объятия, поцелуи, слезы... Наум Исаакович долго, молча тряс руку, потом, вдруг вспомнив что-то, улыбнулся:

— Так не забудьте, маэстро, передать привет Эрику от Нёмы.

Последним подошел прощаться Борис. Обнял артиста и, склонившись, на ухо спросил:

— Довольны?

- Очень, — так же тихо ответил Станислав Семенович. — Спасибо.
— Да ладно... Привет Одессе...

Расположившись в кресле, Станислав Семенович развернул газету. Это была русскоязычная "Горизонт".

"... Что делает публика, когда ей не хватает мест? Правильно, уносит из ближайшего парка скамейки в зрительный зал. А когда и этого недостаточно, публика просто стоит. Так все и было на двух концертах, на двух фейерверках, которые рассыпал над Сиднеем праздничными огнями народный артист Станислав Овсяник. Так все и будет, когда он придет к нам в следующий раз. Дай-то Бог!"

Станислав Семенович опустил газету на колени, прикрыл глаза и замурлыкал себе под нос: "Хороша-а страна... Австра-а-лия... а Одесса лучше всех..."

Р. С. Такая, или почти такая история случилась с народным артистом Украины С.С. К-ком. Автор просит извинения за возможные неточности, которые, естественно, не могли не возникнуть, поскольку сам он при этом событии не присутствовал, а пользовался рассказами других и даже слухами. Вот так в Одессе рождаются многочисленные мифы и легенды. Автор надеется, что и эта история займет в их ряду достойное место.



Crescendo

Снова дома

Я вернулся в Одессу летом сорок пятого года. Недавно закончилась война с Германией.

Поезд пришел на разбитый вокзал. Не было легкой стеклянной крыши, и перроном служили пружинящие под ногами доски.

Розовое солнце раннего утра освещало платаны Пушкинской улицы. На всем ее протяжении мне встретились два человека, это были дворничихи с метлами. Мои шаги казались слишком громкими.

На Соборной площади у дома Попудова, как и прежде, дремали на козлах извозчики в ожидании седоков. Я тут же вспомнил, как мама посылала меня в этот дом за фельдшерницей, чтобы сделать укол морфия. И отдавала фельдшернице приготовленные под подушкой пять рублей.

Кстати, извозчиков я в Куйбышеве не видел. Очевидно, не было кормов.

Окна в нашей парадной были забиты фанерой, уцелело несколько цветных витражей наверху.

Мачеха открыла мне дверь и громко заплакала. Остатки батальона отца попали в плен на мысе Херсонес под Севастополем. Это был последний день обороны, четвертое июля сорок второго года. Евреев расстреляли. Отец сам вырыл себе могилу. Украинцев отпустили домой. Об этом ей рассказала медсестра, все происходило на ее глазах.

Брат мачехи Виктор умер за несколько дней до освобождения. У старшего Калягина был инсульт, он на пенсии. "Идем, я тебе покажу наше место на кухне".

Она спешила на работу, счетоводом в каком-то учреждении, и ушла.

На выгоревшем сукне письменного стола лежало лопнувшее литое стекло, отец когда-то разбил его кулаком в пылу ссоры с тещей, Клавдией Осиповой. Мамин портрет над письменным столом уже не висел.

На полочке у моей железной кровати стояли те же книги: "Жан Кристоф" Роллана, я купил ее в букинистическом магазине перед войной, "Детство" и "Мои университеты" Горького. Впоследствии я узнал, что мачеха сожгла в печке отцовый юбилейный том Перекопской дивизии, но не при немцах, а когда вернулись наши. Она была напугана, все, побывавшие

- Очень, — так же тихо ответил Станислав Семенович. — Спасибо.
— Да ладно... Привет Одессе...

Расположившись в кресле, Станислав Семенович развернул газету. Это была русскоязычная "Горизонт".

"... Что делает публика, когда ей не хватает мест? Правильно, уносит из ближайшего парка скамейки в зрительный зал. А когда и этого недостаточно, публика просто стоит. Так все и было на двух концертах, на двух фейерверках, которые рассыпал над Сиднеем праздничными огнями народный артист Станислав Овсяник. Так все и будет, когда он придет к нам в следующий раз. Дай-то Бог!"

Станислав Семенович опустил газету на колени, прикрыл глаза и замурлыкал себе под нос: "Хороша-а страна... Австра-а-лия... а Одесса лучше всех..."

Р. С. Такая, или почти такая история случилась с народным артистом Украины С.С. К-ком. Автор просит извинения за возможные неточности, которые, естественно, не могли не возникнуть, поскольку сам он при этом событии не присутствовал, а пользовался рассказами других и даже слухами. Вот так в Одессе рождаются многочисленные мифы и легенды. Автор надеется, что и эта история займет в их ряду достойное место.



Crescendo

Снова дома

Я вернулся в Одессу летом сорок пятого года. Недавно закончилась война с Германией.

Поезд пришел на разбитый вокзал. Не было легкой стеклянной крыши, и перроном служили пружинящие под ногами доски.

Розовое солнце раннего утра освещало платаны Пушкинской улицы. На всем ее протяжении мне встретились два человека, это были дворничихи с метлами. Мои шаги казались слишком громкими.

На Соборной площади у дома Попудова, как и прежде, дремали на козлах извозчики в ожидании седоков. Я тут же вспомнил, как мама посылала меня в этот дом за фельдшерницей, чтобы сделать укол морфия. И отдавала фельдшернице приготовленные под подушкой пять рублей.

Кстати, извозчиков я в Куйбышеве не видел. Очевидно, не было кормов.

Окна в нашей парадной были забиты фанерой, уцелело несколько цветных витражей наверху.

Мачеха открыла мне дверь и громко заплакала. Остатки батальона отца попали в плен на мысе Херсонес под Севастополем. Это был последний день обороны, четвертое июля сорок второго года. Евреев расстреляли. Отец сам вырыл себе могилу. Украинцев отпустили домой. Об этом ей рассказала медсестра, все происходило на ее глазах.

Брат мачехи Виктор умер за несколько дней до освобождения. У старшего Калягина был инсульт, он на пенсии. "Идем, я тебе покажу наше место на кухне".

Она спешила на работу, счетоводом в каком-то учреждении, и ушла.

На выгоревшем сукне письменного стола лежало лопнувшее литое стекло, отец когда-то разбил его кулаком в пылу ссоры с тещей, Клавдией Осиповой. Мамин портрет над письменным столом уже не висел.

На полочке у моей железной кровати стояли те же книги: "Жан Кристоф" Роллана, я купил ее в букинистическом магазине перед войной, "Детство" и "Мои университеты" Горького. Впоследствии я узнал, что мачеха сожгла в печке отцовый юбилейный том Перекопской дивизии, но не при немцах, а когда вернулись наши. Она была напугана, все, побывавшие

в оккупации, проверялись НКВД. А в том были "враги народа". И первое издание сочинений Ленина сгорело по той же причине.

Я поспешил к Соснову, мы с ним вместе призывались в сорок первом. У него никого не было. Напротив, в парикмахерской, девушка-ученица постригла меня. Меня опьянили неуверенные прикосновения нежных рук.

Таким было мое состояние этим летом.

Из парикмахерской я пошел на Ланжерон, выкупаться и посмотреть на море. В парке Шевченко миновал запущенный стадион, где перед войной в многотысячной толпе слушал цеховскую лекторшу из Москвы. Вспомнились ее слова о "свининке", которая "поплывет к нам из Болгарии".

С уцелевшей колоннады Хаджибейской крепости на высоком берегу открылось синее море и белый Воронцовский маяк. Потом я узнал, что каменная башня маяка была нами взорвана при уходе, а это временное деревянное сооружение.

У причалов были пришвартованы считанные суда. Ко мне навстречу из порта доносилась музыка из репродуктора и свистки маневрового паровоза.

По правую сторону лежал Ланжероновский пляж. Я сбежал к нему по крутой глинистой дороге цвета ржавчины. Такого же цвета были успешные испечья под солнцем обрывы к морю.

Выкупался и лег на гальку обсохнуть. Рядом, с пористого, как пемза, каменного пирса удили рыбу. Сквозь смеженные веки проникало розовое солнце. У ног монотонно шумело море. Трудно было поверить, что я приехал всего несколько часов назад.

Я шел через город домой. Разрушенные дома попадались редко. Мне встретились два-три трамвая.

У Соснова мне открыла дверь седая женщина в очках с синеватыми толстыми стеклами, его мать. Ожидая призыва в казахской МТС, я представлял себе, как после демобилизации я в военной форме приду к Соснову. Действительность не оставила места ни военной форме, ни Соснову. Он был ранен в бедро во время нашего наступления под Сталинградом и истек кровью. Незадолго до этого выпущен из военного училища лейтенантом. Я не пытался представить, что думала его мать, видя меня невредимым.

Я возвращался пустой улицей, без людей. Во дворе то же. Я помнил его шумным, все кипело, жили и в подвалах, на антресолях, в ваннах и проходных комнатах, летом звуки выносились из открытых окон, выплескивались во двор.

Теперь во флигелях оставались считанные жильцы. Не доносятся звонки трамваев с Садовой и Преображенской улиц, утробные гудки паромов.

Вечером по стенам флигелей двигались гигантские тени. Это в комнатах напротив ходили перед керосиновыми лампами. И многие окна стояли черными, за ними никто не жил. А над крышами сияла луна.

Квартира наша тоже опустела. Мадам Щедрович, соседка, с дочерью и внуком умерли от голода в гетто в Доманевке под Одессой. Доманевские крестьянки по пути на одесские базары приносили от них записки с просьбой передать оставленные мадам Щедрович у соседей вещи. Известно, попадало ли им в гетто что-то.

Мы долго сидели с мачехой этим вечером, я слушал ее без конца. "Незадолго до сдачи города отец приехал на двуколке с ездовым на Малороссийскую. Мы были уже в окружении. Он стал на пороге: "Не касайся меня, я весь во вшах!".

Мы с мамой вскипятили выварку воды выкупаться, белье в огонь, гимнастерку выварила. Он сидел на диване, сокрушенно качал головой. Он думал, что ты попал к немцам".

Она ходила в порт проводить отца. Батальон грузился на транспорт "Нева", чтобы идти в Крым. Отец упрекнул: "Что ты меня оплакиваешь? Вернись!".

Уместно добавить, что победитель Красной Армии в Крыму Э. Манштейн пишет, что в его войсках директива Гитлера о "комиссарах" (расстреливать всех попавших в плен политработников и евреев) не применялась. Приходится гадать, столь ли достоверны остальные страницы его мемуаров "Утерянные победы"? И пожурить судьбу: не тому дала нашего Мехлиса. Не Козлову надо было — Манштейну! Он бы и до Крыма не дошел.

"Но какие базары!, — не могла забыть мачеха. — Сколько открылось магазинов! Все было. Рестораны, масса бодег, забегаловок. Откуда только взялось? Как из-под земли".

Когда я, наконец, лег на свою железную кровать, передо мной появились забытые за четыре года коричневые створки высоких дверей и над ними слегка запыленный лепной карниз потолка.

Все было не так, как я представлял себе, было хуже.

Наутро после освобождения города соседка в очереди за хлебом толкнула в изумлении мачеху: "Смотрите, жиданка идет!". По другой стороне улицы шла женщина.

Из моих оставшихся в Одессе одноклассников-евреев не уцелел никто. Я встретил на улице дядьку Алика и спросил, где Алик. Он ответил вопросом: "Где Алик?". Борис, которого в свое время исключили из школы за "срыв" уроков, воевал под Крыжановкой в истребительном батальоне. Был ранен, переполненные госпитали не в состоянии были эвакуировать морем всех. Его забрала к себе девочка из соседнего с нами дома. Соседи же его выдали.

На площади перед церковью на Новом базаре расстреляли задержанных в облаве. Я ходил по наспех заброшенным ямам общего захоронения. Но на них уже выросла трава, и только ее я видел.

Мне встретила во дворе мадам Мауэр, обняла. Она нисколько не изменилась. Как будто те же прицепившиеся к черной одежде кошачьи шерстинки, довоенные.

Ее дочь Лена мне, школьнику, нравилась. Но я не смел даже подойти к ней. В том возрасте разница в два-три года непреодолима. Мы были почти незнакомы.

И вот с началом войны она неожиданно останавливает меня на улице и говорит, что я могу поступить в ее институт, принимают без экзаменов, по аттестатам. Но должен поспешить, потому что железнодорожное сообщение уже прервано, завтра студенты и преподаватели уходят пешком в Николаев.

Я недавно кончил школу, консервный институт меня не привлекал, но возможность идти с Леной пешком в Николаев, ночевать в степи показалась заманчивой, и я побежал домой за аттестатом.

В отличие от мадам Мауэр Лена изменилась. Даже привлекательный оливковый цвет лица стал мучнистым. Неужели я мог ею увлечься? Я со смущением подошел к ней. Она окончила консервный институт в эвакуации в Казани, уже работала. Если бы я не потерял ее по дороге в Николаев и добрался со студентами до Казани, наверное, был бы уже инженером-пищевиком, как Лена. Но варить томатную пасту?

Мы больше никогда не останавливались говорить. Но, проходя мимо, я читал в ее взгляде, что она помнит. Мне даже казалось, что она догадывается, почему я пошел за ней в Николаев. И помнил тоже. К тому же еще понимал, что, не увлекшись, не последовав за нею, я бы остался в Одессе и разделил судьбу моих сверстников. Наверное, так мне выпало, что незнакомая девушка Лена остановила меня на улице.

Но что я теперь мог ей сказать?

"Ушли гимнастерки, вернулись погоны"

С наступлением осени мы с мачехой разделили комнаты. Топить большую, на две комнаты, голландку было нечем. Тетя Меня поставила у себя казанок. Уголь и дрова на растопку вместе с обедом ей возила трамваем с Малороссийской Клавдия Осиповна.

Мачеха была растеряна и беспомощна. Она принадлежала к типу женщин, кто должен был прислониться к кому-то, чтобы жить.

На Малороссийской тоже все переменялось. Незанятый табурет Виктора в прихожей между столом и дверью с вытертой его плечом краской с порога бросался в глаза. На столе вместо теплого пахнущего канифолью приемника — бутылочки из аптеки. Волоча ногу, старик Калягин медленно шаркал по комнатам, где все, до приколотых к стенам уже пожелтевших салфеток, оставалось прежним.

Но голоса из этой квартиры ушли.

Единственными звуками были треск огня в плите на кухне, да время от времени Клавдия Осиповна разгоняла свою изящную, с вытянутой шеей, как у гончей, зингеровскую швейную машинку.

Вернулась с эвакуации ее старая заказчица, профессорская жена Лациник. Появилась новая — мадам Кириченко, супруга местного партийного вождя. Говорили, что он занял для себя особняк за углом от нас, на улице Петра Великого. Там был детсад. Детей куда-то переселили.

"Ушли гимнастерки, вернулись погоны", — шепнула Клавдия Осиповна.

У меня был перевод из куйбышевского индустриального института в одесский. Но оказалось, что здесь совсем другая программа, и мне нужно досдать несколько предметов. Меня согласились принять только на второй курс. Это значило терять год. Я поспорил, пригрозил пожаловаться и больше туда не ходил.

Той же осенью я поступил в университет. Скоро я ушел и оттуда, в театр, но успел коротко подружиться с сокурсником, мальчиком незнакомой мне среды, Димой Юшкевичем. Его отец, генерал, командовал Одесским военным округом.

Юшкевичи жили на Большом Фонтане, в особняке, который до них занимал опальный Жуков, пока его не услали еще дальше, на Урал. Дима нехорошо говорил о нем, очевидно, слышал от отца.

Он развлекался, передразнивая мастера, починившего стоячие кабинетные часы, генеральский трофей из Германии: "И зачем такие часы?.. Это же шкаф! Я уже не говорю за маленькое римское личико". Адьютант,

отражаемый паркетным полом, внес в комнату поднос с красноватым чаем в высоких стаканах в подстаканниках.

Отвозя меня домой, Дима остановил "Виллис", набрать камни, и на предельной скорости всадил их в ветровое стекло встречного грузовика. Это повторилось с последующими. Звон разбитого стекла неся за "Виллисом" командующего по тихому ночному Фонтану.

Эти всплески хулиганства сочетались у Димы с покладистым характером и даже душевной незащищенностью. Последнее, а также, надо полагать, прогулки на "Виллисе" влекли к нему сокурсниц. На этой счастливой для него поре я потерял Юшкевича из вида.

Но впечатление от посещения генеральского дома оживало все чаще. Мачеха сблизилось с сотрудницей, женой директора электростанции, и бывала у них. "Ты бы слышал, что они с гостями говорят! Бедный батя, за кого он погиб?" В университете передавали реплику ректора Савчука, бритоголового, с опущенными вниз запорожскими усами: "Цэй народец...". Дозволенными атрибутами утерянной казацкой воли оставались колбаски усов и погромный лексикон.

Впрочем, не церемонились и с украинцами. Уехал по партийной мобилизации в "район" мой новый сосед, кузнец. Он жаловался на кухне, что должен ехать больной гриппом. Спустили уполномоченных на села вывозить из колхозов последнее по распоряжению Хрущева. Впрочем, его ли? Очень натурально представить себе нетерпеливый голос по прямой связи из Москвы: "Ви там у себя засахарылыс!".

Но войдем снова ко мне во двор.

На антресолях над мадам Бауэр жили муж и жена. Я не знал их в лицо.

Но вот я услышал, что они отравили себя. Открутили вентиль на баллоне у газовой плиты. Говорили об этом глухо, как если бы это являлось государственной тайной. Похоже, так и было, они ждали ареста.

К тому времени все закоулки в доме, где могли жить люди, были заселены. И где люди жить не могли. Например, в подъезде дома. Там поселилась Маргарита со Спартаком, сыном. Кончилась их ссылка как членов семьи "врага народа", и они вернулись, ожидая, что им отдадут их бывшую квартиру. В ней, конечно, жили уже другие люди. И они отгородили угол в подъезде шкафом и фанерой, ожидая решения своего квартирного вопроса.

Стояла осень. Подъезд был вымощен столь обычными в Одессе вулканическими плитами, прохладными даже летом. Теперь они, синего цвета, побелели от инея. В этом закутке с далеко не достающим до высоких сво-

дов подъезда ограждением из шкафа и фанеры, надо думать, Спартак готовил уроки, — его приняли в школу, в последний класс.

Маргарита, уже седая, потерявшая акцент, останавливала жильцов, просила подписать заявление в исполком, что до ареста мужа она проживала в этом доме. За ограждением жужжал примус.

И опять, как в 37-м, они вдруг исчезли. Кажется, грекам разрешили вернуться на родину. На этот раз им повезло.

Мои лучшие дни

В нашей, а потом мадам Щедрович комнате с балконом поселили упомянутого мною кузнеца, он работал в мастерской инвалидов войны на Новом базаре. Жена кузнеца Аня иногда приносила мне в комнату тарелку мясного супа с фасолью под благовидным предлогом: "Попробуй, ты такой себе не сварись". С хлебом.

Отказаться я был не в силах, но старался вернуть долг, помогая их дочери, школьнице, готовить уроки по математике. Я вспомнил, что работал в сельской кузне на Волге и попросил соседа взять меня в мастерскую подручным. Но место уже было занято. Впрочем, вряд ли моей решимости работать хватило бы надолго.

Я предпочитал проводить время за книгами. Голод не казался мне чрезмерной за это платой.

Жизнь доставала меня по касательной. Книги, искаженное ее отражение, полнили меня. Шумы жизни доносились как бы издалека. Отсюда беззаботность. Я мог бы сравнить это время с проведенным на полевых работах: вокруг ни души, скрипит на ухабах дороги влекомая волами арба с сеном, над головой в голубом небе с тонким звоном носятся птицы, и славно греет сентябрьское солнце.

Эта осень в Одессе тоже была сухой и теплой. Как и в школьные годы, я проводил много часов в Публичной библиотеке с приятным, как легкое опьянение, головокружением от долгого чтения. Или голода. Возобновилась "чахотка". От нее я счастливо избавился, работая в МТС в казахской степи в годы войны. Но от Одессы до той степи было далеко. Я решил, что и теперь как-нибудь обойдется.

По дороге из "Публички" домой я отоваривал хлебный талон, получал шестьсот граммов черного хлеба. По карточке полагались и другие продукты — в незначительном количестве, но за копейки. Так же мало стоило жилье. Если бы я продал дневной паек хлеба, денег хватило бы

полмесяца покупать продукты по карточкам. Мне не пришлось этого делать, потому что тетя Дора иногда присылала мне из Куйбышева немного денег. Мне досталось кое-что из трофеев, привезенных моим родственником Евгением Исаевичем из Германии. Бальные лакированные туфли с острыми носами времен Веймарской республики добросовестно служили мне зимой и летом.

В них я пошел поступать на работу в Русский драмтеатр. Меня приняли во вспомогательный состав. Несмотря на разруху и нехватки, театру давали электричество, и полотеры натирали полы. Мы занимались теорией сценического искусства и выходили на сцену в спектаклях в немых ролях. Актерское искусство преподавал главреж. Он носил очки с толстыми стеклами, за которыми расплывались глаза, и казалось, что они смотрят в разные стороны. Тем не менее, он прямо вел театр по классическому руслу, отклоняясь по звонку с Приморского бульвара, где тогда помещались партийные власти, на пьесы Корнейчука и ему подобных. Ставились и водевили. В одном из них я впервые вышел на сцену.

Актерским клубом служил театральный буфет с большим алюминиевым чайником, всегда кипящим. Новости здесь можно было узнать раньше, чем они вывешивались в приказе. В один прекрасный день стало известно, что актерам вспомогательного состава карточки выдавать не будут. Это была первая ласточка послевоенного голода на Украине. Опять на Украине.

Привезенную из Куйбышева пьесу я решил отнести в соседний театр, Советской Армии. Показать в своем у меня не хватило смелости. Меня позвал к себе главреж Заславский. Он болел и принял меня, сидя на кровати. Листы моей пьесы были разбросаны по простыне. Заславский говорил о сцене, любви, она всем движет. "Сладкий женский пирожок", — так он выразился.

Было тепло, сумерки. За открытым окном шумела улица. Режиссер был не старый, шутил. Наверное, врачи обещали выздоровление. Я ушел, тоже обнадеженный.

Стояла первая послевоенная весна. Недалеко от театра, на Соборной площади, у меня было свидание. Улицы снова людные, оживленные. Уже горели фонари, звенели трамваи.

На Соборной площади кусты от пыли серые. С тех пор, как сошел снег, ни капли дождя. На голых газонах обертки, окурки. Шорох шагов по перетертому подошвами гравию, пыль из-под ног, ею пахнет вечер. Голоса, смех. Люди жадно возвращались жить.

Однажды, когда я набирал из дворовой колонки воду, ко мне подошла соседка из флигеля, Евдокия Ивановна, с лоскутом легкой материи. "На, возьми. Упало с вашего окна, когда твоя мама шила платье". Веселенький синий ситчик в белую крапочку. Платье молодой женщины.

Пьеса моя дальше Заславского не пошла. Я остался без продуктовой карточки и должен был уйти из театра. Кто-то надоумил меня подрабатывать в газете, пока я не устроюсь где-нибудь, где дают карточку. В отделе культуры местной газеты "Большевистское знамя" мне поручили написать о школьной библиотеке. Но публикации этой заметки я не дождался. Зато отделу промышленности давали больше места, приоритет индустрии, и здесь мои информации "Больше электроэнергии!" или "Растут цеха" попадали даже на первую страницу. Очевидно, я уподобился радиокорреспонденту, о котором услышал от Клавдии Осиповны: "Стучите вилками по тарелкам!" (пустым). Проценты перевыполнения плана и достижения передовиков должны были, по всей вероятности, быть не те и не такие. Но мне их давали в парткомах. Это были официальные цифры и утвержденные имена. Кроме этих имен и цифр моя информация ничего не содержала. Еще несколько реплик передовиков, придуманных. Я к ним ходил знакомиться в цех, но, конечно, ничего подобного они не говорили. И несколько прилагательных в превосходной степени.

За эти 20-30 строк я получал в бухгалтерии 15 рублей. Кирпичик черного хлеба на базаре стоил сто. В месяц мне удавалось напечатать две-три таких информации. Едва на полкирпичика.

Однажды я приехал за информацией на Молдаванку, на завод, где работал мой отец. Сотрудник, прочитав отношение из редакции, спросил меня о его судьбе. Эту заметку в газету я писал с совсем другим чувством. Может быть, поэтому ее не поместили.

Но газета меня привлекала. Даже дом редакции на нарядной Пушкинской улице, запах полиграфической краски и гуд типографских машин на первом этаже, гигантские катушки бумаги во дворе. Треск пишущих машинок, острозычные люди за письменными столами.

Я не догадывался об обстановке в типичном советском учреждении, да еще "идеологическом", на что, будучи уже в опале, горько сетовал Бухарин, и иногда пускался в рассуждения. Завотделом, человек с длинным лицом интеллигента и в массивных роговых очках, слушал меня. Какая-то задняя мысль отражалась на его лице. Я не пытался прочесть ее. Еще жива была эйфория совместной с западными демократиями победы над

фашизмом, а постановление "О журналах "Звезда" и "Ленинград" только "подрабатывалось" на Старой площади.

Когда я с заказом вышел из комнаты, литсотрудник курил в коридоре. Он слышал наш разговор и предупредил меня: "Только не ходите по причалам в темноте. В порту со случайным свидетелем может случиться что-то нехорошее".

В том же доме на втором этаже, под "Большевистским знаменем", находилась редакция украинской "Чорноморської комуні". Иногда я относил непринятую информацию с третьего этажа на второй и наоборот. Предварительно переведа.

Об увертливости редактора "Чорноморської комуні" ходили легенды. Вот одна из них.

На очередной "пятиминутке" редактор потребовал очерк о передовике производства, самом что ни есть работаге, что-нибудь по металлу: токарь, слесарь и т.д. Молоденькая литсотрудница (не заводилом) выскочила: в отделе лежит готовый! Последовали обязательные вопросы: "Коммунист?", "Участник Отечественной войны?", "В парткоме согласовано?" и т.д. На все вопросы ответы положительные. Редактор удовлетворенно постукивает авторучкой по стеклу: "Добрэ, дужэ добрэ! Завтра ж друкувати. З фото!". Фотографа тут же отправляют на редакционном трофейном "опеле" на завод мельничного оборудования, где трудится передовик. Переходят к следующему вопросу. Вдруг редактор спохватывается: "А як передовика призыває?". Имя и фамилия явно еврейские. Наступает красноречивое молчание. Редактор взбешен, по лицу видно. Дура, так подвела! Но уже как бы просветление озарило. "Чекайтэ, чекайтэ! Дз пэрдэвык працую, вы кажэте?" Растерянная литсотрудница повторяет. Редактор, с легким укором: "Так то ж харчова промысловисть! Я ж вас за важку пытаю".

Университет

Снежная холодная зима сорок шестого — сорок седьмого года застала меня в университете. Часто по карточкам не выдавали хлеба. Однажды не привозили хлеб три дня подряд. Мы съедали болтушку в студенческой столовой, это было все. Нас собрали, все курсы, в актовом зале. С "разъяснением" выступил парторг университета Фролов. Оказалось, стал на ремонт хлебзавод. Трудно было в это поверить. Тогда почему не выдают пачек мукой? У Фролова было широкое лицо в грубых морщинах, облик ра-

бочего-большевика времен гражданской войны, суровые времена. Хриплый, как будто сорванный на митинге голос. Он шутил: жена не догадалась засушить сухарей. Значит, и он в таком же положении? Это подкупало. Уверил, что партийные органы бросили на ремонт все силы. Завтра хлеб должен быть.

Завтра хлеб мы получили, очевидно, в город завезли муку.

К тому времени я уже был женат. Ада, моя жена, училась в пищевом техникуме и приносила с практических занятий на пивзаводе необмолоченный овес в сапожках. Этот овес мы мололи в мясорубке. Из него получалось несколько ложек каши. Каждая из них влекла лагерь за хищение государственной собственности. Аду научили надевать на практику полусапожки с голенищами раструбом работницы завода. Голодали и крали все, кто мог. О том, что делалось в порту, я имел представление из реплики литсотрудника.

Я попал снова на первый курс истфака. На курсе было много демобилизованных, уже мужчин, совсем непохожих на мальчиков набора прошлого года. Аудитория рябила гимнастерками и кителями с нашивками за ранения и планками орденов. Остальные были мальчики и девочки со школьной скамьи и два-три заблудившихся вроде меня.

Демобилизованные украинцы, члены партии, намечались по окончании университета в аспирантуры и партшколы "укрепить национальные кадры идеологического фронта". История оказалась идеологической наукой. Справедливость требует сказать, что недружелюбия с их стороны к невоевавшим, евреям тоже, я не замечал. Даже когда начали разоблачать "космополитов" и "низкопоклонников".

О том, что творилось на кафедрах, я получил представление случайно. Торопясь как-то опустевшим вестибюлем на лекцию после звонка, я услышал обрывок разговора профессора Розенталя с деканом факультета Чухрием. Черный, со впалыми щеками, шея торчит из слишком широкого воротника кителя, Чухрий шел в деканат, не приостанавливаясь слушать. Розенталь, стараясь сохранить достоинство, следовал за ним, что-то говорил. Холеное лицо Розенталя дрожало: крупный нос, массивный подбородок, каждая морщина. Чухрий неохотно ронял слова.

Розенталь был Николай Николаевич. С открытием кампании против "космополитов" он в курс истории Средних веков вкраплял детские впечатления — как его, ребенка, ставили в церкви на колени помолиться "боженьке". Ничего не помогло. Ведь разоблачали не за национальность, крещен ты или нет — тоже частное дело, у нас свобода совести, а за "низ-

копеклонство". Его фамилия исчезла из расписания вместе со Средними веками.

Их заменили другие курсы и другие люди. Чухрий читал Историю СССР из вузовского учебника, положив его на кафедру с бортиками, чтобы не видно было книги из аудитории. Доцент Владимирская клеймила Николая Второго за реакционность — без конца "отсрачивал" реформы.

К счастью на факультете оставались ученые люди, не евреи и, значит, не подлежащие чистке: Добровольский, Болтенко, Алексеев-Попов. О древнем Гаталове-Готлибе ходили слухи, что он был воспитателем одного из цесаревичей, что могло быть и правдой: в наивные царские времена выкrestы были приняты всюду. Например, генерал Алексеев, начштаба Николая Второго в годы Первой мировой войны, происходил из кантонистской семьи. А до него адмирал Нахимов. А.И. Деникин писал о семи своих сокурсниках по Академии генерального штаба, евреях-выкrestах. Шестеро из них дослужились до генералов. О Готалове ходил анекдот, что, когда он приближался к окошку бухгалтерии получить зарплату, студенческая очередь за стипендией расходилась: Готалов уносил в обширных карманах мешковатого пиджака дневное поступление из банка. Его тоже уволили.

Кампания разоблачения "космополитов" до студенческих скамеек не докатилась, но все же кто-то полусуто-полусерьезно попытался у Горшковича: "Ведь твоя настоящая фамилия Гершкович, правда?". Горшкович, демобилизованный офицер, отбивался, как и Розенталь, детскими воспоминаниями: его в школе дразнили "Горшок". Не знаю, убедил ли, но дальше этого дело не пошло. Какая-то вакханалия. Остальных: Гальперинных, Фуксов, даже Бранд-фон-Бренера — ни о чем не спрашивали, с ними все ясно.

Среди этих последних выделялся мальчик с внешностью Молотова, но без его усов — Абрамович. В нем все было от прозелита, соблазненного научно-партийной карьерой марксиста: лексикон, беспощадность суждений. (Не явился на собрание? — "Отнесемся со всей строгостью!". Или: передовицы газет, пестрящие еврейскими фамилиями разоблаченных "беспачпортных бродяг"? — "Так они и есть такие!") Более серьезное обвинение: "Убийцы в белых халатах", за которым в морозном тумане уже проступали контуры биробиджанских бараков, появилось после нашего выпуска из университета.

Но вот что в нем настораживает: если протаптывал себе дорогу вверх, то как было не избавиться от фамилии, с которой споткнешься на первой же

ступеньке? Изменить фамилию легко можно было и тогда. Нет, не захотел!

Что это? Донкихотство, мальчишеский вызов: вот как должно быть! Какой ни есть, а протест.

И перед нами совсем другая натура!

Пригожий, с заметной офицерской выправкой Борис был живым отрицанием мальчика Абрамовича. Он скрыл свое еврейство и спустя несколько лет получил кафедру в Ужгородском университете. Делать партийную карьеру его все же не отобрали: здесь нутром чуяли не "своего", даже если у него в паспорте стояло "украинец".

Своим фельетоном "Бюрократ в медицинскому халаті" в университетской многотиражке он на три года опередил самого Сталина, автора "Извергов в белых халатах" в "Правде". Но объектом клеветы избрал не светил медицинского мира, а какую-то несчастную врачиху студенческой поликлиники. Очевидно, по указанию партбюро.

Конец его был печальный. Будучи на иногородней конференции, скончался ночью в номере гостиницы от инфаркта: некому было вызвать "скорую помощь". Кто знает, может быть, и не так легко ему досталась его благополучная "коренная национальность".

Не всегда судьба таких людей плачевна.

В те годы в университете арестовали нескольких студентов за "антисоветскую агитацию". Видимо, говорили между собой более или менее откровенно. Их отправили в лагерь. Одного "в виде наказания" исключили из Одесского университета. Но скоро приняли в какой-то другой. Он стал писателем. Инфаркта у него не было.

Я хочу закончить воспоминания об университете в мажорном тоне.

С четвертого курса у нас ввели занятия на военной кафедре. Ее возглавлял генерал Дульчиков, седовласый сухошавый старик, похожий на Суворова. Он преподавал тактику. Кроша мел на малиновые лампасы, чертил на доске расположение батареи, наблюдательного и командного пунктов. "Пораженную выстрелами батарею площадь, — он обводил круг и принимался его заштриховывать, — мы для наглядности заштри... Что?", — оборачивался к аудитории. Исключительно мужская аудитория громко и охотно заканчивала за генерала. В течение двухчасовой лекции не раз приходили ему на помощь.

Несмотря на такое учение, вместе с дипломом историка мне при выпуске присвоили звание лейтенанта запаса дивизионной артиллерии.

С Ш А

Городские портреты

Предисловие

Мир состоит из городов.

Беспорядочно разбросанные между ними леса, поля, реки, горы, океаны, планеты, звезды и галактики являются всего лишь декорацией, на фоне которой происходит главное.

Первая изобретенная человечеством машина, город создает цивилизацию из варварства, устанавливая границу между ними.

Изобретение дома ведет к установлению границы между "я" и "они" и к появлению человека. Изобретение города — к установлению границы между "мы" и "они" и к появлению человечества.

Лучшими из первых являются великие города.

Каждый знает их с детства, вне зависимости от времени и места рождения.

Париж, Лондон, Рим.

Амстердам, Стамбул, Гамбург.

Иерусалим, Сидней, Прага.

Каждый видел картинки с изображениями Колизея, Биг-Бена и Эйфелевой башни. Глядя на них, не всегда можно понять, в чем тут дело.

Пыльные, плоские и одинаковые, они говорят о своих городах не больше, чем фотография Земли из космоса говорит о строении земного ядра.

Поскольку классики учат, что главные картинки — те, которых не видно глазами, а классики не ошибаются.

Ну что ж, доверимся внутренним органам.

Посмотрим на то, чего не видно глазами — непонятные ощущения, неоткрытые законы, случайные связи, тонкое устройство Вселенной. Откроем альбом с такими картинками. Войдем в город.

Италия, Рим

Система элементов

Не будем оспаривать очевидное.

Менделеев заблуждался, и система химических элементов никогда не была универсальной.

Это особенно заметно в Италии.

Самый легкий элемент здесь — воздух, и никому нет дела до водорода. Воздух составляет основу всего остального, и все, что угодно, можно получить путем его слияния с чем-то другим. Например, запах крепкого кофе легко получается при взаимодействии воздуха с горячим эспрессо,

а запах южного солнца — при взаимодействии воздуха с морем, песком, пылью и самим солнцем.

Чтобы убедиться в первичности итальянского воздуха, достаточно выйти вечером жаркого июльского дня на площадь Навона и сделать глубокий вдох. Присутствие в легких всех элементов Италии является убедительным доказательством вышесказанного.

Следующий по легкости элемент — это вино. Вино здесь имеет красный цвет и является почти таким же легким, как воздух. Особая легкость вина приводит к его повсеместному употреблению в больших количествах, что, тем не менее, не приводит к алкоголизму, поскольку, потребляя вино, местные жители перестают быть доступными для всех земных болезней, унесенные неизвестно куда легчайшим темно-красным напитком.

Итальянский сыр ненамного тяжелее вина и охотно соединяется с ним, а также со свежим хлебом. Взятые вместе, вино, хлеб и сыр оказывают неопишемое воздействие на того, кто это продельывает, и образуют основу Италии, которая почему-то принимает замысловатый, но уже не удивляющий экспериментатора вид наклоненного сапога с каблуком.

Следующий элемент — вода — в Италии тоже отличается своеобразием и чаще всего имеет форму пластиковых бутылок, фонтанов на главных площадях, речных берегов и морских побережий.

Тяжелые элементы Италии — это мрамор, черепица и камни. Мрамор здесь может принимать любые формы, которые при наличии у скульптора таланта — то есть практически всегда — вступают в серьезный конфликт с геологической наукой. Камни образуют воздушные границы Италии — стены Колизея, мосты Тибра, капеллы Ватикана — и являются самым долгоживущим элементом. Малоизвестная прохожим черепица представляет собой главный элемент итальянских городов с точки зрения воздухоплавателей и жителей внеземных цивилизаций.

Соединившись с красками — пастельными, чаще всего желтоватыми, розоватыми и зеленоватыми, размытыми течением времени — мрамор, черепица и камни образуют соборы, галереи, кафе и другие архитектурные памятники, включая самый благородный элемент страны — палаццо.

Из которых, в свою очередь, образуются улицы, города и вся Италия, ярко освещенная вечным средиземноморским солнцем.

Образуя теплый итальянский воздух, солнце замыкает круг.

Италия оказывается состоящей из воздуха, вина, сыра, хлеба, воды, мрамора, черепицы, камней, красок и солнца.

Система элементов Италии становится совершенной, приобретая принципиальное отличие от неоконченной работы Менделеева.

Венеция

В лучах заходящего солнца

Есть города, родившись в которых, нельзя умереть.

И есть города, не родившись в которых, не умереть невозможно. Иногда они совпадают.

Это не означает, что можно жить вечно.

Можно только вечно отражаться в стеклах рыбацкого квартала Канна-реджо, угасая в лучах заходящего солнца, но так никогда и не угаснув.

Или ежеминутно выплескиваться на набережную у отеля "Даниэли" зеленой морской водой, оставляя лужи на тротуаре и забрызгивая влюбленных.

Или взлетать над площадью Сан-Марко тончайшими звуками скрипки, растворяясь в горячем вечернем воздухе и оставаясь там навсегда бесконечной реверберацией струн.

Только ради одного этого уже можно было бы умереть. Было бы можно, если бы только было.

Поэтому остается только умирать каждый раз, когда поезд, невозвратно набирая ход, выскакивает на тонкую ленту насыпи и навсегда оставляет в прошлом узкие улицы Санта-Кроче и тесные площади Кастелло.

Каждый, кто хотя бы раз интересовался возможностью вечной жизни, знает: этот единственный город — Венеция.

Портофино

Коллекционер

Его коллекция аккуратно разложена по полочкам, пронумерована и подписана. Это самая полная коллекция морских, речных, озерных и прочих купаний, известная человечеству.

Морские купания составляют основу коллекции. Здесь есть известные всем купания в Ялте на переполненном городском пляже под набережной; освежающие купания на закрытом пляже гостиницы „Жемчужина" в Сочи жарким июльским днем; ночные купания в Одессе в августовскую жару, которые лучше всего разглядывать в темноте, потому что они светятся слабыми серебристыми огоньками; скольжение на длинном кон-

це за крейсерской яхтой в пяти километрах от берега; прыжки с пирса в компании друзей-девятиклассников на пляже "Отрада", которые нужно открывать осторожно, чтобы в лицо не попали высоко взлетающие брызги; отдираание мидий от камней на глубине двух-трех метров в акватории яхт-клуба, вода в банке чуть-чуть розовая от изрезанных пальцев; бесконечное бултыхание на мелководье в не по сезону теплой воде Адриатики у песчаной косы, защищающей Венецию с моря; осторожное подплывание к наполовину ушедшему под воду и насквозь проржавевшему траулеру, застрявшему на мели у южной оконечности Кинбурнской косы; бесконечно долгий, грозящий никогда не окончиться проплыв баттерфляем через правильный круг Бандольского залива недалеко от Марселя; неправдоподобно летние купания в Римини ранней весной; ни с чем не сравнимые майские купания на полупустом "Ланжероне" в чистой, прозрачной, прохладной воде; изнурительные попытки погрузиться в воду Джарылгачского залива на глубине сорока сантиметров в двухстах метрах от берега; ленивое покачивание на древних волнах Эгейского, Мраморного и Тирренского морей возле Афин, Стамбула и Виареджо; невыносимо медленное вхождение в постоянно ледяную воду как Северного, так и Балтийского морей на всегда пронзительном ветру в равном удалении от Гамбурга; обжигающе-холодные зимние купания на "Дельфине" среди тонких, тяжелых льдин, от которых стекло всегда покрыто инеем; невероятно теплые купания на Балеарских островах в конце октября, когда Северная Европа уже давно перешла на пальто, безнадежно залитая дождями, или в Сиднее в январе под невозможно безоблачным небом, когда все друзья уже уехали в Альпы, Роки-Маунтинс или Гарц кататься на лыжах.

В центре коллекции, аккуратно обложено ватой и укрепленное на тяжелой подставке — единственное в жизни купание в Портофино, ночью, под звездами, у круто спускающихся к заливу гор; желтые огни на месте домов, черные линии на месте волн, светлые пятна на месте купальника, и нужно выключить свет и подсветить фонариком, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, а когда все-таки разглядеть, выключить фонарик и посидеть несколько минут в темноте, умирая от зависти.

Океанские купания сложены отдельно, чтобы ни в коем случае не спутать их с морскими ввиду совершенной невозможности этого, понятной даже неспециалистам. Тут можно найти такие интересные образцы, как отчаянное катание на огромных волнах вблизи мексиканской границы недалеко от Сан-Диего; героическое впрыгивание на несколько секунд в ледяную воду Авачинской бухты; блаженное колыхание в соленой воде на

широком пляже Брайтон-Бич рядом с застывшими на десятилетия ржавыми аттракционами Конни-Айленд; июньские купания в Атлантике недалеко от Кадиса на свежем океанском ветру; июльские купания в Падекале во время десятиметрового прилива, которые в остальное время нужно разглядывать в увеличительное стекло; летние купания в Массачусетсе, зимние купания во Флориде, круглогодичные купания на Копакабана.

Речные купания занимают несколько нижних полок. Здесь тоже много любопытного — например, купания в Москве-реке в Серебряном бору, в Сейме под Курском, в Днестре на Каролино-Бугазе, утренние купания в Днепре под Кременчугом, вечерние купания в Оке у Серпухова, ночные купания в Оби под Сургутом, осторожные окунания в Эльбу, Камчатку и Рейн, самозабвенные плавания по Роси, Амуру и Миссисипи.

Хотя он сам понимает, что это уже не так интересно. В общем, его коллекция уникальна.

Но, пожалуй, даже не столько своей полнотой, сколько тем, что он — единственный из всех обладателей подобных коллекций, кто знает, что воспоминания о прошлом не менее реальны, чем само прошлое, а может быть, даже более, поскольку прошлое давно прошло, а воспоминания о нем до сих пор существуют.

Но только до тех пор, пока о прошлом кто-нибудь помнит.

Зная это, он с легким сердцем оставляет свою коллекцию друзьям, родственникам и государству.

Поскольку твердо уверен, что даже если друзья поссорятся с родственниками, родственники с государством, а отдельные экземпляры потускнеют от времени и поблекнут с годами — что неизбежно случается с любым, даже самым уникальным собранием — его коллекция все равно будет существовать ровно столько, сколько будет находиться хоть в чьем-нибудь владении.

Коллекция его купаний, которые он сам совершил.

Франция, Париж

Государственный гимн

Если ходить, так в Лувр.

Если гулять, так в Тюильри.

Если ехать, так в Версаль.

Если стоять, так перед Эйфелевой башней.

Если есть, так "Камамбер".

Если пить, так "Бордо".

Если засыпать, так в Люксембургском саду.

Если просыпаться, так на Больших Бульварах.

Если смотреть, так с Монмартра.

Если слушать, так Равеля.

Если покупать, так в "Самаритэн".

Если продавать, так на набережной Сены.

Если одевать, так от Кардена.

Если снимать, так в Латинском квартале.

Если сидеть, так в "Ротонде".

Если лежать, так на Пер-Лашез.

Если любить, так парижанку.

Если ненавидеть, так рантье.

Если умирать, так с Эдит Пиаф.

Если жить, так на Монпарнасе.

Сен-Тропе

Несколько секунд счастья

Кафе на набережной, круглые столики, плетеные стулья, красное вино, прогулка вдоль моря, случайные касания рук, тонкий запах "Шанели", дорогой отель — ритмичные движения, учащенное дыхание, вскрики, несколько секунд счастья.

Ресторан у воды, открытые окна, огни на том берегу, белое вино, сигара на террасе, рука на талии, тонкий запах "Диора", звезды над головой — ритмичные движения, учащенное дыхание, вскрики, несколько секунд счастья.

Бар в старом городе, негромкая музыка, свеча на столе, двойной "Дайкири", узкие улицы, лицо в руках, тонкий запах "Голтье", цветы в темноте — ритмичные движения, учащенное дыхание, вскрики, несколько секунд счастья.

Пляж на острове, теплый песок, плеск волн, джин-тоник, ночной бриз, рука на плече, тонкий запах "Гуччи", музыка вдалеке — ритмичные движения, учащенное дыхание, вскрики, несколько секунд счастья.

Тропинка в горах, солнце в зените, море у горизонта, ледяное пиво, тень под пиниями, рука на руке, тонкий запах "Армани", камешки под спиной — ритмичные движения, учащенное дыхание, вскрики, несколько секунд счастья.

Тысячам элегантно одетых мужчин и женщин не остается никакого выбора, кроме этого.

Усиленное потреблением алкоголя в небольших количествах и изысканных формах, стремление к прекрасному наконец совпадает со стремлением друг к другу.

Жизнь приобретает изначальный, существовавший до разделения души и тела, смысл, состоящий в занятии правильной позиции внутри единственно возможной Вселенной и абсолютном слиянии с ней.

Тем самым объясняя чрезмерно высокие, по мнению дилетантов, цены на жилье в этих местах и невиданный наплыв туристов со всего мира.

Тулуза

Мой портфель

Все, что мне нужно, у меня всегда с собой в портфеле. Журнал — я люблю читать журналы; последний номер "Time" или "Знамя"; книжка; стихи, Ратушинская, Гумилев или Рейн, или проза, Аксенов, Кортасар или Фаулз; компакт-диск, Городницкий, Элла Фитцджеральд, Шопен или "Beatles", вместе с плеером; карандаш, ручка, запасные стержни, календарь-ежедневник, записная книжка; темные очки, утренняя газета, распечатка последних e-mails; фотография сына в Одессе на руках у отца; notebook со всеми текстами, пачка чистой бумаги, неоконченные сценарии, копии недочитанных статей; бутылка кьянти, сыр "Gouda extra alt" на деревянной дощечке, свежезажаренные сардины, разрезанный на дольки помидор; бутылка "Ballantines", два маленьких стаканчика, лед; полукеды, плавки, шорты, старый футбольный мяч, купальное полотенце; мокрая галька, очень горячий песок, море, которое в шторм иногда проливается наружу; легкая рубашка, белые брюки, летние туфли, несколько футболок; элегантные стихи и неприличные фотографии жены; рисунки сына; фотоаппарат, GSM-телефон, FM-радио, маленький телевизор "Sony"; черная бабочка, смокинг, белая рубашка для сцены, дорожный уют, черные туфли, крем для обуви, сценическая папка с текстами; зубная щетка, паста, бритва "Gillette", туалетная вода "Gucci Envy"; оттиски последних статей, план доклада, слайды, лазерный принтер, результаты последних экспериментов; толстый свитер, яркая лыжная куртка, горные лыжи с ботинками, шерстяные носки, вязаная шапочка, перчатки; гитара, набор запасных струн; широкие листья винограда, колючие кусты крыжовника, лопающиеся в руках ягоды малины, гладкие блестящие кашта-

ны, сухие шарики платанов, акации, цветущие в темноте портфеля неожиданно выбивающимся из бокового отделения тягучим, густым ароматом; старый деревянный дом на берегу моря, внезапно начинающий скрипеть посреди какого-нибудь заседания, если поднимается ветер; забытый до отъезда сорокатысячный стадион, шум которого удивляет пассажиров, если в момент, когда "Черноморец" забивает гол, я еду в метро или автобусе; огни кораблей на внешнем рейде; погруженный в темноту ночного пляжа костер с иногда выскакивающими из-под замка язычками пламени, которые пугают прохожих на неосвещенных вечерних улицах; маленький школьный двор, здание университета, актовый зал, тесные кулисы, сцена; гостиницы разных городов, самолеты "Аэрофлота", ослепительные прожектора, черные, хохочущие в темноте, залы; чистые лабораторные столы, пипетки, пробирки, эксперименты, приборы, сумасшедшее ощущение новизны; клюшки, истертые теннисные мячики, роликовые коньки, самодельные деревянные ворота; далекий северный город, блестящий на солнце снег, белоснежные сопки, резкие линии берез над синей плоскостью бухты; настольный хоккей, чтение "Доктора Айболита" на ночь, родительские собрания, колыбельные, бассейн по выходным, футбол вдвоем на красном песчаном поле; синее небо Италии, зеленые холмы Сиднея, округлые заливы Côte d'Azur; прямые авеню Нью-Йорка, светлые бульвары Парижа, темные огни Амстердама; поцелуи в кино, робкие касания друг друга, закрытые на зиму дачи, лихорадочное расстегивание чего-то, постель, гладкость и белизна кожи; мягкий свет ночника, странные сочетания тел, медленные женские стоны — о, эти стоны, они иногда на самом деле смущают меня, когда неожиданно раздаются посреди ночи в нашей семейной спальне; початая бутылка коньяка, покрытый клеенкой стол, блюдец с лимоном, невозможная близость разговора; бокал вина, маленький столик, неяркий свет, нежность чужого языка.

Ты много раз видела мой портфель — я всегда ношу его с собой, — но еще никогда не заглядывала туда. Попробуй, не бойся; я не буду сердиться, я уже привык к тебе; осторожно, чтобы тебя не забрызгала набегающая волна и не сбил с ног футбольный мяч, открой его, загляни внутрь, и вот увидишь, тогда ты наконец полюбишь меня.

Париж

Я был в витрине

Григорий Аронович Гойхман. В моих тогдашних глазах глубокий старик. Фигура, как веретено — широкие бедра, большой живот, узкие плечи. Или как юла. Но юла на излете, когда движение вот-вот прекратится: покачивание, постепенная потеря равновесия, замедление вращения и от того трещинки и царапинки уже не смазаны, а видны с каждым оборотом отчетливее.

Он не может долго сидеть за своим начальственным столом, он поминутно встает и ковыляет туда-сюда по своим важным маленьким делам, в сумме составляющим одно большое дело: руководство художественной мастерской универмага. Его потребность вращаться опережает его возможности, и он голосом заполняет возникающие промежутки. Он еле слышно бормочет, и мне кажется, что я физически могу определить это самое несовпадение потенциального и кинетического в его стариковской сосредоточенности. "Это мы прибываем сюда... Ищем молоточек... Так, гвоздик сюда... Упал гвоздик... Поднимаем... Мо-ло-точ-ком... Второй гвоздик... Упал... Поднимаем... Трасти вашу мать неньку... Живот мешает... Поднимаем..."

Как бы рано я ни пришел на работу — он уже сидит за своим столом. Мастерская в подвале универмага, там, где склады парфюмерии. Запахи мыла, одеколona, духов и тому подобного перебивают запахи клея и краски. До сих пор в моей памяти воспоминания о работе художником-декоратором связаны с осточертевшими ароматами парфюма. Григорий Аронович сидит за своим столом, делает что-то и бормочет. Или напевает, но и напевая, бормочет.

— Здравствуйте, Григорий Аронович, доброе утро.

— Да-да... Что подельваешь? Как мама?

Старый ловелас. О его былых похождениях любят рассказывать уборщицы. Мама несколько раз заходила проведать меня на моем первом рабочем месте. Я любил ее посещения еще со времен детского сада. Признанная красавица, она и в школе, и в техникуме, и на работе своим появлением поднимала мои акции, создавала вокруг меня атмосферу значительности. Когда она появилась первый раз в мастерской, Григорий Аронович, сопя, выбрался из-за своего стола и решительно заковылял ей навстречу. Я представил их друг другу и дальше давился от смеха, наблюдая за косолапой галантностью

моего начальника. Я уже видел его обращение с дамами попроще и помоложе, и его галантерейные выкрутасы перед мамой казались мне сплошным лицемерием. Когда он склонился над маминой рукой (не потащил ее к своему лицу, а именно склонился над ней), я с испугом вспомнил, что верхняя его губа всегда покрыта испариной. Каждый раз, сидя у его стола и выслушивая очередные поучения, я разглядывал эти капельки пота, затекающие в ложбинку губы под носом. И так, он склонился над маминой рукой, смешно отставив правую ногу, — склоняться мешал обширный живот — и запечатлел свой донжуанский поцелуй. Мама тогда, как ей показалось, незаметно вытерла руку. Но Григорий Аронович рядом с красивой женщиной превращался в орла: ничто не ускользало от его возбужденного мужского внимания. И хоть все следующие встречи с мамой он по-прежнему сопровождал расшаркиваниями и комплиментами, к руке уже никогда не прикладывался.

В мастерской работало еще несколько человек, однако слушателем своих воспоминаний он выбрал именно меня. Мне и в самом деле интересно, но он, не очень в это веря, подогревает мое внимание психологическими трюками: "Ты знаешь, у тебя есть качество! Их у тебя много, а я уважаю одно: ты умеешь слушать! Тебе просто хочется рассказывать. Ты просто заставляешь тебе что-нибудь рассказать! Я это очень уважаю. Вот, слушай..." И начинается очередная история.

— Это было еще до войны. Тебя еще не было. Я был молодой, не такой как сейчас... Был такой цех, где делали корсэты... Ты знаешь, что такое корсэт? Вот, их там делали. Что значит — делали? Приходит, допустим, дама. Мастер (я был помощник мастера) выходит, чтобы ее обмерять. Даму. Кто это будет делать при всех? Так у нас была специальная комната. Обмерочная. Меня туда никогда не пускали. Я уже знал, как обмерять, что обмерять, где обмерять, но он всегда говорил мне "рано". И ходил обмерять сам. Ну, ходил и ходил. Однажды он уехал в Управление, а тут подъезжает к воротам машина. Черная такая, на которых очень большие начальники приезжают. И входит дама. Что тебе сказать? Тоже, нивроку, не для таких, как мы с тобой... Дама! С воротником, с вуалеткой... Ты знаешь, что такое вуалетка? Короче, обмерять некому! Такие дамы не понимают "его сейчас нет, приходите потом". Ты догадываешься, как я вышел из положения? Я же все равно знаю, как и что. Я же все равно его помощник. Почему нет? А не хочешь, чтоб мерял я, меряй ты, а я поеду в Управление... В общем, что говорить? Повел я ее в обмерочную. Спрашиваю, что, мол, хотите, а где, чтоб было так, а в каком месте иначе. А я молодой был, не такой, как сейчас... Начинаю ее обмерять, вот так руками обхватываю и метром вот здесь протя-

гиваю, а она молчит и дышит. И смотрит не на меня, а туда... В сторону... Я меряю ее, меряю, и сам не понимаю, что я делаю... И так, все ближе к кушетке и ближе... А она молчит и смотрит в сторону. И я ее так на кушетку осторожненько, и меряю, меряю... А она молчит... И волосы черные так раскинулись по кушетке, как в кино, и моя рука на ее белой груди... Ну, и...

— Ну? — спрашиваю я.

— Ну, и все. Абгемахт. Она потом встает, одевается, слова не говорит и уходит. Даже заказ не оформили. Только машина мотором зарычала — и уехала. Ну, думаю, все. Дообмерялся, дорогой мой. А время, тебе на долгие годы, было такое, что без всяких обмеров сажали. Ну, я понял — все. Каждый день ждал. Ему ничего не рассказал. Я как думал: рассказать надо, а то он ничего не знает и не будет готов отбрехаться. Но с другой стороны, если я расскажу, он побежит и настучит на меня. Короче, ничего ему не сказал. Ждал уже со дня на день... И — ничего! Я ее потом видел как-то... Красивая дама.

Закончив рассказ, он долго смотрит на меня. Глазки маленькие, хитрые, голубые, слезятся... Бреется каждое утро, но к обеду уже видна щетина. Было похоже, что в этой мастерской сосредоточена вся его жизнь, будто не было у него ни жены, ни детей, ни внуков... Только один раз он не явился утром на работу: были похороны его родного брата. Однако с обеда уже бормотал свое "гвоздик упал, поднимаем гвоздик"... На вопрос, зачем же вы сегодня пришли, ответил рассеянно: "Жизнь идет своим чередом"...

Постоянная война с маленьким коллективом, состоящим из двух пожилых художников и двух девушек-декораторов. И в этой войне — он как рыба в воде. Без нее он как бы и не руководитель... Он за порог — два художника моментально начинают обсуждать очередное его безобразие. Я смотрю на них, одному уже лет сорок пять, а другому — вообще лет пятьдесят... Тот, кому сорок пять, мог бы считаться даже красивым — лоб, губы, подбородок! — но металлические зубы и избыток слюней при разговоре. Когда смеется — просто брызги летят. Тот, кому пятьдесят, суров, морщинист, в два часа дня всегда кипятит чайник и ест из стеклянной банки котлеты с пюре, которые приносит из дому в одной и той же авоське. Он маниакально уверен в кознях Григория Ароновича и очень боится прозевать: где еще Гойхман его обошел и вынудил сделать бесплатную работу. Тот, кому сорок пять, пытается "сально" шутить с девушками. Девушки делают вид, что не слышат. Но он несколько раз повторяет шутку, заглядывая в глаза кому-нибудь из присутствующих, и сам хохочет, веером разбрызгивая слюну. Сего-

дня я понимаю, что были они обычными людьми, но тогда, в свои семнадцать, видел их карикатурно упрощенными. А Григорий Аронович, старый и мудрый, все понимает и все видит реально. И ему нравится, что его критикуют за глаза, что боятся вступить в открытый бой. Когда тот, кому сорок пять, комкает в сердцах бумажку и выбегает в туалет, прерывая этим случайно возникшую прямую перепалку, Григорий Аронович весело смотрит на меня и делает такой кивок головой: "Ви-дел пуреца! Уже обкакался!".

Я посмеиваюсь над Гойхманом... Даже то, что в других мне кажется отвратительным, в нем кажется безобидным и комичным. Бабник, циник и трус. Но я люблю его и такого.

Все знают: нужен еще один декоратор. Витрин много, девочки не могут сидеть в них безвылазно. Бурчат все, Григорий Аронович обещает. Вдруг в один из дней в мастерскую входит юная красавица с библейскими глазищами. К всеобщему изумлению Григорий Аронович не реагирует. Она робко представляется, говорит, что окончила театральный техникум, ищет работу декоратора... Григорий Аронович молчит.

— Григорий Аронович! — возмущается одна из наших двух девушек. — Вы не слышите?

— А? Что? — вскидывается Григорий Аронович и оглядывает мастерскую. — Что?

Девушка еще раз представляется. У меня замирает под ложечкой.

— Нет, нет... — отмахивается Гойхман жестом "ах, вот вы о чем... нет, дорогая, это, к сожалению, уже давно не актуально...". — Нет, у нас все места заняты... — и красиво обводит мастерскую рукой.

Девушка уходит, и через секунду взрыв всеобщего негодования. Григорий Аронович невозмутим: "Щас неподходящее время..."

Девушки-декораторы уходят вдвоем и громко хлопают дверью. Я слышу из коридора приглушенное рычание одной из них: "Медный лоб!".

— Все свои? — заговорщицки оглядывается Гойхман, и я понимаю, что он имеет в виду нееврейское происхождение удалившихся девочек. — Вы, не заметили, что она айдышка? Мне уже директор и так кадухес устроил, что у меня здесь кнессет Израильский! Мне теперь только ее не хватало!..

— Так теперь вы будете антисемит?! — вскипает тот, кому сорок пять.

Григорий Аронович смотрит на меня и, прищурившись, кивает в сторону фонтана из слюней. Его жест означает: "Герой! Ты видел? Моими руками он может все!". И я посмеиваюсь над этими интригами, над этой

пантомимой, над этими "еврей-нееврей", не подозревая, что очень скоро сам уткнулся в эту тему, своей личной жидовской мордой...

— Иди сюда, сядь здесь. Тебе кое-что не хватает. Чтобы быть художником-оформителем, тебе кое-что не хватает.

— Что, Григорий Аронович?

— Ответь мне сейчас: кем должен быть художник-оформитель?

— Кем?

— Нет, это ты скажи, кем.

Я долго подыскиваю ответы...

— Человеком?

— Нет.

— Художником с большой буквы?

— Нет.

— Мастером на все руки?

— Нет.

— Фантазером?

— Нет, думай.

— Спортсменом?

Я растерян, мне уже самому интересно.

— Столяром, скульптором, евреем?

— Нет и нет...

Еще десять вариантов, и на все — нет. Тогда я сдаюсь.

— Кем же, Григорий Аронович?

— П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н Ы М!!! — открывает Гойхман мне великую истину. В его интонации содержатся и "бестолочь", и "господи!", и "чего я только с ним цацкаюсь!"...

Как бы рано я ни пришел, он уже на месте. Я сажусь за свой стол и жду самого интересного, что бывает по утрам. Мы в подвале, а там, наверху — торговый зал. Пол покрыт керамической плиткой. В девять распахиваются высокие деревянные двери, и толпа вливается в залы универсама. Большинство — женщины. Большинство из них — на шпильках. Цоканье их шпильек похоже на стук капель дождя. По нарастающей. Лавиной. И вот через две минуты после открытия начинается непрерывный "дождь". До вечера. До закрытия...

— Все уже! Уже как из ведра, уже можешь начинать работать! — все видит и все понимает Григорий Аронович.

Через много-много лет я пришел туда, в этот подвал, окунулся в эти запахи... Там давно уже склад канцтоваров, давно уже нет на свете Гойх-

мана, и совсем не слышно "дождя"... Нет больше шпильек, нет больше керамических плиток... Только запахи, только запахи...

"Все свои?" — спрашивает Гойхман, имея в виду евреев... А я не знаю, не верю, что эти разные люди для него безусловно "свои", что он чувствует какую-то однородную общность. Я знаю, из всего нашего коллективчика он любит меня и очень уважает Валю Мячину. Ну, она, конечно, уже взрослая, ей уже двадцать один. У нее даже сын есть. Но вижу, для Григория Ароновича это все не важно. Он уважает ее вкус и идеи, и ему плевать, еврейка она или нет. И меня он любит за что-то другое. Мне он не стесняется продемонстрировать свою насмешку над национальными проблемами.

— Слышишь, — вдруг обращается он ко мне в середине рабочего дня. — Что-то у нас тихо... Позови Квазимоню.

Склад канцтоваров, который с годами занял и наше помещение, тогда занимал одну комнату и был через стенку от нас. Грузчиком там был Эммануил Фроймович, Моня. Человек такой необычной внешности, что я стеснялся смотреть на него, боясь, что он перехватит мой взгляд. Низкая талия, короткие ноги и могучие, прекрасные атлетические руки. Руки, чужие на этом человеке. Можно было бы сказать, что у него бычья шея, но шеи у него не было совсем. Голова росла прямо из плеч, и поворачивал он голову, как волк, вместе с этими широченными плечами. И это еще не все. У него не было переносицы. Прямой длинный нос был просто продолжением покато лба и нависал над очень тонкими лягушачьими губами. Плюс ко всему, он сильно косил... Моня Фроймович жил только событиями Израиля. Весь окружающий мир был для него заплеванным плацкартным вагоном, в котором он говорил о чем-то с соседями, ходил в туалет, курил в тамбуре, заказывал чай... Но мыслями был в гипотетическом пункте прибытия — в Израиле. Новый город, новый теракт, новая песня... — это были фрагменты его жизни... Его ухо было прилеплено, приковано к "Спидоле", к голосу Израиля, а вся местная информация громыхла за окном его вагона. Он и выглядел, как инопланетянин.

— Иди, позови этого еврейского фашиста, — говорит мне Григорий Аронович. Он уже давно не шутит, он привык называть так Моню Фроймовича: Квазимоня или еврейский фашист. Он не шутит, но потешается над тем, что кажется ему нелепой фанатичностью: где мы и где Израиль! Да и что такое Израиль? Чужая планета. Далекая нереальная страна, где все чуждо... Какая-то война, какие-то проблемочки, что-то там африканское...

Моня Фроймович входит возбужденный, видно, что он кипит не первый час. Я ставлю для него стул, прошу сесть, но он ходит туда-сюда по мастерской, размахивая прекрасными чужими руками.

— Вус ин дер курт! — продолжает он речь, начало которой мы не слышали. Я не понимаю, что это значит, но понимаю, что он материт арабов. — Сифилитики, убийцы!..

Он опять слышал что-то по Израильскому радио, у него слезы на его косых глазах. И срывается голос. Он не видит или не обращает внимания на то, что все в мастерской улыбаются, переглядываясь.

— Моня, я тебя позвал, мне ватман нужен. У вас Александрийская есть? Моня Фроймович не сразу понимает, чего от него хотят, машет рукой и выходит. На этот раз развлекаловки не вышло. Обычно он подробно отвечает на вопросы, охотно поясняет темные места, не обращая внимания на дурацкое веселье этих "полугоев", но сегодня, как видно, сообщения по радио были особо трагичными. Мне жалко Квазимону и совсем не жалко израильскую военщину: где мы и где Израиль! Я — как Григорий Аронович. Я — как все.

Григорий Аронович любит, когда ко мне в подвал забегают молодые продавщицы. Он гордится, что я нравлюсь "этим шиксам". Он провоцирует их на откровенность, и прямо светится, если ему удастся вывести их на что-нибудь скабрезное.

— Я сам им всегда нравился, — откровенничает он со мной. — Ты только представь себе: я молодой парень, грудь, как у матроса! У меня был такой успех, какой у тебя еще не был. И где я работаю?

— Где?

— Представь себе, в цеху, где делают презервативы. Знаешь, что такое презервативы? Гандоны.

— Григорий Аронович, а корсеты?

— Корсэты — да. Я же не отрицаю. А презервативы — это уже потом. После корсэтов. Да... Так вот, в цеху двадцать девять молодых девок. Красивые!!! Ну? А я должен стоять и смотреть, как они своими красивыми руками с маникюром снимают гандоны со стеклянных этих... пробирок (я у них был по техконтролю). И пальцы такие ласковые, такие тонкие, как в кино... И ни-ни! Ни в коем случае! Что ты! Одна была из Кишинева... Влюбилась в меня, как малахольная! Она думала, я не понимаю! Я хоть и молодой, но по человеку же видно... Она, когда презерватив снимала, на меня совсем не смотрела, но так краснела, что я просто видел, с кого она его снимает... Мертвый бы встал... А я удержался. Не надо смеяться, это человеческая драма! Мы же живые люди! Но на работе это не делают. Особенно на такой. Ты не веришь? Вот ни разу! Ни с одной!.. А у тебя нет силы воли. Ты ни одной не можешь сказать "нет". Я же вижу. Они сюда бегают, как к себе домой...

А глаза прищурены, с лучиками морщин, улыбаются, слезятся. И капельки пота на выпуклой верхней губе. Затекают в глубокую ложбинку под носом.

— Кем должен быть художник-оформитель? — спрашивает он, улыбаясь.

— Последовательным! — уверенно отвечаю я.

Григорий Аронович. Он учит меня правильно прибивать гвоздиками ткань, складывать ее так, чтобы получались те или иные складки... Он вместе со мной обливается потом в "выносной" витрине и как школьник взалхлеб рассказывает о своей мечте: о витрине "динамической". Рассказывать он любит, он кажется себе Ираклием Андронниковым, он любит сцены, которые рисует...

— Динамическая витрина! Ты знаешь, что это такое? Я тебе скажу, где я встретил войну. Я был в витрине. Мы делали выставку-продажу к осеннему сезону. Сидел такой джаз-оркестр из кукол с пружинками внутри, и он должен был работать от моторчика. Я все придумал сам — первый в Одессе. В мастерской работало, а в витрине еще не пробовал. Ну вот, я это все смонтировал, включил репродуктор и стал наклеивать на стекло большие такие осенние листья. Думал, наклею, запущу оркестр и посмотрю с улицы, как получается. В левой у меня, значит, пачка листьев, правой я клею... И вдруг из репродуктора: "Говорит Москва...". И оп-пай, заяц! Сообщают насчет войны. Я прямо остолбенел. Стою так, с поднятыми руками, а листья из левой руки так и падают на пол витрины, так и падают... Медленно так, как в кино... Вот... Так с этим джазом ничего не вышло. Двадцать лет после войны прошло, а я все мечтаю... Простые манекены людям не нравятся, они на людей не похожи. А куклы с моторчиком похожи. Кнопку нажал, и они делают тебе, что положено. И под музыку...

— А для чего это, Григорий Аронович? Что они рекламируют, кому это нужно?

— О! Ты как эти! Они мне тоже устроили пресс-конференцию! Ничего, не бойся, у кого есть мозги, тот без всяких вопросов все понимает...

Как я тогда удивился! Что мог иметь в виду такой человек как Гойхман, таинственно говоря о куклах с моторчиком, похожих на людей? В те времена в любой фразе я готов был углядеть фигу в кармане, аллегория, протест...

Кем я должен быть? Ну конечно, последовательным! Уж кто-кто, а я знаю: не ваше это амплуа, Григорий Аронович, диссидентствовать. Даже

в мыслях вы не были способны, не то что в каких-то витринных акциях. Все я тогда подгонял под трафареты. Упрощал одно, усложнял другое. Любовался придуманными образами... А листья из левой так и падали, так и падали... Ничего такого не имели вы в виду, просто хотели видеть свою несбывшуюся динамическую фантазию, свой наивный джаз-оркестр с моторчиком.

Шел 65-ый год, мне пора было готовиться в институт, и я бросил старика вместе с его допотопной динамической витриной... В Одессе поступить не получилось, национальные проблемы встали во весь рост, и я уехал в Воронеж, который был полон студентами с Украины. Когда я вернулся, Валя Мячина уже укатила с мужем в Москву, пятидесятилетний (уже шестидесятилетний) художник уволился. Вдруг заболел и за какое-то полгода сгорел мечтатель Квазимоня, так и не узнав, что получил разрешение на выезд. Керамические плитки заменили мраморной крошкой... Но в самой главной витрине сидел бодрый джаз-оркестр во фраках и с бабочками и наяривал что-то, механически шевеля руками и головами. Самое главное случилось без меня. Григорий Аронович, мне одному доверивший свою мечту, соорудил все сам. Сам доказывал, пробивал, доставал, устанавливал...

Гойхман очень постарел, потух... Сидел дома. Меня встретил радостно, но быстро остыл. Оживился один раз, когда вспомнил, что мой отец фотограф.

— Попроси его, пусть сфотографирует мне динамическую витрину, они же спят и видят ее разобрать. У меня уже нет сил с ними бороться. Я тут встретил как-то твою маму, просил ее, но я не вижу результатов. Что она поделывает?

— Хорошо, Григорий Аронович, я передам. А как жена, как внуки?

— Тьфу-тьфу-тьфу... Все работают... Про фото не забудь...

Папа сделал фото. Не сразу. А потом, позже. Григорий Аронович уже умер. Я нашел это фото через много лет, когда умер сам папа. Оно лежало в конверте с надписью "Гойхман". Я присмотрелся к снимку, и мне показалось, что это и вправду, несколько веретенообразных гойхманов. Во фраках и с моторчиком, все еще вертящимся в моей памяти, но тоже уже потихоньку сбавляющим обороты...

1 мая 1949 года

Красные полотнища на облупленных фасадах старинных домов с утра горбатились парусами и опадали безвольной мотней поверх оконных проемов и разбитой лепнины. Прилизанные бороды и усы вождей по воле ветра грозно напрягались, и, казалось, вот-вот могли лопнуть от натуги, но щадящая стихия тотчас сплющивала набухшие щеки и выпяченные глаза. Лишь портреты в рамах, замершие в парадных минах, горделиво трепыхались под пощечинами и поглаживаниями весеннего воздуха.

На далеком небе, оторванном от земных забот, клочками взбитой ваты чинно покачивались редкие облака и бесстрастно озирали черно-белую твердь, принаряженную молодой зеленью.

Там, внизу, у самого вокзала, не доходя до гранитного идола с вытянутой рукой, потоки людей под дубасящий грохот духовых оркестров вливались из множества улиц в одну разбухающую колонну. Колонна ползла к деревянным трибунам, на которых со штампованными лицами, окаймленными "полубоксом", разместились городское руководство — на возвышении в центре — и те, что помельче, — на нижних боковых ярусах. Нижние ревниво поглядывали на верхних, а верхние торжественно взирали на колышущуюся у их ног многоликую реку. Временами одна из центральных фигур, одетых в длинные мышинные макинтоши и зеленые велюровые шляпы, с энтузиазмом махала рукой и выкрикивала в пузатый микрофон лозунги в честь любимого друга народов, любимой партии, любимой армии, любимой промышленности и многих других любимых... Горожане с вывернутыми шеями замедляли шаг, орали "ура" и с любопытством разглядывали живых начальников. Миновав трибуны, колонна расплескивалась на быстрые ручейки, которые устремлялись по боковым улочкам и переулкам назад, к старой части города.

Далеко позади, на круглой площади, толпа ленивой гусеницей растеклась по мостовой вокруг развороченного пьедестала от снесенного памятника Екатерине Великой, и дальше по мосту над припортовым спуском — до самого Нового базара. Громыхали производственные оркестры, выдувая из медной утробы радостные всплески маршей. В просветы звукового шквала врывались крики детей, свист "уди-уди", голоса взрослых и нахальные шалости одиноких гармоней. Пахло дешевой парфюмерией, потом, разлитым ситро и густым сапожным кремом. Весеннее солнце все решительнее заяв-

в мыслях вы не были способны, не то что в каких-то витринных акциях. Все я тогда подгонял под трафареты. Упрощал одно, усложнял другое. Любовался придуманными образами... А листья из левой так и падали, так и падали... Ничего такого не имели вы в виду, просто хотели видеть свою несбывшуюся динамическую фантазию, свой наивный джаз-оркестр с моторчиком.

Шел 65-ый год, мне пора было готовиться в институт, и я бросил старика вместе с его допотопной динамической витриной... В Одессе поступить не получилось, национальные проблемы встали во весь рост, и я уехал в Воронеж, который был полон студентами с Украины. Когда я вернулся, Валя Мячина уже укатила с мужем в Москву, пятидесятилетний (уже шестидесятилетний) художник уволился. Вдруг заболел и за какое-то полгода сгорел мечтатель Квазимоня, так и не узнав, что получил разрешение на выезд. Керамические плитки заменили мраморной крошкой... Но в самой главной витрине сидел бодрый джаз-оркестр во фраках и с бабочками и наяривал что-то, механически шевеля руками и головами. Самое главное случилось без меня. Григорий Аронович, мне одному доверивший свою мечту, соорудил все сам. Сам доказывал, пробивал, доставал, устанавливал...

Гойхман очень постарел, потух... Сидел дома. Меня встретил радостно, но быстро остыл. Оживился один раз, когда вспомнил, что мой отец фотограф.

— Попроси его, пусть сфотографирует мне динамическую витрину, они же спят и видят ее разобрать. У меня уже нет сил с ними бороться. Я тут встретил как-то твою маму, просил ее, но я не вижу результатов. Что она поделывает?

— Хорошо, Григорий Аронович, я передам. А как жена, как внуки?

— Тьфу-тьфу-тьфу... Все работают... Про фото не забудь...

Папа сделал фото. Не сразу. А потом, позже. Григорий Аронович уже умер. Я нашел это фото через много лет, когда умер сам папа. Оно лежало в конверте с надписью "Гойхман". Я присмотрелся к снимку, и мне показалось, что это и вправду, несколько веретенообразных гойхманов. Во фраках и с моторчиком, все еще вертящимся в моей памяти, но тоже уже потихоньку сбавляющим обороты...

1 мая 1949 года

Красные полотнища на облупленных фасадах старинных домов с утра горбатились парусами и опадали безвольной мотней поверх оконных проемов и разбитой лепнины. Прилизанные бороды и усы вождей по воле ветра грозно напрягались, и, казалось, вот-вот могли лопнуть от натуги, но щадящая стихия тотчас сплющивала набухшие щеки и выпяченные глаза. Лишь портреты в рамах, замершие в парадных минах, горделиво трепыхались под пощечинами и поглаживаниями весеннего воздуха.

На далеком небе, оторванном от земных забот, клочками взбитой ваты чинно покачивались редкие облака и бесстрастно озирали черно-белую твердь, принаряженную молодой зеленью.

Там, внизу, у самого вокзала, не доходя до гранитного идола с вытянутой рукой, потоки людей под дубасящий грохот духовых оркестров вливались из множества улиц в одну разбухающую колонну. Колонна ползла к деревянным трибунам, на которых со штампованными лицами, окаймленными "полубоксом", разместились городское руководство — на возвышении в центре — и те, что помельче, — на нижних боковых ярусах. Нижние ревниво поглядывали на верхних, а верхние торжественно взирали на колышущуюся у их ног многоликую реку. Временами одна из центральных фигур, одетых в длинные мышинные макинтоши и зеленые велюровые шляпы, с энтузиазмом махала рукой и выкрикивала в пузатый микрофон лозунги в честь любимого друга народов, любимой партии, любимой армии, любимой промышленности и многих других любимых... Горожане с вывернутыми шеями замедляли шаг, орали "ура" и с любопытством разглядывали живых начальников. Миновав трибуны, колонна расплескивалась на быстрые ручейки, которые устремлялись по боковым улочкам и переулкам назад, к старой части города.

Далеко позади, на круглой площади, толпа ленивой гусеницей растеклась по мостовой вокруг развороченного пьедестала от снесенного памятника Екатерине Великой, и дальше по мосту над припортовым спуском — до самого Нового базара. Громыхали производственные оркестры, выдувая из медной утробы радостные всплески маршей. В просветы звукового шквала врывались крики детей, свист "уди-уди", голоса взрослых и нахальные шалости одиноких гармоней. Пахло дешевой парфюмерией, потом, разлитым ситро и густым сапожным кремом. Весеннее солнце все решительнее заяв-

ляло свои права на шеи и подмышки, а сникшего к полудню ветра хватало только на ленивое перекатывание по земле шелухи подсолнуха, лопнувших надувных шаров и конфетных оберток. Люди маялись от безделья, лузгали семечки, перебрасывались шутками и обмахивались газетами. Минут через сорок многорядная масса с облегчением зашевелилась и медленно потянулась вперед. На круглой площади дали команду продвигаться к вокзалу.

Под мостом, из открытого окна на третьем этаже когда-то желтого дома разносился сиплый голос пластинки. У ворот на низкой табуретке сидела сдобная толстуха Клавка. Она старательно подвывала "как хорошо на свете жить..." и застиранным фартуком ритмично обмахивала дородную грудь. Просунув ладони под вырез лишнего платья, Клавка тыльной стороной остужала вспотевшую плоть, а потом опять принималась тереть фартук вверх-вниз... вверх-вниз... Перед нею, на расстеленной газете, стояли три полотняных мешочка с семечками трех сортов. В самом большом лежали три граненых стакана разной величины, из которых она отоваривала покупателей на пятнадцать, десять и пять копеек. При каждом ее подвывании воробы, сновавшие вокруг, откатывались на несколько метров и снова подскоком приближались к мешкам. Рядом с Клавкой, согнувшись над самой землей, сопел Мишка-Обрубок, безногий инвалид на квадратной доске с подшипниками по углам.

— Михайло, слышь, башкой стукнешься! Кыш! — Клавка всплеснула руками, чтобы отогнать нахальных птиц. Обрубок вздрогнул, открыл набрякшие мутные глаза и втянул в рот повисшую на губах слюну. Распрямившись, он привычно подхватил помятую оловянную кружку с несколькими монетами и затряс ею изо всех сил: — Подайте герою войны! Люди добрые, подайте на пропитание защитнику родины! Пожалте безногого моряка героического морского флота...

В проеме окна на втором этаже, над самой подворотней, показалась молодая женщина. Облокотившись о подоконник, она вполголоса попросила: — Пожалуйста, не кричите... здесь больная спит...

Обрубок закатил глаза и злобно завизжал: — Не хер меня учить! Меня, инвалида войны... ты, блядь, закопать мало... подстилка фашистская!

Вдруг по его отекающему лицу пробежала ухмылка. Он зажмурился и чмокнул губами: — Давай, Клавка, закурим!

Клавка вытянула из замусоленного лифчика пожеванную пачку папирос, прикурила две сразу и воткнула одну в рот Обрубку. Он перекатил папиросу в угол рта, затянулся с присвистом, покачался из стороны в сторону и почти беззлбно пробурчал:

— Жидовка!

Голова молодой женщины дернулась... и беззвучно втянулась в комнату. Обрубок откатился от Клавки, опустил кружку на землю и подхватил обшарпанную гармонь. Не выпуская папиросы изо рта, он загорланил "раскинулось море широко..." и самозабвенно выжал визгливые ноты из растянутых мехов.

— Тыфу ты, блядь, разорался! — Клавка подлом фартука отерла потную шею, — закопать... подстилка... Да не было ее тут... Они ж евреи... она с дитем и слепой мамашей в Сибири жила...

Обрубок кивал головой в такт нестройным звукам. На секунду он замер, сжал гармонь, вытянул изо рта папиросу и сплюнул под себя: — В Сибири бы и сидела! Не хрен было ворочаться... Их судой никто не звал...

— Балда ты, Михайло... как пить дать — балда... Сдались они тебе... Шо ты к ним привязался?

— Привяза-а-лся, — перекривил ее Обрубок, — защитница хренова... А кто при румынах жидовское добро из ихних фатер таскал? Нашлась добренькая... застыдила меня... А сама — негде пробы ставить! С немчурой выблядка кто прижил? Вот то-то... слокала, жирное жопало?..

Обрубок снова сплюнул и, поводя плечами, вызывающе уставился на Клавку. Клавка вскочила. Табуретка с шумом полетела на землю. Лицо Клавки сделалось красным, глаза сузились. Она отбросила папиросу и с зажатыми кулаками горой вздыбилась над Обрубком.

— Ах ты, рожа паскудная! Ты-то... ты-то... на что ты годеи? Ни мужик, ни баба! Напха-а-л! Мне?.. Да?.. Сволота вшивая!.. Я жить должна была... детей растить... Жорку, царство ему небесное, лечить надо было... Ты, что ли, о них думал? Пьянь сучья!

Клавка вдруг ухватила левой рукой за грудь и тяжело задышала... Когда сердце отпустило, она зло посмотрела на Обрубка и поднесла фигу к самому его лицу:

— Во! Ты у меня теперь получишь... и водочки стаканчик, и селедочку с картошкой! Как же! Приглашу! Держи карман шире! Дерьмо недорезанное!..

И Клавка больно ткнула Обрубка в лоб. Обрубок растирал рукой лоб и жалостливо тараторил: — Ну, ладно те... ну, сказал... сама виновата... вишь, я не в себе, а ты меня сверлишь и сверлишь... Я с войны калекой вернулся... по госпиталям и помойкам околачиваюсь, а они чистенькие и целенькие уехали и приехали... жидюки!

Обрубок умолк... и вдруг ни с того ни с сего заплакал. Он размазал грязные подтеки по лицу, потом закашлялся и скрючился в жалкий комок, сотрясаемый всхлипами и надсадными вывертами гортани. Клавка наклонилась к нему и стала то ли поглаживать, то ли постукивать по спине. Понемногу кашель затихал. Обрубок шмыгал носом и водил по кадыку грязной ладонью. Наконец, он пришел в себя и просипел:

— Они, Клавка, в теплом Ташкенте отсиделись, а теперь пожаловали... Враги они, Клавка!.. Ты газеты читаешь? Там написано, кто они есть... Как это слово?.. Космополисты! Вот! Вспомнил!

С моста неожиданно обрушился вальс "Амурские волны". Клавка поглядела наверх и поморщилась от шума. Она снова отерла фартуком шею и грудь, подобрала табуретку и поставила ее в тень. Тяжко охнув, она опустила свое большое тело и села: — Чистый балда! Ты-то хоть наполовину вернулся, а эта молодая мужа потеряла в самом начале войны... только два месяца и пожила с ним... А отец ее был военхирург... он с ранеными в Севастополе остался, так его немцы с ними же и пришили... а мог спастись...

Клавка отогнала назойливых птиц. Из окна сверху снова засипело "сердце...", и Клавка стала подпевать...

— Ты откуда про них знаешь? — Обрубок залез пальцем в рот, чтобы выковыривать крошку табака, застрявшую в зубах. — Плакалась она тебе, видать! А ты сразу жалостливая... слезки брызнули... Знаешь, сколько у них золота притырено? — Обрубок пытался сложить обе ладони, как бы прикидывая, сколько же показать. — Ты, Клавка, за ихнюю долю переживаешь, а они все падлюки, Клавка... падлюки... так шо ты на меня зря поперла... не жалеешь ты меня...

Клавка зачерпнула пригорошню семечек и стала забрасывать их в рот по одной. Скорлупу она сплевывала в левый кулак.

— От ты скажешь, Михайло! Как же я тебя не жалею? Да, я всех жалею... и тебя, дурака, жалею и детей моих и себя... и барынесу... Помру я скоро, Михайло... Страшно мне... за детей страшно...

Клавка смахнула слезы и высморкалась в кусок газеты. Покивала молча головой, а потом повернулась к Обрубку и сказала:

— И никакого золота у евреев нет. Эта молодая одну только обручалку носит. Она ее в Сибири у поляков на харч выменяла. Мне Ксения Адамна рассказала...

— Это кто такая? — спросил Обрубок.

— Так ведь барынеса! Я ж тебе говорила про нее. Помнишь? Про фотки ее рассказывала... Красивая была!..

— А при чем она к жидам?

— Как при чем? Она же им родня по брату... ну тот, которого убили в начале войны. Он на евреечке женился, и сразу на фронт его забрали... Полина ее зовут...

— Кого Полина зовут?

— Как кого? Евреечку эту молодую... Она за младшего брата барынесы вышла замуж перед самой войной... Теперь понял?

— А...а... понял... — Обрубок закивал головой, — а эта Ксения одинокая, что ли?

— Вроде есть у нее еще один брат... старший... да только вроде и нету его... Конструктор он чего-то там в Москве... генерал!.. Тоже как бы из бывших, только наш... Ксения Адамна, значит, после лагеря приехала к нему погостить, а жена его ей говорит, мол, ты сама должна понять, что жить у нас не можешь, потому что мужа твоего хлопнули, и сама ты лагерная... и все мы через тебя пострадаем... Ну, тогда Ксения Адамна уехала от них и приехала к Полине... Вот... А тут в ихней коммуналке померла чахоточная... гм-гм... и Ксения заняла ейную комнату...

Клавка икнула раз, другой... и потянулась к бутылке с водой.

— Какая чахоточная? — настороженно спросил Обрубок.

Клавка сбросила скорлупу из левого кулака в бумажный кулек и отерла руки о фартук: — Какая?.. Какая?.. Да, Юлька твоя, с которой у тебя до войны было... только барынеса тоже долго не протянет... Веер мне с перламутрой подарила, а на кой хрен он мне?.. еще поясок кожаный с пряжкой из чистого серебра... так он на мне и не сойдется никогда... может, Маринке моей будет, как подрастет... теперь таких не бывает... Шо они гремят на мосту как скаженные?

Обрубок не слышал ее. Он замер в неестественном наклоне и с неподвижным взором шептал: — Юлька померла... Юлька померла...

Клавка удивленно посмотрела на него и пожала плечами: — Ну, еще в прошлом году померла... Я ж тебе говорила... ты тогда в госпитале лежал...

— Не помню... ты мне не говорила... я этого не знал... это ты случайно проговорила... Жалко как Юльку!

Обрубок уронил голову и начал медленно раскачиваться на доске... лицо его искривилось, а невидящие глаза уперлись в далекую точку в глубине земли...

Клавка смотрела на него, понимающе кивала головой и покусывала губы. Через несколько минут она откашлялась и наигранно спросила:

— Так что, рассказывать про барынесу?
— Как хочешь,— бросил Обрубок,— шо мне до этой старухи?
— Да какая ж она старуха, Михайло? Ей только пятьдесят ... Ты бы видал ейные фотки. Одна особенная, на толстой кардонке... Она в пятнадцатом с офицериком снята... молоденький такой... хорошенький... Ты не поверишь, не то племянник Вранхелю, не то двоюродный брат... Она за того барончика вышла в двадцать первом, а в двадцать восьмом его пришили за какой-то там заговор, а ее выслали... дите забрали в детдом, а оно заболело в детдому и померло... потом в тридцать шестом отправили ее в тюрьму... ей повезло, что в тридцать шестом, а не в тридцать седьмом, так она говорит... Какое ж повезло, если упекли ее на десять лет в лагерь?.. Давай еще по сигарке? А, Михайло?

Клавка пальцем раздвинула сплюснутую пачку и вытолкнула из нее смятую папиросу. Обрубок разгладил папиросу, продул ее и чиркнул спичкой. Он затаился, перевел взгляд на Клавку и ухмыльнулся: — А ты, небось, глаз на ее добро положила?

— Трепло ты, Михайло. Тебе только б молоты! Какое там у нее добро! Юлькина железная кровать, этажерка с фотками и сундук с барахлом. Одно название "барыня", а на самом деле такая же нищенка, как Фроська. Только Фроська не из бывших, и никому до ней нет дела... а за барынесой в прошлую среду ночью опять приходили... Потоптались у ее кровати, пошептались и отправили посыльного в свою контору, а к утру совсем ушли. Я у барынесы в четверг утром прибирала, так она мне говорит: "Смерть выше жизни..." Я шо-то в толк не возьму. Ты как думаешь, Михайло, шо она хотела сказать? Мне неловко было ее спрашивать. Шибко она хвора...

— А хрен с ней, Клавка! Шо ты об ней стоко кудахчишь? Бывшая она, одним словом, а с бывшими одна холера! У них хоть в прошлом было... Шо говорить? Нема жизни! Да...а... и Юльки нема... Ладно, я в нору пополз. Дай еще парочку сигарок про запас. Слушай, сходи в магазин к вечеру, купи мне две пачки. Я тебе деньги потом верну. Ну, я отвалил... Сегодня ни хрена не подают... и потом жарко торчать здесь, а в подвале у меня в самый раз! Бывай, подруга!

Обрубок вздохнул, запрокинул гармонь за спину, сунул кружку за обшлаг засаленного бушлата и оттолкнулся от земли короткими деревяшками, зажатыми в обеих руках. Самокат загрохотал по булыжникам в подворотне... Вскоре все затихло, но ненадолго. Патефон на третьем этаже ожил, и опять из него выплеснулась все та же хрипая песня Утесова.

Клавка, кряхтя, согнулась, подобрала две монеты, оброненные инвалидом, и опустила их в мешочек для выручки, привязанный к платью под фартуком. Она и не заметила, как подбежал белобрысый мальчонка с красным шаром и маленьким флажком. Он протянул ей монету: — Мне серых, баба Клава.

Клавка перегнулась через все складки необъятного живота, зачерпнула серых семечек, присыпала малость сверху и опорожнила маленький стакан в бумажный кулек.

— На, хороший ты мой, грызи на здоровье, и мамке от меня привет передай. Передашь?

— Ага! — мальчик подхватил кулек и побежал вниз по спуску. Клавка смотрела задумчиво на подпрыгивающий красный шар, пока он не исчез за развалинами на самом краю спуска. Она вскинула глаза на третий этаж и старательно затянула "...спасибо, сердце, что ты умеешь..." Вдруг умолкла и прислушалась: из двенадцатой квартиры над дворовой уборной разносилась пьяная брань Кольки-милиционера, а потом покатился крик его жены Лизки-Мопсихи: — Помогите! Убивают! Сука!.. — и еще что-то неразборчивое и громкий плач...

По выходным Колька лупил Лизку то ли от скуки, то ли по привычке. И Лизка орала больше по привычке, потому что с болью уже давно свылась. К тому же и Колька иногда от нее получал будь здоров! Однажды даже вызвали скорую, и Кольке наложили швы на скулу. Клавка помотала головой: — А все ж с мужиком. Утром побьются, а вечером полюбятся.

Она разгладила газету на коленях, пробежала глазами надписи к фотографиям на первой странице и начала старательно разрывать ее по складкам на заготовки для кулечков. Со стороны Нового базара приближались гулкие удары нового марша: к мосту подходило пополнение.

Клавка неожиданно замерла и оглушительно чихнула. Испуганные воробьи стремительно разлетелись по деревьям. Даже собака за мостом перестала гавкать.

— К правде, — пробормотала Клавка и утерла фартуком нос. — К правде,— повторила она. — А к какой такой правде, мать ее?.. А к газете "Правде"! Вот!

И слоеное тело Клавки мелко затрясло от смеха.

Новые русские сказки

Иванушка-дурачок

Мы курили во внутреннем двореке библиотеки. О сказках не говорили, наблюдали мелкую пыльную жизнь как она есть. Воробей прыгал перед воробьиной, изображал птенчика: беспомощно трепетал крылышками, пищал, разевал клювик — вполне половозрелый тип, что вскорости было доказано наглядно. Оттоптал он воробью по полной программе. Подманил на материнский инстинкт — и оттоптал. А она-то, дура, кинулась к нему с корочкой хлеба — деточка моя, бедная голодная деточка... Воробей показал себя молодцом, и тут — как у Льва Николаевича в "Азбуке": "все засмеялись, а Ваня заплакал".

Это я — Ваня, Иванушка-дурачок, и ни при чем тут половые признаки вроде необходимости хотя бы иногда надевать бюстгальтер, который я подсадовски называю лифчиком. Иванушка-дурачок может быть и крестьянским сыном, и бомжеватой старушкой, и сорокалетней особой неопределенной внешности, девушкой-старушкой сомнительных занятий. Несомненен только материнский инстинкт.

- Ваша мама пришла, молочка принесла.
- Налейте нам, мама, портвейну.

Птенчик скачет по дорожке, отыскать не может крошки... Подобрала его Иванушка-дурачок, принесла домой, в мягкие перины уложила, пельменями из пачки накормила, за вином в ларек сбегала — расти, мой птенчик, глазки голубые, перышки льняные. Расти, моя ласточка, моя касаточка. Птенчик на "касаточку" обижается — хочет считаться мужчиной, стреляным воробьем. Ну как же мне, хоть я и дурачок, здорового мужика-то кормить-поить, ботинки на ночь расшнуровывать? Неловко как-то, не то что от людей — от себя стыдно. Будешь, дорогой, пока касаточкой — вырастешь, посмотрим, что ты за птица. А сама думает: "Орел, орел! Ну, в крайнем случае, сокол!".

Прожил орел у Иванушки-дурачка два года, причем вел себя безобразно: загадил всю квартиру, по ночам орал и падал с кровати, жрал как не в себя и обвинял Иванушку-дурачка в эгоизме.

Через два года материнский инстинкт у Иванушки как-то притупился, тем более что ласки от своего птенца она видела, скажем прямо, немно-

го. Распахнула девушка-старушка окошко и говорит: "Взвейтесь, соколы, орлами! И чтоб я вас больше, голуби мира, не видела!". Орел прямо не ожидал.

— Не ожидал от тебя, — говорит. — Мы ж с тобой сроднились. Ты же мне — как мать.

Это Иванушке совсем не понравилось. Нашел мамашу! Она была о себе совсем другого мнения. Опять же ласки хотелось, а не только "пи-пи-пи" и крылышки врозь.

Орел и сам спохватился, что он такое сморозил, и давай замазывать дыру в отношениях, да хитро так — Иванушка и поверила. Обещал сокол ясный отнести ее в страну вечной молодости и красоты типа клиника "Ренессанс". Иванушка не будь дурачком, прихватила с собой провианту не на сутки-двое, одних огурцов соленых восемь банок, капусты квашеной, колбасы две палки, ножик — колбаску нарезать, то-сё. Водочки, сколько — не скажу, но, примерно, чтоб хватило. Полетели.

Иванушка птицу свою кормит исправно, сама сладок кус не доедает, только нет-нет к водочке приложится — чтобы не так было больно за бесцельно прожитые годы.

Летят, летят — слева солнце садится, справа месяц всходит, внизу река — широкая, похоже, Днепр. На середине Днепра орел притомился, крыльями стал реже махать, повернул голову: "Дай мне, говорит, милая, мяса, хлеба, водочки...".

— А нету, — вздыхает Иванушка-дурачок, — все ты подъял подчитую, голубь ты мой сизорылый.

— Ну как же, — волнуется орел, — как же, вон же уже близко, там вдали за рекой, видишь, огни загораются? Это она, клиника "Ренессанс".

Иванушка-дурачок опять поверила, ножик достала, да вместо колбаски и отхватила себе кус мяса с левого бедра. А вместо водочки крови наточила. Орел плохого не почуял, похвалил даже: "Хороша, — говорит, — колбаска, сладка водочка...".

Так они еще долго летели — на Иванушке уже живого места не осталось, вены изрезаны, ноги в шрамах, жуть — да и только!

Наконец занес орел Иванушку в такие края, куда ворон костей не заносил, да и сунул ей под нос зеркало. Иванушка глянула в зеркало — залилась слезами горячими. Не бывать ей девушкой, поняла, вековать старушкой.

А орел взлетел на высокий дуб, посмотрел соколиным глазом налево-направо, видит: девица юная красоты неопишущей в стольном Киев-гра-

де за высокой стеной цветики собирает, не иначе, василечки. И песенку поет: "Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!". Встрепенулся орел, расправил могучие крылья — и был таков.

Говорят, женился и работает в стольном граде Синей птицей.

А Иванушка-дурачок побрела по дорогам, сперва по окольным, потом по прямоезжим, добрела до библиотеки — и устроилась там в отделе центрального хранения сказок. Только так дурачком и осталась: ни одной сказки до конца дочитать не может — плачет.

Царевна-лягушка

Счастье-то какое, какое счастье, тишина-покой, счастье, неужели это мне одной — тень густая, пруд зеленый, прохладный, лилия водяная — нимфея, красавица, прямо передо мной — белая, чистая, не гордится, мы с ней — сестры, обе одинокие, влажные, только я — зеленая, и это хорошо, лягушка и должна быть зеленой. Быть зеленой — и сочинять стихи. Сочинять стихи — и в голос, в голос! Кто сказал, что квакают лишь самцы, да и то лишь в брачный период? Послушали бы вы меня, одинокую лягушку! Нет, не надо, пусть никто не слушает — мне уединение нужно, прохлады, снизу мокро, сверху капает, нет, не может быть, чтоб это надолго! Точно кто-нибудь припрется, все разрушит, все испоганит — и не до стихов будет, не до стихов.

Я умная, не один облом в жизни, кому как не мне знать, что страх притягивает неприятности. Кто рожден для счастья, как квакша для болота, — тот о нем не думает, пребывает внутри. Быстро пребываем внутри, пока не началось! Не знаю, что конкретно, но ведь начнется, начнется... Это у меня душевный склад такой — депрессивный, объективно-то все хорошо. Хорошо, хорошо, прекрасно... Комары — тучами, ешь — не хочу! Но ведь комары тоже должны кого-то есть? Ведь они тут не для того только, чтобы я ими закусывала, сочиняя стихи, распластавши брюшко на плотной, округлой, замечательно влажной темно-зеленой ладони сестры моей, белой лилии, нимфеи? Долой дурные мысли, долой, нужно петь — петь, и все будет хорошо.

Лягушка, пой! Ля-ля-ля — это капель звучанье, гу-гу-гу — это вздохи пруда, ш-ш-ш — камышинок шуршанье, ш-ш-ш — тишина навсегда. Нет, я все-таки довольно талантлива. И удивительно хороша собой.

Люди, глупые люди, путают жабу и лягушку. Говорят, у лягушек — бородавки. Чуть! Это жабы — бородавчатые. Серые, бородавчатые жабы,

обитательницы огородов, охотницы на слизней. Впрочем, и в этом не вижу ничего дурного, но мы, лягушки, квакши, — гладенькие, словно нефритовые, сияющие зеленой кожей под дождем. Как я люблю дождь! Как я люблю свою прохладную лягушачью кожу!

О брат мой, дождь!.. Досочинять не вышло.

Дз-з-зынь! Шмякнулась прямо передо мной — длинная, острая, золотая, пестро оперенная. Стрела. Не иначе — царская. Кому, как не царям, в голову взбредет — по болоту с золотыми стрелами шастать. Теперь понятно, кем тут комары питаются, — царскими детками, шляются, недоумки, по болотам, золотыми стрелами разбрасываются, охотнички. Сейчас искать ее примется, все перетопчет, осоку переломает, воду замутит, нимфею, сестру мою, сорвет, полюбуется — и под ноги бросит, надо ему эту стрелу под нос подсунуть, фу, какая гадость, золотая стрела — во рту, немножко, немножко потерпим, пусть заберет, ведь увидит сразу, это же ему, небось, по приколу — лягушка со стрелой, и опять — тишина, влажно, стихи, счастье...

Куда, куда, куда? Нет, ну точно, недоумок, жениться! Жениться он собрался на лягушке! Да я же этих царевичей-королевичей на дух не переношу! А палаты царские? Окошечки слюдяные, крохотные, ковры тяжелые, пыльные, дышать нечем. Кухней пахнет! Цветы — и те регулярно поливать забывают.

Идиот, идиот — положит на подушку и будет Манечкой называть!

Что бы ему сделать, чтобы отпустил? Пирог испечь — да подавись ты, вот тебе пирог и тридцать три церкви на корочке, с колоколами и колокольнями! Мне это просто — как икры наметать. Рубашку — да на тебе рубашку! На твоему царю-батюшке рубашку с вышивкой — где он на троне, а вокруг бояре, да челядь, да народ восторженный, слюни пускает.

На тебе что хошь, только отпусти, отпусти меня в мой пруд зеленый, потаенный, прохладный... Сад-виноград, пруд-изумруд. На фи́га у них в спальнях топят — даже летом?

Красавицу ему подавай, красавицу, из левого рукава — лебеди, из правого... И чтоб плясала-вертелась, вертелась-плясала. Как дура какая-то.

Заездили, припахали... Пропала я. Попала. Пруд мой, прудик, зеленый, тенистый, влажный... Прощай, прощай, прощай...

Оставь мне мою кожу, оставь! Так и полыхнула в камине. Ладно, царевич, поплатишься ты у меня...

Донецк

На перекрестке судеб...

Любовь...

Когда хлопнула дверь и вылетело из неё стекло, ты остался по другую сторону жизни, а я вошла в комнату. По осколкам я уходила от себя. "Прощай" боялась я произнести, потому что там, куда я шла, никто не скажет мне "здравствуй". Странно, что через жалюзи всё ещё заглядывало солнце. Странно, что небо в маленьких щёлочках было не чёрным, а синим. Наверное, всё кажется странным, когда приходит решение. Я решила, что ты меня не любишь. Когда ищешь любовь, заглядываешь в глаза. Сегодня, когда я в них заглянула, увидела только холодный блеск ушедшей зимы.

- Что-то рано похолодало, — сказала я тебе.
- Нет, — ответил ты, — похолодало давно, просто мы не хотели это замечать.
- Тогда почему ты охладел только сейчас?
- Потому что холод — это непонимание меня тобой и твоим ребёнком.
- Ну, ведь это наш ребёнок.
- Дети ничьи — они вырастают.
- Дети вырастают, но, даже повзрослев, они хотят, чтоб их не только ругали, но и любили.
- Непонимание — это когда возражают.
- Непонимание — это когда не понимают.
- Понимать не обязательно, главное иметь одинаковое мнение.
- Мы запутались оба.
- Ты запуталась одна. Понимаешь, я не хочу, чтоб ты переваливала свои проблемы на меня.
- Да, я признаю, что это слишком часто делала. Но, может быть, я смогу ещё научиться... решать их без тебя.
- Ты без меня не проживёшь ни дня.
- Я знаю.
- Ты ничего не знаешь.
- Ты прав.
- Если я прав, почему ты возражаешь?
- Нет, я с тобой во всём согласна.

- Ты глупая, даже последней фразой ты мне возражаешь.
- Извини, я больше не буду.
- Нет, я знаю, что ты будешь.
- Нет, я не буду.
- Я тебе сказал, что ты будешь, а ты вновь возражаешь. Ничего у нас не получится...
- Да, ты прав! Ничего у нас не получится!..
- И они помирились.

Исповедь

- Ты женат?
- Нет. Но моя жена замужем.
- А кто твоя жена?
- О, она удивительная женщина, хрупкая и энергичная.
- А кем она работает?
- О, у нее удивительная работа. Она танцует... на радио.
- Тогда почему ты не женат?
- О, это удивительная история. Три года назад у меня случилась депрессия. Она на меня навалилась, и я в нее впал, трудно было со всем разобраться. Это случилось. Когда я наконец решился жениться. Мы больше 10 лет этого хотели и вот, когда наконец, тут-то и депрессия. Выход мы видели только один. Ей выходить за меня замуж, а мне не жениться. Поверь мне, мой друг, — это удивительное чувство свободы при живой жене!
- А как жена, не возражает?
- Нет, мой друг, она любит меня.
- А как у вас насчет супружеского долга?
- С супружеским долгом мы долго не могли разобраться.
- Ну и что, разобрались?
- Ну, почти, мой друг. Когда мы с ней, ну ты сам понимаешь, мой друг, в интимной обстановке она его выполняет, а я нет.
- Что-то я ничего не пойму.
- Ну, я, мой друг, как свободный художник. Это придает остроту нашим отношениям. Представляешь, жена всегда отдаёт и отдаёт свой супружеский долг в постели, и ещё ни разу не спала со своим мужем. Так что, мой друг, у меня все чудесно!
- Все чудесно? Рад слышать. А то по телефону у тебя был убитый голос, когда просил срочно с тобой встретиться.

— Да, мой друг, у меня есть некие проблемы. Поскольку я не муж своей жене, я каждый день должен водить ее по ресторанам. Ну, понимаешь, ухаживать и т.д. А зарплату в этом месяце задерживают. Выручай, мой друг!

— Я бы выручил, но я предпочитаю иметь друга, но сам при этом другом не являться, так что пока, до встречи. Если мне что-нибудь понадобится, звони... мой друг...

Соло для ногтей и рояля

Он улыбнулся так холодно, что моя слеза замерзла и, упав на пол, разлетелась как стекляшка. Когда он перестал мне улыбаться, я разучилась плакать и любить.

Я музыкант... потомственный. Говорят, что я играю на рояле как... — никто. Как глупо так говорить! Интересно, как кто играть я должна. И вот еще, когда так говорят, я ощущаю себя не особенной, а никем, поскольку эту фразу употребляют довольно часто. Я устала быть никем! Я решила стать кем-то!

Я выбрала для этого 1 января 2000 года. Начало века — достаточно символично. Найти спонсоров оказалось несложно. На перекрестке Двух Судеб (его так называли за то, что там оборвались две судьбы) для меня соорудили огромный стеклянный аквариум. Внутри стоял белый в синюю полоску рояль. Я пошла себе синее платье в белую полоску. Реклама утверждала довольно нескромно, что я буду импровизировать на этом рояле без сна и отдыха, пока он не вернется. И начну я в начале века. И я начала. Я играла и представляла, как он смеется над всей этой шумихой. Я не уверена, что он понимал, что это все из-за него.

Прошел век, а я все продолжаю играть. На меня уже вряд ли обращает кто-то внимание. Люди ко всему привыкают. А как интересно было вначале. Были споры, на меня даже ставили: сколько я продержусь. Он не пришел, но я все еще надеюсь. Я перестала стричь ногти, потому что клавишам больше нравится прикосновение ногтей, а не затвердевших подушечек. Мои ногти все растут и растут. Они сворачиваются в рулончик, забавно. Целый век импровизации, и все для него, хотя об этом я уже забыла.

Однажды, совсем недавно, он прошел мимо. Я окликнула его. Он остановился и сказал:

— Простите, но у меня другое имя, а так звали моего дедушку. Говорят, я на него похож. Вы, наверное, были его знакомой?

— Да, — ответила я, — я была его знакомой и твоей бабушкой. Мой внук улыбнулся:

— Что ж, я буду вами гордиться.

И я поняла, что дождалась его. И теперь я свободна!

Интервью с красным концом

Приёмничек или предбанничек?..

Мило, мило! А глазки над дверью в святая святых наглые (полстены занимают) и ощупывают, ощупывают всяк входящего.

Поежившись, войду.

— "ВАУ", чтоб не сказать больше. ПЕЩЕРА НЕНУЖНОСТЕЙ! Но со вкусом, со вкусом.

— Без спроса вошла? — вещички спрашивают как будто.

— Без спроса.

— Да... интересно... — вещички не успокаиваются.

— Кабинет ГЛАВНОГО всё равно, что душа человеческая. Заглянуть туда — дело щекотливое.

— А вдруг раньше времени вернётся, а ты без спроса?

— Это как повезёт. Ну, обложит хозяин трёхсложным, зато понятным людям языком и...

— Об "и" думать не стану, лучше поразглядываю. При ближайшем рассмотрении ненужности как будто нужнее становятся. Пощупать всё хочется, в карманчик положить (нравятся потому что). А вот характер хозяина определить по ним трудно. Говорят, вещички-то дареные, в основном. Вопрос первый вырисовывается: что дарено, что куплено? А далее, что нравится более — подарки или приобретения? Ну, может, вот так и разговор завяжется, чтоб я вернуть смогла "а дни — ступенечки, а жизнь, как лестница..." — кому б цитату приписать? Ну ладно, скромничать не буду, сама придумала. Так вот, самое главное выяснить хочется: насколько лестница крутая была, пока хозяином стал. С детства начинать бессмысленно, начну с приезда в большой город. Поездом (чух-чух) или самолетом? А, может, автобусом? Но, главное, что прибыл. Ждала ли публика городская героя своего? Наверное, не очень. Вот, разве что, толпа подхватила, в метро затащила. Помяла там маленько и в собственную машину выплонула. Неужто толпа виновата? Да нет же! С толпой смешаться такой, как он, не мог. "Сам во всём виноват", — кричала толпа и отказывалась лестницу вверх поддержать. Тогда герой наш облокотил эту

лестницу об небо и полез смело... А как лестница закончилась, просто летать начал. Всё выше и выше — кружит над ГОРОДОМ БОЛЬШИМ, и ведь не страшно. А может, страшно было, кто ж теперь признается. Вот и не буду спрашивать об этом. И, вообще, он первый меня спросит: "Вы ко мне?" — "Что вы! Я так просто заглянула", — отвечу. Может, поверит? Доверчивый, говорят. А, может, по себе других мерит. Хотя не похоже, что мог просто так к кому-то заглянуть. Время сжато, как лоб от напряжения. Ну, вот и не буду отвлекать. Буду со стороны рассматривать. Хотя со стороны нелегко. Разговор как-то о нём слышала: "Вот ведь был здесь — и уже нет. Вдогонку за ним туда, а там тоже нет". А я вот знаю где он — летает. Я тоже вроде как летать умею, но так высоко пока не могу. Приёмничек или предбанничек поутих. Чашки с кофе в руках. Салатик на столе секретарши. Беседа ни о чём очень важном. Только телефон не понимает, что ЕГО уже нет. И всё-таки что-то непонятное тревожит меня. Вот оно! Уловила! Дух гостеприимства! Переехал он с ним из города родного в город большой, что ли? Впору расчувствоваться от воспоминаний... Расчувствуюсь, но попозже. И всё из-за чего...

Одна дверь распахнулась, вторая... Сквозняк? Бог с вами, Главный это. Глаза горят напряжением.

— Вы ко мне?

— А то как же! — хор из десяти человек в ответ. И приёмничек или предбанничек оживает. У всех на лицах заинтересованность. И телефоны встрепенулись, из кожи вон лезут: мол, и нам Главный нужен. Вот он, прекрасный миг ожидания — кого выберет хозяин...

— По-моему, нашла в чём причина успеха — выбор правильный делать умеет, — подумала я и испугалась. Минут десять прошло, как я без спроса вошла, до того, как меня здесь хозяин застал. Но произошло-то за это время так много... успела я и оглядеться и в хозяина влюбиться. По вещам характер с внешностью быстро увязались. Как вошёл, ну копия тот, в кого влюбилась. Меня увидел и... прямо в лоб:

— Вы кто?

— Судьба ваша.

От неожиданности оба поперхнулись.

— Это кто так решил? — хозяин брови на щёки опустил.

— Не знаю... Просто... Ну, в общем... Короче..., — мычала я, понимая, что это мычание на него действует ужасно.

— Я вот с интерьером вашим слилась, не видно разве?

— Ага, значит вы мебель?

— Нет, я — сувенир, можно сказать даже, я — подарок.

— Кто прислал?

Какой вопрос дурацкий. Кто прислал? Кто прислал?

— Я прислала.

— Вы что же, сами себя мне в подарок?

— А что, если это самое дорогое и изящное, что у меня есть.

— Что ж, офис для такого сувенира расширять придётся.

— И я о том же.

— А пока в этот угол становитесь. И позу примите по красивее, соответственно интерьеру.

— Вы не переживайте, я вам интерьер ни за что не испорчу.

— А жизнь?

— А жизнь вашу я украшу, — и я такую позу приняла, что хозяин глаза выпятил, потом присвистнул, потом облизнулся и сказал, вернее, крикнул секретарше:

— Упакуйте мне её и домой отправьте. Пусть этот сувенир дома будет.

Упаковали меня в лучших магазинах или бутиках (пойди разбери их теперь). На это весь день ушёл. Я цвела и пахла. А секретарша причитала:

— Лучшая половина нашего коллектива уже сто лет к хозяину подбирается. И надо же! Выскочка! Знала б — не пускала в офис без спроса.

— Ну, ладно, не расстраивайся.

— Ну, ладно. Не буду. Пошли дальше. Хозяин сказал, чтоб ещё в свадебном салоне тебя упаковать. Завтра свадьба.

— Да знаю я. Интересно, что он мне на свадьбу подарит?

— Ты лучше подумай, что ему на свадьбу подарить.

Секретарша была мудрой, но простой, и я решила не отвечать, но подумала:

— А зачем? Я ему уже подарила. И любовь свою, и счастье будущей жизни семейной, и плюс интервью.

ПОЭЗИЯ

Виталий АМУРСКИЙ Стихи разных лет	153
Аркадий КОБЗЕНКО Шмелем пустым мелькнула осень.....	161
Михаил ЯСНОВ Праздник утрат	169
Аркадий ГУРОВИЧ Медитации	177
Виктор ДЗЮБА Триптих	183
Александр МАРДАНЬ Колыбельная незнакомке	186
Ирина БЕНЬКОВСКАЯ Гензель и Гретель	190

Виталий АМУРСКИЙ

О моих стихах

Предлагаемые тут стихи были написаны в разное время. "В плащах немодных, в стоптанных ботинках..." и "Бессонница" — в конце 60-х. Это — Москва. "Модильяни" и "Площадь Тертр" — осень 1970-го, в них отразились какие-то мои настроения, связанные с первой поездкой в Париж. Тогда я еще не представлял, что через три года советские власти, сделавшие из меня "диссидента" (коим я в действительности никогда не был), "предложат" мне навсегда покинуть родину, и, волею судьбы, я окажусь опять во Франции... Лето 1973 г., то есть период, когда в каких-то кагэбэшных инстанциях решалась окончательно моя судьба, было для меня временем исключительно трудным. Стихотворение "Не расти цветам под сапогами..." в определенной степени передает мое тогдашнее состояние. "Новогоднее" — своеобразный итог усталости. Какой-то внутренний провал... Получилось так, что, оказавшись окончательно во Франции поздней осенью 1973-го года, следующий, то есть, по существу свой первый год эмиграции, я встретил в тихом альпийском уголке, недалеко от Гренобля. Хозяева приютившего меня дома были люди приветливые, но привычек своих, как я понял, не меняли даже по праздникам. Часов в десять вечера, после ужина, во время которого был как-то помянут год уходящий, и сказано что-то дежурное по случаю наступающего, они отправились на ночлег. Я же остался в полном одиночестве в комнате с печкой, слушая, как гудит за окном ветер. Слава Богу, у меня были бумага и ручка. И бутылка вина... Строки, посвященные памяти Вадима Козового (1937, Харьков — 1999, Париж), родились значительно позднее. Он был исключительно одаренный человек — поэт, переводчик... В 1957 г., тогда студент МГУ, за участие в университетской подпольной группе арестован и осужден на 8 лет лагерей строгого режима. Отсидел шесть. Это — Мордва, печально известная ст. Потьма, п/о Явас. После освобождения обосновался в Москве, сделал немало для того, чтобы русский читатель смог познакомиться с творчеством Поля Валери и других французских поэтов. В 1981 г. эмигрировал. Жил и работал в Париже. Печатался во Франции, и — с 1990 г. — в постперестроечной России. 22 марта 1999 г. скоропостижно скончался в своей парижской квартире. В пишущей машинке его осталась страничка с незавершенным переводом Рембо. Я знал Вадима, бывал в той самой комнате...

Должен сказать, что за десятилетия жизни стихов мною написано, точнее — сохранено, не очень много. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить глубокую признательность друзьям-одесситам, чье душевное расположение и взаимопонимание согревает меня за тысячи верст, и особенно Евгению Голубовскому, — за предложение выступить в "Дерибасовской — Ришельевской" с этой подборкой.

В плащах немодных, в стоптанных ботинках,
В измятых шляпах

мокли под дождём

Пенсионеры — музыканты
кладбищенского грустного оркестра,
И звуки их блестящих труб
рыдали рядом с гробом человека,
Которого никто из них не знал.

Венчалась жизнь его в тот час
мелодией торжественной и строгой,
Где не было малейшей фальши,
Где было всё так искренне и чисто.

Потом лишь понял я —
те музыканты оплакивали вовсе не его,
А хоронили личные надежды
на жизнь, на славу, на удачу.
Они играли чисто, больно, свято,
под моросящим дождиком московским,
И трудно было различить, что там блестело:
Слезы или стёкла
очков, сползающих с носов.

Кого бы мы ни хоронили,
или случайно оказались рядом
С чужой бедой, —
Хороним мы всегда чуть-чуть себя,
Прощаемся всегда чуть-чуть с собой,
И нас пронзает траурная медь,
И мелкий дождь обрызгивает душу.

Я был на кладбище.
Стоял открытый гроб —
последние минуты плыло небо
Над тем, кто в нём лежал.

Над тем, кого я знал живым,
Кто в детстве мне конфеты покупал,
Кто мне когда-то подарил —
я не забыл её — немецкую трофейную игрушку.

Но странно было мне смотреть
не на него,

А на пенсионеров-музыкантов,
На их усталые, задумчивые лица,
Которые двоились и троились,
И странно надвигались на меня.

Бессонница

Весна. Капель. Или вода из крана.
Невидимых часов неспешный ход —
От Ветхого Завета, от Корана —
За веком — век, за годом — год.

Там — римских копий блеск и слезы Трои,
Истории "девятый вал".
Там — рушатся дворцы и троны.
Там создается Беломорканал.

Крушение, обновление мира,
Свист стрел и пуль, коней Батыя храп...

.....
Ночная тихая квартира.
Кап-кап... кап-кап...

МОДИЛЬЯНИ

Плечи милой текут
И таится, томится в глазах
 лебединый полет.
Так грустят лишь леса
 по осенним последним своим одеяньям.
О, законченный мир,
 как он сердце берет,
Как пропет, как пропит он тобой,
 Модильяни!

Что там шепчет нам дождь,
Нам, глядящим в холсты
с голубой пустотой женских глаз?
Сена. Тонут в тумане мосты.
Мы вдвоём. В первый раз.

Одиночество. Как это просто и глупо!
Всё — мура, был бы хлеб,
 были бы краски и кров!
Остальное — векам. Остальное — минутам.
Мы глядим друг на друга
 из своих одиноких миров.

Амедео, прости, что сказать
 не умею о дружбе,
Что я слов не найду
 у печальных полотен твоих.
Осень. Стынут последние лужи.
Этот ранний ноябрь нам один — на двоих.

Так поделимся им, так поделимся
 словом и цветом,
Разделяя на гаммы, на полутона
Лица наших любимых, бульвары, рассветы,
Мостовые, огни, тротуары, дома...

Площадь Тертр

Меня рисует итальянский мальчик
 И для приличья забывает про морщины.
 Конечно, что б продать портрет успешней,
 Но грустно это, потому что врёт художник.

Когда притихнет Тертр, мы отдохнем.
Мы посидим с тобой в кафе полночном.
Мне кажется, что стены эти помнят
Мориса Утрилло, Аполлинера...

Ноябрь. В России выпал первый снег.
Ну, что сказать о нем в парижском гаме?
Давай закурим и о том не будем,
Не будем — о парижском сплине,
о непонятной русской ностальгии...

Нет, этот мир парижский не умрёт
Пока твои глаза передо мною,
И где-то льётся джаз,
Как дождь осенний.

Не расти цветам под сапогами,
На могилах храмам не стоять,
Моцарту не жить в татарском геме,
И Христа вторично не распять.

Ну, так умирай же, моя юность,
В этом мире ханов и иуд...
Дай ей только, Боже, что б коснулась,
Хоть во сне коснулась милых губ.

Дай ей, Боже, пушкинского снега,
Пусть её палач — иной Дантес,
Дай ей каплю солнечного света
И немного голубых небес.

Дай вдохнуть того, что не успела,
То, что не растоптано ещё...

.....

Ночь плыла. Метель иль скрипка пела.
Пушкина читали. Плакало дитё.

Москва

Новогоднее

Мурлычет пламя в печке, как котенок.
За окнами метельная пора.
Как сладко после стужи и потёмок
Взгляд погрузить в горящие дрова.

Быть благодарным утлону уюту,
Перу, бумаге, кислому вину,
Часам, что в эту самую минуту
Минувший год уводят в темноту.

И, всем его обидам сделав скидку,
С беспечной и щемящей простотой
Послать ему печальную улыбку,
Себя поздравить с новой пустотой.

Французские Альпы,
деревня Мелан.

Как нищему, мне парк бросает медяки своей листвы
И дарит тишину светло и мудро.
Кого благодарить за это утро,
За жгучесть воздуха в преддверии зимы?

За синь небес и облаков неспешный бег,
За радость быть вне склок и суеты,
С природой говоря на "ты",
Не думая, который час иль век?

Ну, что с того, что жизнь полна утрат,
И тех, кто близок был, редет круг,
Когда по-прежнему мне Пушкин — лучший друг,
И Боратынский — верный брат...

Что в дни такие нас сближает и роднит?
Ветвей прозрачность, паутинок блеск,
Стремленье к перемене мест,
Родного языка родник?

Аллея Керн, забытая любовь,
Бульвар Никитский, Люксембургский сад... —
Всё позади, но холодок, как много лет назад,
"И с каждой осенью я расцветаю вновь..."

Н. Дронникову

Сколько раз среди городского гама,
Взятый в плен парижской суетой,
Бредил я стогами Левитана,
Нестеровской тихой красотой.

В зареве вечернего Монмартра
Пробуждал в душе стакан вина
Талый снег ююновского марта,
Серебро берез Головина.

И, случилось, что в конец усталый
Здесь не знал, не ведал я ночей
То от струн Высоцкого гитары,
То от гомона саврасовских грачей.

С улочки Латинского квартала
Виделись мне в небе журавли —
Может их Россия мне послала
Знаком нерастраченной любви.

Париж — Кретеи

Машинки пишущей ребро
И лампы полукруг.
Ещё тепла строка Рембо,
Но холодно вокруг.

И молча смотрят книжный шкаф,
Потёртый старый стул,
Как головой на стол упав,
Хозяин их заснул.

Ночной Париж. Остывший чай.
А где-то, сбившись с ног,
Спешит сказать ему: "Прощай!"
Мордовский ветерок.

Ник. Горбачеву

— Ну, как там, старина, в краю ином
Всё то, что ностальгией мы зовём?..

— Скажу тебе по совести, приятель,
Мне дым отечества и сладок и приятен,
Но грустно видеть, на родной стремясь порог,
Отечества сгоревшего дымок...



Шмелем пустым мелькнула осень...

И день, и ночь,
и промежутки,
навечно
втиснутые в сутки,
и сами сутки —
все творенье
бессменного земли вращения
и солнца, слепящего глаз.

О, день, мерцаешь, как алмаз,
и ночь,
царица твоих снов...

Сумерки — смерть.
Утро — утрата.
Ночи ко дню прикасаться не надо.

Но есть в году сутки волшебные,
два поцелуя кратчайше мгновенные.

Р а в н о с т о я н и е .

Встреча — прощание.

В ночи, в черноте
смерть с смертельной косой,
ее догоняет петух золотой,
рожденный из синей лазури.
А вдали за горой
есть шатер голубой.

Машинки пишущей ребро
И лампы полукруг.
Ещё тепла строка Рембо,
Но холодно вокруг.

И молча смотрят книжный шкаф,
Потёртый старый стул,
Как головой на стол упав,
Хозяин их заснул.

Ночной Париж. Остывший чай.
А где-то, сбившись с ног,
Спешит сказать ему: "Прощай!"
Мордовский ветерок.

Ник. Горбачеву

— Ну, как там, старина, в краю ином
Всё то, что ностальгией мы зовём?..

— Скажу тебе по совести, приятель,
Мне дым отечества и сладок и приятен,
Но грустно видеть, на родной стремясь порог,
Отечества сгоревшего дымок...



Шмелем пустым мелькнула осень...

И день, и ночь,
и промежутки,
навечно
втиснутые в сутки,
и сами сутки —
все творенье
бессменного земли вращения
и солнца, слепящего глаз.

О, день, мерцаешь, как алмаз,
и ночь,
царица твоих снов...

Сумерки — смерть.
Утро — утрата.
Ночи ко дню прикасаться не надо.

Но есть в году сутки волшебные,
два поцелуя кратчайше мгновенные.

Р а в н о с т о я н и е .

Встреча — прощание.

В ночи, в черноте
смерть с смертельной косой,
ее догоняет петух золотой,
рожденный из синей лазури.
А вдали за горой
есть шатер голубой.

Там грезы и рая виденья —
дары неведенья, забвенья.

Мираж пустыни —
водяные струи
разбрызжутся в ничто
в потоках желтой бури.

В иероглифе раскосые века
и юная Европа в колыбели —
когда бы друг на друга поглядели,
коль не было
монгольских лошадей.

Ресниц опущенное веко,
над морем крепость Хаджибей.

Установиться, устоять,
увидеть нити поколений
и, как в нирване, утонуть
в славянской лени.

Бояр, грузин
прищуренные лица...
На Молдаванке вполупьяно
из кухни улица струится.

Уже улякла.
Серп поблеклый
рассветом мразным
слепляет очи
сновидным пеплом.

На кончике засохшего стебля
увядшего цветка увядший лепесток
из глубины
античной вазы,
как будто бы зрачок кошачий.

Сюр-морт и арт-натюр.

В сплетеньях набухающих ветвей
и в промежутках промеж ними
хороваются тень тени,
отзвук умершего дня,
звуки

ду-
до-
чки
весенней.

Сюр-арт и vivo-морт.

На миллионы световерст
струится свет потухших звезд.
И этот свет звезды потухшей
вбирает глаз зрачок влекущий.

И если наших душ порывы
в бессмертье делают прорывы,
то как им можно миновать
сосущие пространство дыры...

С ослепших светофора глаз
слеза трехцветная струится,
чтоб поутру на тротуаре
росой бесцветной испариться.

Очарованье в слове нежность.
Звучит в нем: нежить и — не жить.

Струится ветерок прибрежный,
и очи хочется смежить.

Пары целуются в парке,
в парке химеры и парки,
карма —
Джульетта —
любовь.

Об асфальт шелковица
разбивалась в кровь.

Есть у Одессы ожерелье,
печальные глаза лиманов,
и запах их, живую прелью,
и живость их, обман туманов.

Есть у Одессы пектораль —
Эвксинский Понт.
И самоцветный Крым,
как брошь на нем.

Определились неопределенно.
Преодоленное начало
качало,
стыло,
есмь рожало.
И самость утекала в тмось
могильною плитой.

Преодо-непреодоленность,
нетленно тленная рожденность,

флюид над мертвою водой,
звук "Ми" под солнечной фатой,
полубубенчик на стекле,
гобой на свадебном столе
и стылый
колокола звон,
и есмь не в есмь,
и тон не в тон.

Из савана яйца лупится,
лунится
лунная карлица,
невеста лунного карла...

Предположим,
это горы.
Предположим,
мысль.
Предположим,
это рыбы.
Предположим,
жизнь.

Как хотите,
так крутите.
Не постигнуть сути суть.

Паутина белых нитей,
грусть
и Млечный Путь.

В Вашей руке папоротник,
к лесной реке тайный родник.
В лике у Вас та чистота,
что как цветов неприметных цветник.

В летнем лесу все дремота
и колдовской папоротник.

К Вам прикоснулся только на миг —
и безотчетно приник,
в Вашей руке папоротник...

В ночь на Ивана Купала
вскроет нам кладов завалы,
красным опалом раскрывшись на миг,
древний, как мир,

па-
по-
рот-
ник.

Как судьбу, заклинали названья
над болотной, сонной рекой:

Петербург, Петроград, Ленинград...

Не кирпич лег в его основанье,
череп и остов костяной,
Молох, морось и жертвенный глад.

Петербург, Петроград, Ленинград...

Как взор взрывает ткань одежды,
чтобы увидеть нас нагих,
так дух, прорвавшийся чрез вежды,
гуляет в кладовых
души,
где явное — неявно,
а тайное — как скисшее вино.

Над речкой ласточки летают,
поля устали от жнивья,
кузнечик ножками читает,
возможно, книжку Бытия.

Из ничего выходят горы,
из ничего растут леса,
и море не имеет ложа,
но твердь имеют небеса.
Весна возможна среди стужи,
рассыпаны в асфальте лужи,
и в пробуждении цветков
уже есть осени примета
отдельных опадающих листков.

Но странно видеть среди лета
в аспидных

извивах
асфальта
тяжей

боль содранного снега
и тяжесть площадей.

Внутри очерченного круга
сейчас сплошь ночь,
не жди зари.
Никчемны добрые цари.

Возьмите, твари, топоры,
рубите ими друг вы друга,
как наши предки исстари —
пока не влюбится друг в друга.

О, дар божественной любви,
не дай остыть нам на досуге,

иначе в жертвенной крови
мы захлебнемся друг на друге.

Вербёнка, плачущий палач
в жестоковыйном оке Бога.

Кормится одинокий грач,
снежно, морозно — и дорога.

Жабер, вереск, роговицы,
в клюве посох
пленной жрицы,
раздвоенный язычок,
наклеенный на зрачок.

Сухой листок,
цветной лепесток
утонули в шелесте листьев.

Из всех для всех открытых истин —
желтеющий ковер листвы,
дерев скудеющая сень,
поля засохшие травы,
непостоянная погода —
чертежик перелома года.

Какая пряность златоцвета...
Шмелем пустым мелькнула осень
на бабьей паутинке лета.

Праздник утрат

1

Уже клонирована Долли
и все, что прожито, не в счет.
Стою один на поле боли —
не знаю, кто меня спасет.

Пока сбегаетесь на луг вы
смотреть на новеньких харит,
я неспеша из каждой буквы
клонировую свой алфавит.

Но он — ему-то что за дело? —
лишь повторит, что я храню.
И все, что прежде наболело,
опять болит сто раз на дню.

2

Уйдя из-под ножа,
гляжу вперед со страхом.
Держава, Дева-ржа,
пусть меч твой станет прахом!

Покуда наяву
саднит и ноет в венах,
посыплет им главу,
как пеплом убиенных.

3

Прожив эпоху Гимностроля,
я заглянул, как прежде, в ночь.
Такую жизнь назвать сestroю
опять становится невмочь.

иначе в жертвенной крови
мы захлебнемся друг на друге.

Вербёнка, плачущий палач
в жестоковыйном оке Бога.

Кормится одинокий грач,
снежно, морозно — и дорога.

Жабер, вереск, роговицы,
в клюве посох
пленной жрицы,
раздвоенный язычок,
наклеенный на зрачок.

Сухой листок,
цветной лепесток
утонули в шелесте листьев.

Из всех для всех открытых истин —
желтеющий ковер листвы,
дерев скудеющая сень,
поля засохшие травы,
непостоянная погода —
чертежик перелома года.

Какая пряность златоцвета...
Шмелем пустым мелькнула осень
на бабьей паутинке лета.

Праздник утрат

1

Уже клонирована Долли
и все, что прожито, не в счет.
Стою один на поле боли —
не знаю, кто меня спасет.

Пока сбегаетесь на луг вы
смотреть на новеньких харит,
я неспеша из каждой буквы
клонировую свой алфавит.

Но он — ему-то что за дело? —
лишь повторит, что я храню.
И все, что прежде наболело,
опять болит сто раз на дню.

2

Уйдя из-под ножа,
гляжу вперед со страхом.
Держава, Дева-ржа,
пусть меч твой станет прахом!

Покуда наяву
саднит и ноет в венах,
посыплет им главу,
как пеплом убиенных.

3

Прожив эпоху Гимностроля,
я заглянул, как прежде, в ночь.
Такую жизнь назвать сestroю
опять становится невмочь.

Летит невольничья галера
за оперенный небосвод,
где Пушкин выпьет за Глиэра
и Михалкову подпоет.

4

Праздник — это выйти и шататься,
и лежать в блевоте и грязи...
Я не знаю хуже святотатства,
чем народный праздник на Руси,

где, наскучив транспортом казенным,
по газонам топчется ОМОН,
и течет под колокольным звоном
сукровица праздничных знамен.

5

В зеленом тумане растаяв,
лихой собиратель примет,
снимает фотограф Китаев
тот город, которого нет.

Он дерево высмотрит или
фронтон в вековой пыли,
глядишь, а модели — срубили,
срубили, сломали, снесли.

Он город по кадрам отстроит —
положит в альбом и тетрадь...
А все же, пожалуй, не стоит
в его объектив попадать.

6

Умер бомж. Как сидел на пеньке в саду,
так и умер. Теперь он сидит в аду
на своем пеньке, при своих бобах.
В рай его не возьмут — слишком скверно пах.

Как взирает с небес, кто живет в раю,
нам известно. А этот глядит в свою
то ли щель, то ли прорезь, во тьме таясь.
Что он видит сверху? Только пыль да грязь.

Видит корни пенька на своем дворе,
две чужие подошвы — дыра к дыре,
да бутылки, подобранной рядом, дно,
как дневное — сквозь толщу воды — пятно.

И когда наклоняется сверху тот,
кто ревниво бутылку свою блюдет,
этот, снизу, глядит сквозь невидный лаз
на явившийся в горлышке бледный глаз.

7

Из мира, пахнущего тенью,
я выхожу на белый свет
с локтями, черными от чтенья
свежих утренних газет,

и в мире тополиной пены,
светящейся за пядью пядь,
учусь из тени постепенно
и привычно выпадать,

как из зеленой оболочки —
горох, покинувший стручок,
как из последней этой строчки
выпадает первый слог.

8

Те, кто нынче празднуют победу,
словно мышки, серы и тихи.
Не сходили в детстве к логопеду —
вот и принялись писать стихи.

Им не выговорить слов опасных,
Оттого и мил унылый стеб.
Сколько же проглочено согласных,
сколько гласных выпито взахлеб!

Тем, кому простой язык неведом,
по душе невнятный бред молвы.
Тише, дети!
Лучше дайте дедам
досказать, о чем мычите вы!

9

Начинаю новое столетье,
как воздушный замок на песке.
Выдал опечатку: стоскелетье —
подсознанию сладко быть в тоске.

Божьи твари крылышки сложили,
в кокон превратились лепестки,
все учителя уже в могиле,
в гили и во мгле — ученики.

Начинаю новый век тарзаний
без родни, и предков, и корней.
А поэтика иносказаний
чем невероятней — тем верней.

10

Ты становишься женщиной с темным прошлым —
я дотошным с тобой становлюсь и дошлым.
Как меня ни голубит твоя ладошка,
светлым будущим здесь и не пахнет, крошка.

Все размыто, разъято, и нет ответа
там, оттуда, где стерты места и даты.
Шепелявое "что-то" с гундосым "где-то"
собрались, точно в гетто, в одном "куда ты?".

Я не знаю, куда ты, не знаю, что там,
где за окнами воет судьба-шакалка.
Я во сне по утрам обливаюсь потом —
у меня на примете своя закалка.

11

Вспоминаю о давней минуте,
как о только что прожитом сне.
"Поцелуйте друг друга — и будьте!" —
Глеб сказал на прощание мне.

Телефонную трубку нелепо
всю судьбу у виска продержать:
я глазок в это черное небо
никогда не смогу продышать.

Глеб Сергеевич! К той голубятне
нам дорогу уже не забыть.
Оказалось куда вероятней
с этим ветром и сумраком — быть.

И, взлетая над пашней и пожней,
меж воздушных колдобин и ям,
оказалось куда невозможней
прикоснуться губами к губам.

12

Черемухой пахнет цветущий миндаль —
мне этой строки неожиданно жаль:
осталась никчемной, бездомной,
лежит себе в папке укромной.

А жаль — потому что явилась на свет,
и вот уже брезжит неясный сюжет,
его застеклить и обрамить
спешит пробужденная память.

Не стоит ходить вперемишку с толпой:
сюжет — это то, что случилось с тобой.
Но сладкий миндаль отчего-то
горчит, как семейное фото.

13

Оттого, что не держал застолий,
не терпел хмельную трепотню,
волей оказался и неволей
срезанным, как песня на корню.

Свой успех другие догорлают —
в этом хоре он, как рыбка, нем,
но никем не пойман и не нанят,
и не понят, в сущности, никем.

Отвернувшись, он сидит над бездной
у окна — и, кажется, вот-вот,
беспольный, но предельно трезвый,
счета со стихиями сведет.

14

Вовсю свистят — а все в снегу, все голо.
Чирикают, забравшись на забор.
Когда б мы знали, из какого соло
произрастает этот бравый хор!

И тинькают синицы из тумана,
и голуби воркуют на бегу...
Но тот, кто начал, — начал слишком рано
и, распахнув гортань, лежит в снегу.

15

Жизнь предполагает одиночество —
то есть, вдохновение и творчество,
но с годами все большее хочется
невеселой мысли потакать,

что, напротив, только одиночество
может эту жизнь предполагать.

16

В пространстве, очерченном снами и зданиями,
свою дорожку привычно торя,
жизнь прожита
между двумя изданиями
Академического словаря.

Язык еще не успел измениться,
перечень новой лексики краток,
зато к судьбе
на последней странице
приложен перечень опечаток.

И это разумно: на удалении
в годы
придется еще не раз
вспомнить о правильном ударении
и построении верных фраз.

17

Среди боевой воркотни,
осилив бывлые ухабы,
не кайся, — хотя бы вздохни,
не веруй, — но вспомни хотя бы.

Кровавая, льнет — как камедь
к разверстой альбомной странице —
судьба Ни-о-чем-не-жалеть
к судьбе Ничего-не-стыдиться.

18

Мне стыдно просыпаться каждый день.
За окнами — парад постыдных дел.
Под окнами ползет чужая тень,
чужая тень родных и близких тел.

За полстолетья все успело сгнить
до копошенья вшей, до свиста гнид,
и Ариадна потеряла нить —
теперь ее никто не сохранит.

Здесь бродят оголтелые стада,
выискивая зерна чахлых дат.
И некуда деваться от стыда
на ежедневном празднике утрат.

19

Уставил на небо очкастые глазки:
все меньше надежды, все больше опаски, —
и ежели в этом урок бытия,
то, значит, учителем мог быть и я.

Санкт-Петербург



Воровство

1

Жизнь целую назад
Мальчишка,
Абрикосный вор,
С другими я перелезал забор
В соседний сад.
Из сердца
По груди
Стучали молотки —
Всё ждал,
Что вот ночную темень разорвут свистки,
И позади
Раздастся выстрел —
Дробь
Ударит по спине.
Испуган,
Бел,
Я фруктов всё-таки хотел,
Хоть было страшно мне.

2

Влюблённый
Перезрелый
Дон
Жуан,
Как вор,
Я набираю телефон.
Хоть знаю —
Донна Анна занята.
С ней Командор.
А на стене
Распята жизни суета.
И снова страшно мне.

За полстолетья все успело сгнить
до копошенья вшей, до свиста гнид,
и Ариадна потеряла нить —
теперь ее никто не сохранит.

Здесь бродят оголтелые стада,
выискивая зерна чахлых дат.
И некуда деваться от стыда
на ежедневном празднике утрат.

19

Уставил на небо очкастые глазки:
все меньше надежды, все больше опаски, —
и ежели в этом урок бытия,
то, значит, учителем мог быть и я.

Санкт-Петербург



Воровство

1

Жизнь целую назад
Мальчишка,
Абрикосный вор,
С другими я перелезал забор
В соседний сад.
Из сердца
По груди
Стучали молотки —
Всё ждал,
Что вот ночную темень разорвут свистки,
И позади
Раздастся выстрел —
Дробь
Ударит по спине.
Испуган,
Бел,
Я фруктов всё-таки хотел,
Хоть было страшно мне.

2

Влюблённый
Перезрелый
Дон
Жуан,
Как вор,
Я набираю телефон.
Хоть знаю —
Донна Анна занята.
С ней Командор.
А на стене
Распята жизни суета.
И снова страшно мне.

Медитации

О странностях грамматики

1

И каждый вечер,
В час назначенный,
Иль это только снится мне?..
Александр Блок.

Глагол,
А перед ним частица НЕ.
Тебе не знать,
Не думать обо мне
И не грустить.
О, незачем и нечем:
Я до сих пор
Тобою не замечен
На противоположной стороне.
Но с гордо поднятою головой
Идут ко мне местоименья
ТВОЙ,
ТВОЯ, ТВОЁ, ТВОИ, —
Я слышу пенье,
Когда чудесные местоименья
Любимых глаз нахлынут синевой.
Волненьем юношеских rendez-vous
Я помню ту,
Другую синеву
Шатра над золотыми куполами,
Где обольщение плывёт в рекламе,
Сулящей рай во сне и наяву.
Несбыточное в предрассветном сне
Безумных слов сложенье в вышине.
Но не буди, пусть длится небылица, —
Глагол,

Промолвленный тобой,
Мне снится.
Проснусь с надеждой, —
Вдруг исчезнет НЕ.

2

Пока играют мне Бородина,
Придёт глагол во времени прошедшем,
Сметая все другие времена;
И снова я в том вихре сумасшедшем

Моей Москвы, куда летал гулять
В поток людей и в уличные звуки,
В ту моду обуви на каучуке
Неисчислимость оттепелей вспять.

Возьму блокнот с утерянным листком
И вспомню вереницу прошлых связей;
Он — грань в уже мутнеющем алмазе,
Всё реже вынимаемом тайком;

А в нём давно забытый телефон,
За цифрами которого стояли
Восторженные слёзы двух миндалин
И блики отражённых в них окон.

Тверская, малое кафе и вид в окне —
Упрёком незаслуженной разлуки
Навек застывший Юрий Долгорукий
На неподвижном, как и он, коне.

Угрюмым настоящим осуждён,
Хочу быть снами взятым на поруки
Опять туда, где стынет Долгорукий,
Тоскою к пьедесталу пригвождён.

Откройте в прошлое мне тайный лаз,
Сны осени! Среди деревьев голых

Хочу взамен спряжения глаголов
Быть пленником миндалевидных глаз.

3

По детским сказкам помнится оно,
Но быть все сказки отменила в школе,
Иную глубину и важность роли
Придав наречию ДАВНЫМ-ДАВНО.

С течением лет (не месяцев, не дней!),
Когда на празднествах сгорели свечи,
ДАВНЫМ-ДАВНО, живая связь с прошедшим,
Становится всё глубже и важней.

В огнях и блёстках цирка шапито
Я был ребёнком в ожиданье чуда,
Что вот появится из ниоткуда
И утечёт водой сквозь решето.

Я помню руку сильную отца,
А в сердце льдом испуг канатоходца,
Которому немного остаётся
Пройти с шестом до самого конца.

Вся жизнь — восторг и страхи шапито:
Для юноши, вступающего в близость,
Интимность как возвышенность и низость, —
Пусть знают все, но чтоб не знал никто!

Давным-давно.
Я уношусь в Москву.
История: любовь без хэппи-энда
Сто раз себе повторенной легендой
О столь же многократных rendez-vous.

Был твой звонок.
И разговор о нём:

Его отъезды. Главное — работа!..
И в нетерпенье кажется моём,
Что я лечу быстрее самолёта.

Ещё минута, — и надёжен, твёрд
Бетон под бешеным шасси помчится,
Как будто, приземляясь, чует птица —
Её встречать пришли в аэропорт.

Когда съестное впрок припасено,
Командой За город, где запах трав густ!
Погонит на природу душный август.
Да, не забыть грузинское вино.

Парк.
На лужайке жарят шашлыки.
Движения зубов как процедура
Срыванья сочного куска с шампура,
Который взят тобою в две руки.

А губы
(От помады ни следа!),
Покрытые блестящим слоем жира,
Объект воображаемого пира,
Того, что я запомнил навсегда.

Я и теперь ответить не смогу,
Как после мяса, лука и редиса
Мог пахнуть горькой мятой и анисом
Десерт твоих неизъяснимых губ.

— Не здесь! — ты мне шептала, — раньше в душ.
— Домой? К тебе? Но у тебя Алёнка!..
— Сестра, спасибо ей, взяла ребёнка,
Пока торчит в командировке муж.

Я первым быть хотел. Началом дня.
Смеялась ты: В начале было Слово!

И что ребёнок твой был от другого
Терзало тайной ревностью меня.

Ребёнку было около шести!..
О, воспитанье русских коммунистов, —
Мы шли к дивану — и твой крест был истов,
Что означало: Господи, прости!..

Я вновь над облаками. Там, на дне
Твой город, словно остров в океане,
Где сохранились вмятины в диване
Легендой о тебе и обо мне.

Вовек невыводимое пятно
На ткани памяти, пока живётся.
Я детский страх за жизнь канатоходца
Храню в наречии ДАВНЫМ-ДАВНО.

Лос-Анджелес

ТРИПТИХ

Винсент Ван Гог

(1853 — 1890)

Ван Гог без устали писал —
Картины шли сплошным потоком.
Но труд Ван Гога не спасал —
Он нищим был и одиноким.

Опять в бордель вернулась Син,
Лишив его тепла и ласки,
Но все же золотом с картин
Сияли солнечные краски.

В любви Винсенту не везло.
Ну что ты скажешь, в самом деле:
Опять влюбился, как назло,
В очередную из борделя.

Ван Гог ее боготворил —
(Она была тростинкой хрупкой)
Не упрекал и не корил,
А называл ее Голубкой.

Голубку — птицу напоказ —
Не тяготила эта клетка.
Она спросила как-то раз:
— Ты почему приходишь редко?!

Ну не стесняйся, говори.
— Да денег нет, — сказал он сухо.
— Тогда отрежь и подари
Ты мне свое смешное ухо!..

И что ребёнок твой был от другого
Терзало тайной ревностью меня.

Ребёнку было около шести!..
О, воспитанье русских коммунистов, —
Мы шли к дивану — и твой крест был истов,
Что означало: Господи, прости!..

Я вновь над облаками. Там, на дне
Твой город, словно остров в океане,
Где сохранились вмятины в диване
Легендой о тебе и обо мне.

Вовек невыводимое пятно
На ткани памяти, пока живётся.
Я детский страх за жизнь канатоходца
Храню в наречии ДАВНЫМ-ДАВНО.

Лос-Анджелес

ТРИПТИХ

Винсент Ван Гог

(1853 — 1890)

Ван Гог без устали писал —
Картины шли сплошным потоком.
Но труд Ван Гога не спасал —
Он нищим был и одиноким.

Опять в бордель вернулась Син,
Лишив его тепла и ласки,
Но все же золотом с картин
Сияли солнечные краски.

В любви Винсенту не везло.
Ну что ты скажешь, в самом деле:
Опять влюбился, как назло,
В очередную из борделя.

Ван Гог ее боготворил —
(Она была тростинкой хрупкой)
Не упрекал и не корил,
А называл ее Голубкой.

Голубку — птицу напоказ —
Не тяготила эта клетка.
Она спросила как-то раз:
— Ты почему приходишь редко?!

Ну не стесняйся, говори.
— Да денег нет, — сказал он сухо.
— Тогда отрежь и подари
Ты мне свое смешное ухо!..

У этой шутки был итог
И жуткий, и неповторимый:
Так сделать мог один Ван Гог —
Отрезал ухо для любимой.

Велимир Хлебников

(1885 — 1922)

— Но-о-о, Каурка! — кричал возница,
Не стесняясь всю орать,
Транспортируя из больницы
Велю Хлебникова умирать.

Лошадь выделил Луначарский! —
Да ему уже все равно.
Приказал провезти по-царски,
А везут его, как бревно.

— Но-о-о, проклятая божья кара.
Ах ты, Господи, нас прости:
Председателя, — но-о! — земшара
Так мы можем не довести...

Но-о-о, собаки тебя бы съели —
Зарабатывай на овес!
Тпр-р-ру. Приехали! Как велели —
Слава Богу, живым довед...

Он окинул свои "хоромы":
Койка старая, стол да стул.
И сказал: — Вот и все. Я — дома.
Успокоился и уснул...

Хоронили в костюме старом.
И без почестей. В суете...

"Председатель Земного шара"
Все же выбили на плите.

Виктор Некрасов

(1911 — 1987)

На кладбище Сент-Женевьев де Буа
Чужие цветы и чужая трава,
Чужая и малопонятная речь,
Где в землю чужую пришлось ему лечь.

И если заходит о нем разговор,
То он и не Виктор уже, а Виктёр.

А где-то за Волгой шумят ковыли —
Родные окопы травой поросли.
Истлели в окопах останки друзей,
А книгу о них поместили в музей*.
Некрасова помнит еще Сталинград,
Но он никогда не вернется назад.

Овеянный славой,
опутанный лжой,
Лежит он в Париже
в могиле чужой.

* Повесть "В окопах Сталинграда".

КОЛЫБЕЛЬНАЯ НЕЗНАКОМКЕ

Сомкнутые веки, а за ними день,
От луны, сквозь тучи, над диваном тень,
Лето наступило, отцвела сирень,
Всё вокруг затихло, шевельнуться лень.

Сладкая усталость, мыслей хоровод, —
Что за день случилось, что произойдёт.
Всё ровней дыханье, сердце бьётся в такт.
В жизни беспокойной — маленький антракт.

Отпустите мысли, наслаждайтесь сном,
Пусть вас не тревожат звуки за окном,
Пусть усталость ваша вся пройдёт к утру,
А о снах вам скажут — это всё к добру.

Если вы не верите в толкованье снов,
Всего психоанализа основу из основ,
Пусть тогда вам снится тех цветов букет,
Что вам подарили в восемнадцать лет.

Пусть приснятся море, яхты и друзья,
Первые признанья, что забыть нельзя,
Гроздь винограда, вкусное вино —
Вот вы и уснули, как в немом кино...

Лето, прошлый век

ТРАВМА УЗНАВАНИЯ

В моей незапертой квартире
он нежен и заботлив был
и пах, как все, подобно мирре,
как все, но отражений не любил

Наверно не хотел со мной встречаться
глазами, что смотрели из зеркал.
А, может быть боялся расплескаться,
увидев то, чего так долго ждал.

О простыни, что кроют зеркала
и прячут безутешность иль поспешность,
он в вас пришёл закутан со двора,
чтоб не заметили чужую внешность.

В моей незапертой квартире
все живы, кроме ничего,
а ничего так много в этом мире,
что вряд ли кто заметит одного...

ПАРИЖ

Простор и шарм Больших бульваров,
Чугун ажурного литья на них,
Кафе, что стали частью тротуаров,
И на монмартровском портрете штрих.

Ты бесконечность, сжавшаяся в сердце,
Стучавшем в грудь, хоть раз, у арк твоих.
Пусть ты не вечен, но бессмертен
Соблазн изящный, моды стих.

Ты праздник для гостей и будни для хозяев,
Твой аромат вобрал в себя весь мир,
По-прежнему красив, богат и обожаем
Моей и многих юностей кумир.

НЬЮ-ЙОРК

Город "жёлтого дьявола",
Век тебя не поймёшь,
Но на "красного" тёзку
Ты совсем не похож.

Дни стремительно мчатся
Из рассвета в закат.
Им судьбу сумасшедшую
Ты даёшь напрокат.

То ты прост, то ты гений,
Не забудь про меня,
Город искор и теней
От надежды огня.

ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Не зная первых десяти
(Законов Божьих не учили),
Мы жизнь свою в эпоху жили
Годов, без права переписки, десяти.
А чтоб писать, читать, дышать на воле
Ходить за море и взбираться ввысь,
Нас жизнь в своей закрытой школе
Учила: хочешь жить — не попадись!
Возможно то была не жизнь, а некто,
С кем запах серы был, как крест, всегда.
Занятно то, что нехотя и редко
Мы сомневались в этом правиле тогда.
И жили, возжелая и желая
Другим того, что не хотели для себя.
Мы ввали, часто близких забывая,
Чужое брали, честно в зеркало глядя.
Но главное при этом не попасться —
Тогда ты будешь свой среди своих, —
И избегать закона, как ненастий,
Который, впрочем, был одним из них.
Сменились поколения и портреты,
Но заповедь, увы, везде, чего коснись,
Добряк с копытами, обутыми в штиблеты,
Лукаво шепчет: хочешь жить — не попадись!

ПАУЗА

Поверьте, сила музыки не в звуках,
А в тишине, что наступает после них.
Она рождается, как всё на свете — в муках,
Хоть жить, ей, как и всем на свете, — миг.

ПРАВДА

Мир весь соткан из лжи
И обвит он весь ложью.
Так во ржи васильки
Переплетены с рожью.

ПЛЕН

От тебя нелегко оторваться,
Как от кружки с водой в жаркий день.
Я не думал, что может скрываться
В каждом солнца луче твоя тень.

Тембр голоса, паузы, вздохи
Нам давно заменили слова.
Мы заложники чувства эпохи,
У которой на нас все права...

АЛГОРИТМ

Если хочешь умереть — родись,
Хочешь сказать тост — накрой стол,
Напечатать рассказ — издай журнал,
Написать книгу — построй дом у моря,
Научиться плавать — прыгни с лодки,
Преодолевать трудности — купи козу,
Жить счастливо — продай козу,
Спать крепче — знай меньше,
Родиться — умри.

Гензель и Гретель

Куда мы забрели с тобою, брат?
Стемнело. А у нас над головами
Печальные чудовища сидят
И смотрят человеческими глазами.
Кругом, теснясь, растут из темноты
Живые стебли, корни, крылья, лица,
Чешуйчатые гибкие хвосты —
И страшно наступить,
и оступиться.
Мой фартук накрахмаленный измят.
Остановись, не торопись, послушай:
Я знаю, нам не выбраться назад.
(Как этот смех вдали терзает душу!)
Пусть смертной гнилью тянет от болот,
Я не хочу с тобой туда, где сухо,
Туда, где домик пряничный, и кот,
И ласковая страшная старуха.
Здесь темень и стоячая вода,
А там светло, но путь туда заказан.
Держи меня, я не хочу туда —
Уж лучше здесь, любимый, лучше сразу.
Твоя рука в руке моей дрожит,
Вокруг все стонет, ухает, клокочет.
А в сущности, ведь сколько ни кружи,
Тропинка приведет, куда захочет.
Прижмись ко мне. Держи меня, пока
Мне разум и дыхание не откажут
И легкая иссохшая рука
Мне на плечо, неслышная, не ляжет.

...el infinito verde y encrespado en cuyo corazón de sal
los ríos se transforman en peces.

Miguel Otero Silva, "La mar que es el morir"

Ожидание автобуса. Пасмурно, но не темно.
Плюс обилие ближних, что давят тебя ненароком.
В заведении напротив веселое крутят кино —
Там герой захлебнулся gazpacho и клюквенным соком.
Черный ангел играет на дудочке. Звезд не видать.
Светлый абрис на синей бумаге и хлопья из ваты.
Вот окно; там сегодня никто и не думает спать.
Все там живы, здоровы, свободны и не виноваты.
Влажный шарф, сигарета. Озноб, пустота и покой.
Голос флейты все ближе, все радостней, все безысходней;
Отпусти меня. Спички в кармане нашарив рукой,
Оброни, как кольцо, меня в смерть —

в этот снег новогодний.

Ты сядишься в автобус, и едешь, и смотришь в стекло
(Жизнь проходит. Смеркается. Снег.

Где-то ждут неотложку).

Перережь эту нить — ведь тебе самому тяжело
С этим грузом незримым тесниться на грязных подножках.
Оторваться, вздохнуть, захлебнуться струей голубой
И в зеленом сиянии тусклом — бесшумной, довольной,
Безмятежной смеющейся рыбой столкнуться с тобой —
Мы счастливые глупые рыбы, которым не больно.
И неловко к чужому пальто прижимаясь щекой,
В тесноте и тепле шерстяного живого колодца
Ты оглохнешь на миг, задохнувшись нездешней тоской.
Память выронит имя мое — и ладонь разожмется.

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ, Феликс КОХРИТ
Друзей моих прекрасные черты... 193

Наталья ПАНАСЕНКО
Чуковский в Одессе 196

Александр ГАЛЯС
"Опасная пьеса" 220

Роман БРОДАВКО
Маэстро в драматическом театре 227

Мария ГУДЫМА
По закону узнавания 233

Ольга САВИЦКАЯ
Изгнание в рай 237

Ольга БАРКОВСКАЯ
Художник Израиль Мексин 240

Виталий АБРАМОВ
"Письмо из Мюнхена" — В. Кандинский? 244

Олег ГУБАРЬ
Звуки МУ 253

Олег ГУБАРЬ
Признаки жизни 256

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ, Феликс КОХРИТ

ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ...

В 1975 году, в глухую пору "брежневского листопада", Валерий Басанец написал тройной портрет Бородачей — своих друзей Александра Ануфриева, Владимира Стрельникова, Виктора Маринюка. В то время над головами первых двух уже сгустились тучи. Яркие, талантливые, а главное, смелые лидеры "одесских абстракционистов" вызывали острую неприязнь и зависть у бонз Союза художников, натравливавших на них "искусствоведов" в штатском. Работы Шуры и Володи можно было тогда увидеть лишь на квартирных выставках, да еще на редких редакционных, которые "пробивали" авторы этих строк. Да и Вите приходилось тогда туго, как и Люде Ястреб, Валентину Хрущу, Станиславу Сычеву, Евгению Рахманину, Руслану Макоеву. А ведь их живопись и графика уже тогда, в конце 50-х — начале 70-х, высоко оценивались серьезными специалистами и коллегами из Москвы, Киева, зарубежья. Об Александре Ануфриеве сегодня можно говорить, как о лидере самобытного направления современного отечественного искусства, продолжившего традиции Южно-русской школы и обогатившего его поиском новых изобразительных средств.

Но тогда, в 1975-м, будущее наших героев виделось чуткому и тонкому Басанцу весьма тревожным и несколько размытым. И это свое предощущение он и передал в портрете... И как в воду глядел. Спустя три года Стрельников, долго упиравшийся и не поддававшийся шантажу (не уедешь сам — посадим), все же был вынужден эмигрировать в ФРГ. В 1980-м Ануфриев оказался на берегах Гудзона — через океан от Одессы. Мы недавно вспоминали, как провожали их. Прощались, будучи уверенными, что навсегда. Даже переписываться с "бывшими" тогда было небезопасно, Ребятам не разрешили взять с собой работы. Они остались в Одессе, Москве — у родственников, друзей, собирателей. Изредка до нас доходили вести: у Вовы с успехом прошла выставка в Мюнхене, Шура по-прежнему пишет Ангелов, только больших...

Так прошли годы и годы. Между тем, удивительные вещи происходили с тройным портретом. С течением времени фигуры Стрельникова и Ануфриева стали как бы уходить в глубь полотна, словно сливаясь с фоном, в то время, как проживающий в Одессе Маринюк оставался столь же внушительным. Возникла даже гипотеза: Басанец, не чуждый мистики,

изначально заложил в Портрет некий механизм, находящийся в особой связи с Бородачами, и чутко реагирующий на их пространственно-временное положение относительно Южной Пальмиры. И это, казалось бы, фантастическое предположение подтвердила сама жизнь.

С падением тоталитарного строя в Одессу начали приезжать изгнанники, вынужденные эмигранты. Первым мы встретили Володю Стрельникова, который сразу же стал частым и успешным участником выставок в музеях и галереях. Его работы висят рядом с холстами Маринюка, как и много лет назад. Надеемся, вы уже сами догадались, что на басанцовском портрете Володя тут же "проявился" во всей красе и стати.

А нынешней осенью в Одессу, спустя 22 года, наконец приехал Шура Ануфриев, ничуть не постаревший, никак не угомонившийся, к тому же — с молодой и талантливой женой Татьяной. В галерее "Либерти" художника ждала встреча с работами, написанными им, когда не только деревья, но и мы, были молодыми... Впрочем, это видно и при взгляде на холсты. По мнению собравшихся на вернисаж, и картины, и автор, и его модели в основном выдержали испытание временем.

Экспозицию, собранную тщаниями куратора галереи Анны Голубовской, составили работы, хранящиеся в собраниях Сергея Лущика, Стеллы Ивановой, Татьяны Басанец, Михаила Кнобеля, Елены и Семена Верник, Екатерины Луневои и Владимира Недранца, Валентины и Евгения Голубовских, Татьяны Вербицкой и Феликса Кохрихта.

Разумеется, мы говорили в тот день и о тройном Портрете.

Наш фотокорреспондент Иван Череватенко запечатлел на пленке трех, нет — двух Бородачей: Владимира Стрельникова и Виктора Маринюка. Александр Ануфриев давно сбрил не только бороду, но и, увы, свои знаменитые сногшибательные усы. Но на Портрете выглядит так же браво, как и тогда, в шестидесятые-семидесятые.

В чем же секрет неувядаемой молодости? Прежде всего — в верности своему призванию в искусстве. Ни один из них, как, впрочем, и Люда Ястреб, Валя Хрущ, Женья Рахманин, ни разу не сломались. Не позволили деньгам, славе, страху взять верх над творчеством. Но есть еще одно предположение, которое нам кажется весьма основательным. Они всегда были, жили среди молодежи, учились у юных и учили юных, не теряя гена молодости.

Впрочем, Саша Ануфриев приехал в Одессу в этом году не один, а с новой женой, юной и прекрасной и, что не менее важно, — талантливой виолончелисткой Таней Анисимовой. И создавалось впечатление, что

почти двадцать пять лет разницы стерты талантом обоих, который помогает им найти путь друг к другу и к зрителю-слушателю.

Концерт Тани Анисимовой в школе им. Столярского стал праздником высокой музыки. А те, кто был в это время в доме у Феликса Кохрихта, где висит тройной портрет, говорят, что лик Саши на нем фосфоресцировал. Он как бы подпитывал талант своей юной супруги.

Трудно быть пророком! Да и нужно ли? Сколько художников, начиная, прежде всего, с самого Александра Ануфриева, написали замечательные портреты Риты Ануфриевой. Первой работой, купленной у Ануфриева, был портрет Риты. Он был приобретен Голубовским в начале таких теперь далеких шестидесятых годов и украшал его собрание... Риты уже несколько лет, увы, нет среди нас. Портреты Тани Анисимовой пока что еще не написали ни Басанец, ни Маринюк. Но теперь без ее музыки трудно представить и Ангелов Ануфриева, и молчаливые, герметичные абстракции Стрельникова.

О живописи одесских неконформистов уже написано немало. Кстати, и авторами этих строк в книге "Черный квадрат над Черным морем". А явление Одессе Тани Анисимовой стало неожиданным подарком и праздником. Молодая женщина, чья мать — чеченка, а отец — русский атомщик, она начала концерт с еврейской молитвы "Кол Нидре", которую уже десять лет играет в разных синагогах Америки на Йом Кипур. Это ее убеждение, что Бог един, что грехи каждого нужно замаливать всем. А по-

том она играла Баха и Блоха, свои композиции. Кстати, именно в своих произведениях она была ближе всего к творчеству "трех мушкетеров" одесского авангарда.

И пока звучит написанная Таней Анисимовой "Песнь на горе Святого Ангела", можно быть уверенными, что мистика шагреновой кожи не коснется работ ее товарищей. Они будут яркие и энергетичны, как и должно быть настоящее искусство.

И последнее. Как будто было предугадано свыше, что в эти осенние дни в Одессе оказались В. Стрельников, А. Ануфриев и В. Хрущ, — в городе, где они стали мастерами, и на наших глазах разыгралась мистерия возвращения талантов к первоисточкам.



Таня Анисимова

Чуковский в Одессе

"Биография писателя и его творчество — неделимы. Нельзя изучать произведения, писать о них исследования и критические статьи, не зная до мельчайших подробностей жизнь писателя"¹, утверждал Корней Чуковский. О нем же самом до сих пор не известно все то, что обычно знают о выдающихся людях. Например, одесские адреса Чуковского.

На доме № 14 по Пантелеймоновской улице (бывш. Ново-Рыбная, Чижикова) установлена мемориальная доска, в тексте которой сказано, что здесь с 1883 по 1905 гг. жил К. Чуковский. Но, если сопоставить это утверждение с дневниковыми записями писателя, его автобиографическими заметками, оказывается, что и сам факт проживания по этому адресу сомнителен, и так долго он вообще нигде не жил.

Во-первых, Корней Иванович пишет, что ему было года три, когда семья переселилась в Одессу². Поскольку родился он в 1882 г., то момент переезда скорее можно отнести к 1885 году.

Во-вторых, в дневнике Чуковский называет три одесских адреса, и дома по Пантелеймоновской, 14 среди них нет, а этот перечень наверняка не исчерпывающий. (Очевидно, что время проживания в других местах исключается из указанного срока).

"Был на Ново-Рыбной, там, где прошло мое раннее детство. Дом номер шесть. Столбики еще целы — каменные у ворот. Я стоял у столбиков, и они были выше меня, а теперь... И даже калитка та самая, к-рую открывал Савелий. И двор. Даже голубятня осталась"³.

Называет Чуковский и дом Баршмана в Канатном переулке, "где прошла моя мутная и раздребезженная молодость. Дом Баршмана! Я заплакал бы, если бы увидел его. Там я прочел Бокля, Дарвина, Маркса, Михайловского, там я писал первые стихи, там вообще наметился пунктиром я нынешний. [...] Там я учился английскому языку"⁴. Английский язык Чуковский начал изучать в 17 лет⁵, стало быть, — в 1899 г., а жил он с матерью по этому адресу уже на момент переписи населения 28 января 1897 г⁶.

"Канатный пер., д. № 3 (Баршмана), кв.10.

Ф. И. О.

Корнейчукова

Корнейчуков

Екатерина Осиповна

Николай Степанович

Пол

ж.

м.

Как записанный приходится главе хозяйства и главе семьи	хозяйка	сын незаконнорожденный
Минуло лет	41	14
Сем. пол.	д.	х.
Сосл.	крест.	крест.
Где родился	Херсонск. губ. Ананьев. Уезд д. Гамбурово волости Кондратовской	С-Петерб.
Где приписан	Херсонск. губ. Ананьев. Уезд д. Гамбурово волости Кондратовской	Херсонск. губ. Ананьев. Уезд д. Гамбурово волости Кондратовской
Место жит.	здесь	здесь
Вероисп.	прав.	прав.
Род. яз.	р.	р.
Умеет ли читать	да	да
Где обучался	дома	в гимназии
Главное, то есть то, которое доставляет главные ср-ва для существ.	швея	при матери

Наконец, точно известен еще один адрес. Где-то в конце мая — начале июня 1903 г. Чуковский уехал в Лондон (27 мая он еще в Одессе⁷, а первая заграничная публикация датирована 6 июня⁸), а вернулся в сентябре 1904 г. "к маме и жене на Базарную улицу"⁹. Не включись он в работу Литературно-артистического общества и не будь бдительного надзора городских властей за деятельностью общественных организаций, номер дома, возможно, так и остался бы не установленным. Но, по существующему порядку, правление общества обязано было сообщать градоначальнику тему предстоящего собрания, указывать всех выступающих и краткие сведения о них. В извещении, отправленном 2 декабря 1904 г., читаем:

"Правление Лит.-Арт. Общ-ва имеет честь довести до сведения Вашего Превосх., что 9 декабря 1904 г. в четверг в помещении Общества будет Литературное собеседование на тему: "Из истории печати в Англии".

Сообщение на эту тему сделает сотрудник журнала "Весы" Н.Е. Корнейчуков (К. Чуковский), проживающий на Базарной улице в д. № 2.

Предс. Литвицкий

Секр. Герцо-Виноградский"¹⁰.

Весной 1905 г. Чуковский уехал в Петербург, т.е. прожил он на Базарной, 2 недолго. Но это единственный из известных уцелевший дом. (Дома по Пантелеймоновской, 6 и Канатному пер., 3 не сохранились). Кроме того, возможно, именно в нем родился другой будущий писатель — Николай Корнеевич Чуковский. Он был крещен рядом, в Скорбященской церкви Стурдзовской общины. В части "о родившихся" метрической книги записано:

"1904 г. 20 мая рожден, 20 июня крещен Николай.

Родители: Не приписанный ни к какому обществу Николай Васильев Корнейчуков и законная жена его Мария Борисова дочь, оба православные.

Восприемники: греческо-подданный врач Спиридон Герасимов Макри и народная учительница Олимпиада Прохорова Мартынова.

Таинство крещения совершил

Протоирей Михаил Марченко"¹¹.

Этот документ интересен, главным образом, именами восприемников. В дневнике Чуковского есть запись, которая раньше вызывала недоумение: "Она [мама] мне рассказывала (превосходно, с хохлацким юмором), как Маруся и Липочка живут вместе. [...] Все Липочкины мнения, вкусы, симпатии от Маруси. И когда они поселились вместе, оказалось что у Липочки такой же самый портрет Шаляпина, такой же самый портрет Чехова, Достоевского, Коленки и т.д."¹². С портретами Чехова и Достоевского было понятно: куплены в писчебумажном магазине. Но почему коленкин? Метрическая же запись разъяснила, что марусина подруга Липочка — это коленькина крестная Олимпиада Прохорова Мартынова.

Другой восприемник, Спиридон Макри, участвовал в семейном торжестве Корнейчуковых не впервые. И знакомство было давним: Н. и С. Макри принадлежали дома № 6 и № 14 по Ново-Рыбной улице¹³. Спиридон Герасимович учился на медицинском факультете Юрьевского университета с перерывом в 1899-1900 гг., когда его имя часто встречается в списках лиц, состоящих под негласным надзором полиции¹⁴. (В автобиографической повести Чуковского Спир Макри фигурирует именно как студент медицины). После окончания курса он побывал судебным врачом¹⁵, тюремным¹⁶, практиковал как специалист по "внутренним и хирургическим болезням"¹⁷.

В 1903 г. С. Макри стал крестным отцом невесты Корнея Ивановича и свидетелем на его свадьбе.

Возможно оттого, что Чуковский был женат только раз, это событие обойдено вниманием исследователей. (Интерес обычно пропорционален количеству жен). Сам он тоже в подробности не вдавался. Хотя Маша в дневнике появляется с первой страницы, записи о ней очень скупы и целомудренны. И в июле 1903 г. только констатация: "Маша — моя жена"¹⁸. Лишь через тридцать три года, приехав в Одессу и побывав у дома, где когда-то жила его возлюбленная, он вспоминает: "Мы здесь бушевали когда-то любовью"¹⁹. И после похорон жены записывает: "Смотрю на это обожаемое лицо в гробу [...], которое я столько целовал — и чувствую, будто меня везут на эшафот. [...] Хожу каждый день на могилу и вспоминаю умершую:[...] вот она в бархатной кофточке, и я помню даже запах этой кофточки (и влюблен в него), вот наши свидания за вокзалом, у Куликова поля [...], вот она на Ланжероне, мы идем с ней на рассвете домой, вот ее отец за французской газетой [...]"²⁰.

Родители избранником дочери не были довольны.

(Объяснение этому найти легко: молодой, православный, бедный... Отец Марии Борисовны служил бухгалтером в частной конторе. Большая семья²¹, может, и не была богатой, но не бедствовала, а жених-то совсем голь перекатная, байстрюк). Чуковский рассказал однажды, что Мария Борисовна прибежала к нему в одном платье, крестилась, чтобы обвенчаться с ним²². Видимо, "побег" был вызван тем, что Чуковского командировали в Англию, и договориться по-хорошему не успевали.

Корней Иванович вспоминал, что "на свадьбу пришли все одесские журналисты"²³. Двое из них стали поручителями со стороны жениха.

Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви:

"1903 г. 24 мая крещена Мария.

На основании указа Херс[онской] Дух[овной] консист[ории] от 16 мая 1903 г. за № 5825 просвещена св. крещением одесская мещанка Мария Аронова-Берова Гольдфельд, иудейского закона, родившаяся 6 июня 1880 г. во св. крещении наречена именем Мария[...].

Восприемники: врач Спиридон Герасимов Макри и учительница Ольга Иоановна Рябченко"²⁴.

"1903 г. 26 мая.

Жених: Ни к какому обществу не приписанный Николай Васильев Корнейчуков, православ. вероисп., первым браком, 21 года.

Невеста: Одесская мещанка Мария Борисова Гольдфельд, православного вероисповед., первым браком, 23 лет.

Поручители. По женихе: бывший студент Александр Сергеев Вознесенский и Никопольский мещанин Владимир Евгеньев Жаботинский; по невесте: Одесский мещанин Юлий Абрамов Ямпольский и врач Спиридон Герасимов Макри.

Выпись выдана 27 мая"²⁵.

Восприемница Марии Борисовны — Ольга Ивановна Рябченко — учительница церковно-приходской школы при епархиальном училище²⁶, скорее всего, марусина подруга.

Знакомство с поручителем Ю.А. Ямпольским объяснить сложнее. Ему в 1903 г. было 66-67 лет. Причастность к литературе не просматривается. В листе переписи населения в графе о средствах для существования означено: "Управляющий домами"²⁷.

А.С. Вознесенский в то время был начинающим литератором, работающим во всех жанрах: поэзия, проза, критика, драматургия... (Позже добавилась деятельность в кино). Сохранилось два отзыва, относящихся к раннему периоду: воспоминания самого Чуковского и полицейское донесение, представленное в канцелярию одесского градоначальника в связи с предстоящим выступлением в литературно-артистическом обществе: "...Вознесенский, как оказалось по собранным сведениям, есть бывший студент Московского университета, сын коммерции советника Александр Сергеевич Бродский, 24 лет, лютеранского вероисповедания, поведения хорошего, судимостям не подвергался и ни в чем предосудительном замечен не был.

21 октября 1904 года.

Пристав Бульварного Полицейского уч. г. Одессы"²⁸.

А вот как написал о нем в 1968 г. К. Чуковский:

"В "Одесских Новостях" был сотрудник Ал. Вознесенский (Бродский) мой коллега. Он писал эффектные статьи (например, "У меня болит нога"), был мужем Юреновой, переводил пьесы Пшибышевского, хотя не знал польского языка.

Вообще Вознесенский был ушиблен Ницшеанством, символизмом, но не лишен дарования"²⁹.

Знакомство с Жаботинским началось, как вспоминал Чуковский, еще в детском саду мадам Бухтеевой: "Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим из нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я по-

знакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 годах!"³⁰

Потом оба учились во 2-й прогимназии.

О школьных годах очень интересные воспоминания оставил Л.Р. Коган³¹. Рассказал он, в числе прочего, и историю исключения этих друзей-одноклассников из гимназии за издание рукописного журнала. Правда, Лев Рудольфович называет Чуковского шестиклассником, а Корней Иванович в автобиографии пишет, что был исключен из пятого класса³², но пятый-шестой — разница небольшая, легко предположить, что мемуарист чуть спутал. Однако, все не так просто. Воспоминания Когана вызывают и другие вопросы.

Сначала о гимназии. Это учебное заведение начало существование как Одесская 2-я прогимназия с четырехгодичным курсом обучения³³. Позже она стала шестиклассной³⁴, а с 1898 г. была преобразована в 5-ю гимназию (т.е. восьмиклассное учебное заведение, дающее среднее образование), и переехала из дома Францова (№ 18) на Пушкинской улице в специально отстроенное для нее здание на Ново-Рыбной, 13³⁵.

В воспоминаниях о Борисе Житкове Чуковский пишет, что они учились в одном классе 2-й прогимназии³⁶. Известно, что Житков поступил в 1-й класс в 1892 г.³⁷ 5-й класс, следовательно, приходится на 1896/97 учебный год. Значит, Чуковского исключили не позже мая 1897 г. еще из прогимназии (находившейся на Пушкинской). Так пишет и литературовед М. Петровский³⁸, лично знавший Чуковского.

Но Коган подчеркивает, что описанные им события происходили уже в новом здании. И существует метрическая запись от декабря 1897 г., где восприемник Николай Мануилович Корнейчуков записан учеником гимназии³⁹.

Среди реальных персонажей автобиографической повести Чуковского есть классный наставник Флеров. В списках педагогов 2-й прогимназии его имя впервые появляется в адрес-календаре на 1898 год, который готовился к печати осенью 1897 г., когда Чуковский был, вроде бы, уже исключен. Тогда он не должен знать Флерова. Но знал. Значит, был исключен позже?

Приехав в 1936 г. в Одессу, Чуковский, вспоминая прошедшие здесь детство и юность, перебирая адреса, пишет: "Вот одесская 2[-я] прогимназия, где я учился. В эту прогимназию я побежал раньше всего. [...] Где была подлая пятая гимназия, — там институт"⁴⁰. Если его выгнали из прогимназии, то почему ее он вспоминает с любовью, а гимназию, к которой не имеет отношения, называет подлой?

Если бы Чуковского не выгнали из гимназии, то он окончил бы ее вместе с Житковым в 1900 г.⁴¹ Коган окончил гимназию в 1903 г.⁴², т.е. у них три класса разницы, а в воспоминаниях он пишет о Чуковском и себе "шестиклассник и четырехклассник".

Еще одно расхождение. У Когана: "Корнейчуков как-то добился перевода в другую гимназию, которую и окончил...". В дневнике у Чуковского: "2 марта 1901 г. М.б. нужно мне кончать гимназию"⁴³.

Наконец, Чуковский и Жаботинский в одном классе не учились. В автобиографической "Повести моих дней" о своем образовании Владимир Евгеньевич сообщает, что в семь лет он поступил в двухклассную частную школу, а по окончании ее "меня приняли в подготовительный класс второй прогимназии, курс обучения которой я завершил в возрасте 14 с половиной лет и перешел в пятый класс Ришельевской гимназии"⁴⁴. Жаботинский родился 5 октября 1880 г.⁴⁵ Четырнадцать с половиной лет приходится на весну 1894 г. Это соответствует тогдашнему четырехклассному курсу прогимназии. Чуковский с Житковым весной 1894 г. закончили 2-й класс. О 5-й гимназии в повести Жаботинского нет ни слова.

Чуковский как-то сказал, что мемуаристы всё врут⁴⁶. Правда, это высказывание приводит тоже мемуарист. Но, действительно, воспоминания часто не совпадают с документально удостоверенными фактами. И это одна из причин, по какой сведения о дружбе этих писателей так и останутся отрывочными.

Сам Корней Иванович, понятно, не мог рассказать о Владимире Жаботинском, как рассказал о Борисе Житкове. Только в статье "Как я стал писателем", да и там без указания имени, написал: "Моей философией заинтересовался один из моих школьных товарищей, он был так добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал несколько глав из этой своей сумасшедшей книги [...]. Он слушал, слушал и, когда я окончил, сказал: "А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете? Это там, где я говорил об искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты "Одесские новости", и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там..."⁴⁷.

Жаботинский о своей причастности к началу журналистской карьеры Чуковского умолчал. "Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей, — написал он, — под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, [...] и Корней Чуковский... Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но поверьте мне, они пе-

ли нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранять спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал нижнюю губу..."⁴⁸.

Незадолго до женитьбы Чуковского произошла история, описанная Н.М. Осиповичем⁴⁹. Была арестована сестра Бориса Житкова — Надежда. В общем разговоре в буфете литературно-артистического общества Корней Иванович прямо назвал виновником ареста журналиста, бывшего политического ссыльного Г.П. Хавкина. Разгорелся скандал, самые горячие сторонники Хавкина предлагали дуэль. Ограничились третейским судом. И судьей со стороны Чуковского был выбран Владимир Евгеньевич Жаботинский. Победителем, правда, вышел Хавкин, хоть позже и выяснилось, что он действительно был провокатором, но зато сохранился дом, где проходило судебное разбирательство — № 12 по Базарной улице, — еще один адрес к небольшому списку известных и уцелевших памятных мест, связанных с пребыванием в Одессе этих друзей-писателей.

В сведениях об отношениях Чуковского с Жаботинским после мая 1903 г. большой провал. М. Золотоносов пишет, что последний раз они виделись в 1916 г.⁵⁰

В дневнике Корнея Ивановича имя Жаботинского появляется только в 1964 г.: "Влад. Жаботинский (впоследствии сионист) сказал обо мне в 1902 году:

"Чуковский Корней
Таланта хваленого
В 2 раза длинней
Столба телефонного"⁵¹.

А из переписки с Р. Марголиной, завязавшейся в 1965 г., выясняется, что все это время он хранил рукописи Жаботинского⁵². Любому человеку, побывавшему советским, понятно, что это подвиг.

В автобиографической повести Чуковского, написанной в 1937 г., есть персонаж — доктор Копп. Врач такой существовал. В газетах тех лет печатались объявления: "Доктор Копп. Прием по внутренним и детским болезням [...]"⁵³. Он ли лечил болевшего scarlatina Колю Корнейчукова — неизвестно. Но зато известно, что Фаддей Моисеевич Копп был мужем родной сестры Вл. Жаботинского⁵⁴. Почему Чуковский назвал именно его? Спокойнее было бы дать врачу другую фамилию, не связанную с эмигрантом, да еще и лидером сионистского движения. При этом Копп не единственная и не самая крамольная фигура среди персонажей повести. Но об этом речь впереди.

Нельзя не заметить, что в документах Чуковского всякий раз указываются разные отчества (Степанович, Мануилович, Васильевич, Н.Е. Корнейчуков). Какое правильное? По метрике он был Николай Корнейчуков — незаконнорожденным отчества не полагалось. Но ведь отец существовал. Лидия Корнеевна Чуковская писала об этом так: "О дедушке, папином папе, в нашей семье не говорилось никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какие времена, ни по какому поводу [...]. Помню однажды в Куоккале, когда мне было, вероятно, лет шесть, а Коле девять, наша мама, Мария Борисовна, внезапно позвала нас к себе в спальню, плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала: "Запомните дети, спрашивать папу о его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего"⁵⁵.

Молчание продолжалось и много позже. В комментариях к "Дневнику" Чуковского, автор которых его внучка, даже не указано отчество старшей сестры Корнея Ивановича. Написано, что она Корнейчукова Мария, Маруся, по мужу Лури⁵⁶. Но в дореволюционных справочниках, куда Маруся попала, отчество есть. Во "Всея Одессе" на 1911 г. в числе преподавателей Пересыпского училища № 11-12 значится "Корнейчукова Мар. Ман."⁵⁷. В списке служащих в Одесском учебном округе на 1911-1912 гг. в Пересыпском училище — "Лури Мария Мануиловна"⁵⁸. Во "Всея Одессе" на 1914 г. — "Лури Мар. Мануил.", Пересыпское уч. № 11-12⁵⁹.

В 1915 г. в Свято-Троицкой греческой церкви была крещена марусина дочь:

"17 августа рождена, 27 сентября крещена Екатерина.

Родители: Греческоподанный Елевферий Анастасиев Лури и законная жена его Мария Эммануилова урожденная Корничукова, оба православные.

Восприемники: Военный врач Спиридон Герасимов Макри и народная учительница девица Олимпиада Прохорова Мартынова"⁶⁰. (Искажения имен собственных в метрических книгах нередки, т.к. записи делались, видимо, со слов).

Кто же был отцом Корнея Чуковского? Этот человек, безусловно, сыграл роль в судьбе будущего писателя. Отрицательную. Он не только не узаконил детей, но и совсем оставил семью, когда мальчику было три года⁶¹. "Он, каким он был, был создан своей покинутостью", — писала об отце Лидия Чуковская⁶². Об этом есть пронзительная страница в дневнике самого Корнея Ивановича.

"Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) — был самым нецельным непрым человеком на земле [...]. Мне казалось [...], что я единственный — незаконный, что все у меня за спиной перешептываются и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. [...] Когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. [...] Особенно мучительно было мне в 16-17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил даже при первом знакомстве — уже усатый — "зовите меня просто Колей", "а я Коля" и т.д. Это казалось шутством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное"⁶³.

Существует легенда, что отцом Чуковского был некий Левенсон, сын владельца не то типографий, не то фотографий, всячески старавшегося разлучить сына с крестьянкой и с этой целью гонявшего его по филиалам в разные города и в том числе в Баку.

В Государственном архиве Одесской области был обнаружен любопытный документ: свидетельство на проживание, выданное Потомственному Почетному Гражданину Эммануилу Соломоновичу Левенсону, 1851 года рождения⁶⁴. Обратила на себя внимание не фамилия. И не имя, хотя оно совпадает с марусиным отчеством. Бросилась в глаза недатированная запись: "Д. № 14 кв. 22 по Пантелеймоновской". (Именно по этому адресу в Одессе установлена мемориальная доска). Правда, Ново-Рыбную переименовали в Пантелеймоновскую в 1909 г.⁶⁵, а архивное дело — 1888 г., но эта запись заставила повнимательнее прочитать все остальное.

В свидетельстве 31 отметка о регистрации местожительства с 1879 по 1885 гг. Некоторые записи недатированные. (Напомню, что Маруся родилась в 1879 г., Чуковский — в 1882, а в 1885 г. Екатерина Осиповна с детьми переехала из Петербурга в Одессу). Адреса преимущественно одесские и петербургские, среди прочих есть и бакинский штамп 1882 г.

Ленинградский исследователь Шубин, нашедший в метрической книге Владимирской церкви Санкт-Петербурга запись о крещении Николая Корнейчукова, пишет: "Чуковский вспоминал, что мать его жила недалеко от Владимирской церкви и "Пяти углов", [...] куда выходят улицы Разъезжая, [...] Троицкая и Чернышов переулок, т.е., по-видимому, на Загородном проспекте"⁶⁶. Среди петербургских адресов в паспорте Э. Левенсона Разъезжая, 15 встречается трижды: 02.09.81, 19.01.82 и один раз без даты.

При анализе остальных петербургских адресов обнаружилось, что д. № 21 (Тупикова) по Литейному проспекту находится на углу с Пантелеймоновской улицей. А по Пантелеймоновской улице дом Тупикова значится под № 14⁶⁷. То есть, это один и тот же угловой дом, и вопрос о том, как в деле 1888 г. появилась запись 1909 г., снимается. Запись "Пантелеймоновская, д. № 14" была сделана в Петербурге в 80-х годах. И тут возможны два варианта: или это дьявольское совпадение, или здесь исток заблуждения, объяснение, почему в Одессе мемориальная доска появилась там, где она сейчас висит. Ведь ни одного внятного подтверждения этого адреса нет.

Теперь и слова "кто я? еврей? русский? украинец?" уже не кажутся случайным набором национальностей, а приобретают конкретность: отец — еврей, мать — украинка, а по языку и культуре он чувствовал себя русским. Это, конечно, косвенная "улика", но она вписывается в общую картину.

"У меня никогда не было такой роскоши как отец или хотя бы дед"⁶⁸. А ведь дед существовал: Соломон Михайлович Левенсон — врач, возведенный в 1872 г. в Потомственное Почетное Гражданство⁶⁹.

Была и бабушка, были многочисленные дядя и тетки. Но они отказались от мальчика.

Боль от своей детской покинутости Чуковский выплеснул в автобиографической повести, изначально названной "Секрет"⁷⁰. Работу над ней он начал в 1936 г.⁷¹, когда уже не было ни мамы, ни сестры. В апреле 1937 г. специально ездил в Одессу, чтобы "нахватать впечатлений"⁷². В ноябре того же года записывает: "Повесть моя движется медленно. Я еще не кончил главы Дракондиди. Впереди самое трудное"⁷³.

Впереди был рассказ о мамином секрете, из-за которого и случались с героями все беды.

"Из-за него мама в густонаселенном дворе жила как в безлюдной пустыне"⁷⁴. "Дворник Савелий, ленивое и колченогое чучело, ломавший шапку перед каждым жильцом, при встрече с мамой не только не кланялся ей, но еще сильнее нахлобучивал шапку на лоб"⁷⁵. "Из-за этого секрета однажды, когда к нам пришел какой-то "Щупак из Варшавы" и тихо сказал ей какое-то слово, она прожгла утюгом наволочку мадам Чумаченко (потому что как раз в это время стояла у гладильной доски), а когда "Щупак из Варшавы" ушел, села на пол и стала раскачиваться и все хотела выговорить какое-то слово, но губы у нее заоченели, как на сильном морозе,

и у нее выходило одно "вить, вить, вить, вить"⁷⁶.

Из-за этого секрета мальчик рос с мыслью: "Мы не как все люди, мы хуже, мы самые низкие"⁷⁷, — это из воспоминаний Чуковского. Похожее слова есть в повести: "Я начал догадываться, что мы хуже других, что в нашей жизни есть что-то стыдное..."⁷⁸.

Повторения вариантов одной и той же ситуации и в повести, и в дневнике, и в других произведениях — нередки. Например, в "Нынешнем Евгении Онегине", написанном в 1904 г.:

"Ты, помнишь, привязал бечевку
К его ноге, пища диктовку,
Дабы при каждой запятой
Он дергал связанной ногой.
Вы это звали телефоном..."⁷⁹.

В дневнике: "7 сент. 1930 г. Я плел ей [Мурочке] все, что приходило в голову, — о Житкове, о Юнгмейстере, о моем "телефоне для безошибочного писания диктовки"⁸⁰. В повести этот эпизод развернут в целую главу, так и названную: "Телефон". Ясно, что в основе лежит подлинное событие.

Но надо ли объяснять, что автобиографическая повесть — не свидетельские показания. Сам жанр предполагает переплетение действительности с вымыслом. Скажем, реальный гастрономический магазин братьев Сарафановых, находившийся на Б. Арнаутской, 27 (угол Канатной)⁸¹, "смещен" Чуковским на угол Канатной и Рыбной⁸². Мебельную фабрику Кайзера, которая существовала на улице Новой⁸³, он называет мастерской и "переносит" на угол Новой и Канатной⁸⁴, в действительности параллельных.

Поп Мелетий⁸⁵, Прошка⁸⁶, географ Василий Никитич Волков⁸⁷, Муня Блохин⁸⁸ — это персонажи реальные. Но, как писала Т. Габбе, в книге о себе "нельзя попросту упоминать своих знакомых и друзей. Все они обязаны быть действующими лицами в том спектакле, который вы ведете"⁸⁹.

К одному из таких действующих лиц можно отнести Тимошу. Сын портового чиновника, приехавший с севера. В порту и живет. Мать — пианистка. Деспотичный отец, поссорившись с нею, изводит ее молчанием. Это все в точности соответствует описанию семьи Б. Житкова⁹⁰. Но сам Борис — волевой, уверенный, требовательный — не имеет ничего общего с мягким, застенчивым заикой Тимошей.

Вряд ли можно проверить, существовала ли купчиха Жеребцова, сказавшая Марусе: "Неужели вы думаете, что с таким аттестатом вас примут

в какой-нибудь порядочный дом?"⁹¹ Возможно, этот эпизод только художественное переложение дневниковой записи 1925 года: "Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — показала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других — и это пронзило меня стыдом"⁹². Раз Чуковский и через 29 лет, и через 41 год возвращался к случившемуся в 1896 году, — значит, пережитое мучило его все это время. Вот что важно. А была ли Жеребцова, и так ли точно было сформулировано — сути не меняет.

Но есть в повести несовпадения другого рода.

Муня Блохин живет "за Курганами"⁹³. Какие в Одессе курганы и почему с большой буквы? Достаточно написать это загадочное название некаллиграфическим почерком, чтобы понять, в чем дело. Наверняка, в рукописи было "за Курсаками"⁹⁴, но тот, кто в Ленинграде ее перепечатывал, этого слова, естественно, не знал, и прочитал "за Курганами".

В начале эпизода с Павловскими зданиями дешевых квартир Чуковский пишет, что ему "было лет семь"⁹⁵, а заканчивает — "уже тогда, шестилетним ребенком"⁹⁶.

Гимназию называет то пятой⁹⁷, — то шестой⁹⁸. Класс, из которого его исключили, опять же, то пятый⁹⁹ — то шестой¹⁰⁰.

Небольшие сдвиги в датах есть и в дневниках Чуковского. Там они явно вызваны эмоциональным состоянием. Например, сразу после смерти сына он записывает: "Коленька! С той минуты как Мария Борисовна в 1905 году показала его..."¹⁰¹. Понятно, что это от горя. Корней Иванович вернулся из Лондона в сентябре 1904 г. и невозможно предположить, что младенца несколько месяцев скрывали от отца, или что Чуковский пытался убавить на год возраст покойного.

Но ведь "Секрет" — не дневник, а повесть. Известно, каким въедливым читателем и редактором был Чуковский. "Его безошибочный глаз и безотказный слух действовали как сверхчувствительные приборы, от которых не могли спрятаться никакая ошибка, никакой ляпсус, никакая неряшливость"¹⁰². Как же он пропустил столько огрехов? Загадка.

"Секрет" был опубликован в журнале "Пионер" в №№ 2-4 за 1938 год.

В том же году повесть вышла книгой под названием "Гимназия" с приложением из трех глав: о царе, министре Делянове с его указом о "кухаркиных детях" и статистическими сведениями о результатах исполнения

указа. Это несколько сместило акцент на главное сюжетное событие — исключение героя из гимназии.

Автор навел порядок с цифрами, "переселил" Муню на Молдаванку¹⁰³, чтобы не путать таинственными "Курганами".

Прибавил эпизоды обид и унижений.

Прибавил и еще кое-что.

В "Секрете" упоминается гимназист Людвиг Мейер по прозвищу Спиноза. У Чуковского был в Одессе знакомый Мейер, правда, Александр. "Он был сперва революционер, приносил мне пачки прокламаций, кот. я прятал в погребе, — потом стал нео-христианином"¹⁰⁴. Общего у них, кроме фамилии, только то, что оба немцы.

Но! По изменениям в переизданиях, по экземпляру "Гимназии" с авторской правкой для следующего издания видно, что Чуковский выбирал для своих героев имена очень тщательно. "Хацкель Кур", к примеру, по всему тексту указанного экземпляра зачеркивается; вместо него на стр. 3 на полях написано "Левка Печенкин", на стр. 46-й уже "Санька Печенкин", а остановился автор на "Ваське Печенкине"¹⁰⁵. Мадам Чумаченко стала мадам Шершеневич. Фамилия Тимоши трансформировалась так: Мочалов — Макаров — Макарьев — Макаров.

Мейер, как и доктор Копп, прошел через все издания без изменений.

Настоящий Александр Александрович Мейер — профессор Лесгафтовского института, философ, культуролог, публицист — был в 1928 г. арестован и приговорен к расстрелу. Спасло его вмешательство А. Енукидзе, с которым они были знакомы по работе в подпольной бакинской типографии в 1904 г. Расстрел заменили лишением свободы и ссылкой, из которой Мейер вернулся в 1935 г.¹⁰⁶, за два года до написания "Секрета".

"Гимназия" дополняется эпизодами, усиливающими сходство книжного Мейера с реальным.

В повести: "Странная у него дружба с Иглицким: чуть они встретятся, тотчас начинают говорить о непонятных вещах"¹⁰⁷. Д.С. Лихачев о Мейере: "Он был способен, встав утром с постели, тут же начать разговор с соседом на общие философские темы"¹⁰⁸. (Здесь приходит на память дневниковая запись Чуковского об Александре Александровиче: "Иногда приходил ко мне ночевать и нудными словами пытался обратить меня в православие"¹⁰⁹, — может, Мейер начинал рассуждать о религии именно так — чуть только встав с постели?) Если сравнить другие отзывы Лихачева о Мейере: "он больше состоял из мыслей, чем из тела", "где бы он ни появлялся, вокруг него возникала интеллигентная моло-

дежь", "артистизм мыслителя, обаяние учителя были свойственны ему в высшей степени"¹¹⁰, — с описанием гимназиста Спинозы: "у него есть способность превращать всякое место, куда бы он ни попал, в ученый кабинет или в читальню"¹¹¹, "он читает всегда и везде, в самых неподходящих местах: в булочной, в купальне, на кладбище, и потому кажется мне самым ученым и самым умным человеком на свете"¹¹², — то впечатление полностью совпадает.

В "Гимназию" добавлено имя еще одного "врага народа": Кобецкий.

Михаил Вениаминович Кобецкий — одноклассник Чуковского и Житкова, закончил гимназию с золотой медалью¹¹³. Из Новороссийского университета был исключен за участие в студенческих беспорядках¹¹⁴. Член РСДРП с 1903 г. В 1920-1921 годах — секретарь Исполкома Коминтерна (председателем был Г. Зиновьев). С 1924 г. на дипломатической работе¹¹⁵. В 1937 г. расстрелян¹¹⁶. А в 1938 году его имя введено во вторую редакцию повести¹¹⁷. Это в то время, когда, как минимум, затушевывались фамилии в уже изданных книгах. (В. Юренева в "Воспоминаниях актрисы", изданных в 1946 г., своего бывшего мужа Ал. Вознесенского называет "журналист В."¹¹⁸. А он стал бывшим задолго до ареста.)

Неведеньем такое дополнение объяснить нельзя хотя бы потому, что Житков был женат на племяннице Кобецкого, а Корней Иванович и Лидия Корнеевна поддерживали отношения с этой семьей все годы¹¹⁹.

Что это? Дань дружбе и уверенность, что никакой логики в репрессиях нет и, если захотят посадить, то отсутствие компромата не спасет? Но дневник Чуковский явно вел с учетом того, что его будет читать какой-нибудь соглядатай. Значит, сознательно играл с огнем?

В 1939 году Чуковский писал Т. Габбе: "Я хотел послать Вам "Гимназию", но у меня нет ее под рукой.

Хочу круто переделать ее для второго издания"¹²⁰.

Какие коррективы имел в виду Корней Иванович — пока не разгадано. В 1940 году книга вышла с мелкими и не принципиальными поправками: "круглая легкая и звонкая"¹²¹ жестянка заменена на "мятую и ржавую"¹²², исключен абзац о желании отвесть икры¹²³ и т.п. Заметное изменение одно: он убрал приложение ("Царь", "Министр" и "Кухаркины дети"), появившееся в предыдущей редакции.

А вот в следующий раз, в 1961 г. книга выходит радикально переделанная и называется уже "Серебряный герб". Интересно, что третье издание готовилось не по второму, а по первому¹²⁴.

Чуковский исключил из повести большинство эпизодов унижений

и обид, в том числе самые драматические, а рассказ о мамином секрете свернул в одно предложение, сформулировав его предельно бесстрастно.

Почему автор убрал из книги то, из-за чего он ее написал?

Сам он не объясняет. Просмотр прессы того периода практически не дал результата: литературные критики очень редко касались творчества живых писателей. Большинство статей было о Пушкине, Крылове, Горьком... О писателях с утвержденной репутацией. Чуковский к таким никогда не относился.

Направление поиска подсказала опубликованная в 1950 г. обзорная статья А. Марголиной "Советская повесть о детстве": "Непропорционально большое место, отведенное в повести "тайне" героя — его "незаконному" рождению тоже наводит на мысль о дурных литературных традициях.

Отчасти это объясняется, очевидно, погоней за внешней занимательностью (тайна!!!), от которой тогда еще не успела отвыкнуть наша детская литература. Но, как бы там ни было, выпячивание трагедии незаконнорожденности приводит к вредному смещению. Порой создается впечатление, что если бы мать героя была такой же прачкой, но замужней, ей бы жилось совсем недурно. Так тема менее значительная и трактуемая в духе либеральной литературы о бедных сиротках ущемляет широкую социальную тему"¹²⁵.

Такая странная оценка вызвала подозрение, что причину переработки повести нужно искать очень далеко от литературы, возможно, в истории брачно-семейного законодательства.

Дети, родители которых не состояли в браке, до революции назывались "незаконными"¹²⁶. (При крещении в метрической книге к имени младенца так и приписывали: "Незаконнорожденный". Либо после имени матери добавляли: "Незаконно родила"). Они не имели права не только на алименты, но даже и на отчество.

В декабре 1917 г. ВЦИК и СНК РСФСР издали два декрета, отменивших эту несправедливость и полностью уравнивших в правах всех детей¹²⁷. Это положение позже было закреплено в республиканских кодексах о браке и семье. Но 8 июля 1944 г. ПВС СССР издал указ с праздничным и обнадеживающим названием: "Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства", одна из статей которого предписывала: "Отменить существующее право обращения матери в суд с иском об установлении

отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке"¹²⁸.

Эта статья как будто списана с "Секрета": "По законам того времени, никак нельзя было принудить отца моего, чтобы он выдавал моей матери деньги на пропитание детей. Хочет — выдаст. Не хочет — ничего не поделаешь! Отец освобождался от всяких обязанностей по отношению к своей незаконной семье"¹²⁹.

Оказалось, что Советская власть вернулась на позиции царизма. (Это положение просуществовало до 1968 г.¹³⁰). Горькие воспоминания о прошлом сделались вдруг обличением настоящего. Понятно, что переиздание книги в прежнем виде стало невозможным.

Если бы Чуковский категорически отказывался от каких-либо компромиссов, он перестал бы печататься еще в 20-х годах. Но жить-то надо было.

Дневник. "Май 1949 г. Если бы не болезнь М[арии] Б[орисовны] и не нужда в деньгах, ни за что не согласился бы я на такую обработку статьи.[...] Она так искажена, что мне больно держать ее в руках"¹³¹.

"5 мая 1959 г. Опять у меня нет пристанища. Из детской литературы вышибли, из критики вышибли, из некрасоведения вышибли"¹³².

14 августа 1960 г. появляется запись: "Я вожусь с "Гимназией" и вижу свою плачевную бездарность: бессонницы и старчество"¹³³. 11 февраля 1961 г.: "Завтра будут у меня Алянский и Цейтлин с рисунками к "Серебряному гербу"¹³⁴.

Работа Цейтлина Чуковскому не понравилась¹³⁵. ("Корнею Ивановичу очень хотелось, чтобы я проиллюстрировал его повесть "Серебряный герб", — вспоминал Н. Кузьмин. — Я не успел этого сделать"¹³⁶). Заново оформленная, книга лишилась портретного сходства иллюстраций: рисунки к "Секрету" и "Гимназии" были сделаны К. Клементьевой по семейным фотографиям¹³⁷.

Кроме многочисленных переименований и изъятия эпизодов, "ущемляющих широкую социальную тему", в новой редакции Чуковский добавил главы о продажности царского правосудия, что, в конечном итоге, сделало повесть классово-обличительной.

Он воспользовался "внутренними резервами": в качестве цитат из поэмы "Гимназиада" привел выдержки из "Нынешнего Евгения Онегина"¹³⁸.

С незначительными поправками (двух тождественных переизданий у Чуковского нет) повесть вышла в 1963 г., а потом была включена в готовящийся шеститомник. И вот что писал об этом автор: "1964 г. 2 июля.

Пришла верстка 1-го тома Собр. моих сочинений [...]. "Серебряный герб" мне по-прежнему отвратителен: это самая слабая, самая неоригинальная из моих книг. [...] "Бибигон" и "Серебряный герб" — единственные вещи, которые я писал без азарта, равнодушно и вяло"¹³⁹. "1965 г. 30 марта. Приходят чистые листы моего первого тома. Я очень сержусь на себя, что включил туда банальный "Серебряный герб"¹⁴⁰.

Но, несмотря на это, повесть была издана при жизни автора еще раз в 1966 г.

Живший так недавно, всем известный, Чуковский кажется ясным, как его сказки. Однако, чем больше о нем узнаешь, тем больше возникает вопросов. К нему вполне применимы слова, сказанные по другому поводу: "Нет маски более загадочной, чем это открытое лицо"¹⁴¹.

¹ Л. Либединская. Литературу надо любить!.. — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 175.

² Советские писатели: Автобиографии. М., 1959, т. 2, с. 639.

³ К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 147.

⁴ Там же, с. 148.

⁵ Из письма К. Чуковского сыну Николаю: "...Язык, которым я стал заниматься в 17 лет". (Жизнь и творчество Корнея Чуковского. М., 1978, с. 184).

⁶ ГАОО. Ф. 2, оп. 8. — Ед. хр. 717, л. 20, об. 21.

Маруся в это время жила отдельно, т.к. получила должность помощника воспитателей епархиального училища "со столом и квартирой" (Отчет о состоянии Одесского епархиального училища за 1896/7 гг.).

В графе "родной язык" под словом "русский" объединялись великорусский, малорусский и белорусский.

⁷ См. запись о венчании.

⁸ В "Одесских новостях" от 13 июня 1903 г. на с. 1 опубликована заметка К. Чуковского "Шаблонная новизна" о берлинской выставке, датированная 6(19) июня.

⁹ К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 272.

¹⁰ ГАОО. Ф. 2, оп. 1. — Ед. хр. 3075, л. 36.

¹¹ ГАОО. Ф. 37, оп. 13. — Ед. хр. 592, л. 50, об. 51. Тот же М. Марченко крестил В. Катаева и Е. Петрова.

¹² К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991. с. 37.

¹³ Списки домовладельцев с 1875 по 1905 годы.

В дневнике Чуковского есть запись от 02.03.01: "Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.

- Познались с ним, навещали к Надежде Кирпановне". См. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 10.
- Надежда Кирпановна Макари — мать С.Г. Макари. Она жила в доме № 6 по Ново-Рыбной ул. со своей младшей сестрой, вдовой Марией Косенко и ее сыновьями: Кирпанком и Иваном.
- (ГАОО. Ф. 2, оп. 8. — Ед. хр. 1535, л. 2, об. 3).
- 14 ГАОО. Ф. 2, оп. 2. — Ед. хр. 3033, 2958 на многих листах.
- 15 Одесские новости. 1903, 14 августа, с. 3.
- 16 Одесские новости. 1907, 18 июля, с. 3.
- 17 Вся Одесса на 1908 год. Одесса, 1908, с. 436.
- 18 К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 19.
- 19 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 148.
- 20 Там же, сс. 221, 224.
- 21 ГАОО. Ф. 2, оп. 8. — Ед. хр. 1532, л. 12, об. 13.
- По данным переписи населения 1897 г. в кв. № 6 дома Тарнопольского (№ 2) по Ново-Рыбной улице проживала семья одесских мещан: Гольдфельд Арон Берг Рунимович, 60 лет, бухгалтер частной конторы, грамоте обучался в гимназии; его жена — Тауба Ойзеровна, 45 лет, обучалась дома; сыновья: Абрам, 25 лет, обучался в коммерческом училище, частный писмоводитель; Александр, 18 лет, обучался в реальном училище (некоторое время в одном классе с Л. Троицким) и Ойзер 5 лет; дочери: Мария 16 лет, обучалась в частной гимназии; Анна, 14 лет, обучалась в народном училище; Юлифр 21 год, Розина 11 лет и Наталья 9 лет, обучались дома. Все уроженцы Одессы, иудейского вероисповедания, родной язык — еврейский.
- 22 О. Трудова. Он был ни на кого не похож. — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 327.
- 23 Там же.
- 24 ГАОО. Ф. 37, оп. 13. — Ед. хр. 568, л. 29, об. 30.
- 25 ГАОО. Ф. 37, оп. 13. — Ед. хр. 568, л. 83, об. 84.
- 26 О. И. Рябенко была учительницей церковно-приходской школы при епархиальном училище уже тогда, когда помощницей воспитателей туда поступила Маруся.
- (Архив-календарь Одесского градоначальства на 1903 год. Одесса, 1903, с. 410.
- Отчет о состоянии Одесского епархиального женского училища за 1894/5 учебный год. — Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. Одесса, 1896, № 12, с. 325).
- 27 ГАОО. Ф. 2, оп. 8. — Ед. хр. 2030, л. 8, об. 9.
- 28 ГАОО. Ф. 2, оп. 1. — Ед. хр. 3075, л. 26.
- Об Ал. Вознесенском см. биографический словарь "Русские писатели. 1800-1917". М., 1989, т. 1, сс. 458-459.
- 29 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 450.
- 30 Там же, с. 408.
- 31 Л. Копан. Чуковский начинался в Одессе. — Вечерняя Одесса, 1982, 30 марта, с. 3.

- 32 К. Чуковский. Собрание сочинений. М., 1965, т. 1, с. 7.
- 33 А.А. Лебединцев. Исторический очерк Одесской 2-й гимназии. Одесса, 1882.
- Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1895/6 год. Одесса, 1896, с. 143.
- 34 Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1896/7 год. Одесса, 1897, с. 111.
- 35 Одесский листок. 1898, 3 июня, с. 3.
- 36 К. Чуковский. Борис Житков. — В кн.: К. Чуковский. Современники. М., 1967, с. 68.
- 37 Жизнь и творчество Бориса Житкова. — В кн.: Сборник статей. М., 1955, с. 440.
- 38 М. Петровский. Читатель. — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 383.
- 39 1 декабря 1897 г. в Скорбященской церкви крестьяли сына губернского секретаря Андрея Никифоровича Корвита и его жены Марии Леонтьевны, учительницы (с 1907 г. содержательницы и преподаватели французского и немецкого языков женского училища Корвита). Воспреемниками были жена члена Кишиневского окружного суда Татьяна Павловна Невская и "ученик гимназии сын мещанина Николай Малуилов Корнейчуков". (ГАОО. Ф. 37, оп. 13. — Ед. хр. 356, л. 70, об. 71).
- 40 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 148.
- 41 ГАОО. Ф. 45, оп. 5. — Ед. хр. 4728, л. 8.
- 42 Одесские новости. 1903, 14 июня, с. 3.
- 43 К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 11.
- 44 В. Жаботинский. Повесть моих дней. Иерусалим, 1989, сс. 14, 15.
- 45 Там же, сс. 12, 13.
- 46 К. Дзювская. Записки секретаря. — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 228.
- 47 К. Чуковский. Как я стал писателем. — Юность. М., 1970, № 1, с. 78.
- 48 В. Жаботинский. Повесть моих дней. Иерусалим, 1989, сс. 35-36.
- 49 Н. Осипович. Один из своих. — Каторга и ссылка. М., 1924, № 9, сс. 81-84.
- 50 М. Золотоносов. Не "дешушка Корней", а именно "белый волк". Санкт-Петербургский университет, 1998, № 13.
- 51 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 354.
- 52 А. Резников. Путем взаимной переписки. — Вести-Север, Хайфа, 2000, 7 июня, с. 16.
- 53 Одесский листок. 1898, 4 января, с. 1.
- 54 О. Козовалова, Р. Шувалов. Жаботинский в Одессе. — Слово. Одесса, 1995, 20 октября, с. 6.
- 55 Л. Чуковская. Памяти детства. Санкт-Петербург, 2000, сс. 161, 164.
- 56 К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 522.
- К Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 533.
- 57 Вся Одесса на 1911 г. ч. А, с. 157.
- 58 Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1911/12 гг. Одесса, 1911, ч. 2, с. 364.
- 59 Вся Одесса на 1914 г. Административный указатель. С. 251.
- 60 ГАОО. Ф. 37, оп. 13. — Ед. хр. 1014, л. 24, об. 25.

61 Незаконнорожденные сами по себе не были явлением из ряда вон выходящим. В каждой метрической книге они составляли 15-20% от общего числа крещеных детей. Не регистрировали брак официально по многим причинам: мешала принадлежность к разным конфессиям, обязательным было согласие родителей, особое разрешение на брак требовалось студентам и мн. др. Но потом все можно было уладить.

А отец Чукковского Екаторину Осиповну с двумя маленькими детьми бросил.

62 Д. Чуковская. Памяти детства. Санкт-Петербург, 2000, с. 161.

63 К. Чукковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 323.

64 ГАОО. Ф. 16, оп. 63. — Ед. хр. 9, л. 110-111, об.

65 Я. Майстровой. Улица Одесса. Одесса, 1998, с. 120.

66 В. Шубин. Все, что он делал, было весело и талантливо. — В кн.: Одним дыханием с Ленинградом, 1989, с. 250.

67 Весь Петербург на 1894 год. сс. 190, 270.

68 К. Чукковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 323.

69 Аффанг од почетных граждан.

"77. Доктор медицины

Потомств. почет. Гражд.

Соломон Михайлов

Левенсон

жена его

сыновья их:

По постановлению Расторжидит.
Думы 15 декабря 1872 г.

Луиза Вольфова в 1880 г. 48 лет

Эмануэль паспорт 21-го апреля 1879 года за № 3580*

Герш, он же Григорий (принял православную веру)

Давид-Даниил в 1880 г. 24 года**

Мордка /Маркус/

Ульрих в 1880 г. 20 лет

Генриета

София в 1880 г. 11 лет

Розалия в 1880 г. 9 лет

дочери их:

* вместо возвращенного бессроч. паспорта за № 3580 выдан другой сроком на один год

26-го марта 1888 года за № 3720.

** жена Давида-Даниила Софья внесена согласно постановлению управления 9 января 1895 г. [...].

ГАОО. Ф. 16, оп. 125. — Ед. хр. 2, л. 55.

70 Этот факт совсем выветрился из памяти. В комментариях к последнему изданному повести сказано, что впервые она вышла под названием "Гимназия". (К. Чукковский.

Собрание сочинений в 15 тт. М., 2001, т. 2, с. 632.

71 К. Чукковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 149.

72 Там же, с. 151.

73 Там же, с. 154.

74 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 85.

75 Там же.

76 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 2, с. 32.

77 К. Чукковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 323.

78 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 86.

79 Одесские новости. 1904, 25 декабря, с. 2.

80 К. Чукковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 11.

81 Адресная и справочная книга г. Одессы на 1896 г. Одесса, 1896, с. 186.

82 К. Чукковский Секрет. — Пионер. М., 1938, № 2, с. 27.

83 Адресная и справочная книга г. Одессы на 1896 г. Одесса, 1896, с. 142.

84 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 82.

85 Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1899/1900 гг. Одесса, 1900, с. 75.

86 Там же.

87 Там же.

88 В 1898 г. С. Блюхин есть в списке закончивших шестиклассную мужскую гимназию. В 1900 — С. Блюхин с золотой медалью закончил 5-ю гимназию. См. Одесский листок, 1898, 3 июня, с.3 и Одесские новости, 1900, 7 июня, с. 3.

89 Т. Габбе. Повесть о детстве и повесть для детей. — Литературный критик. М., 1939, кн. 8-9, с. 158.

90 К. Чукковский. Борис Житков. — В кн.: К. Чукковский. Современники. М., 1969, сс. 77-78.

91 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 93.

92 К. Чукковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 323.

93 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 2, с. 37.

94 Курса́ки — район Одессы

95 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 85.

96 Там же, с. 86.

97 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 3, с. 62.

98 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 83.

99 Там же.

100 К. Чукковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 2, с. 22.

101 К. Чукковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 381.

102 М. Алтер. Долгие прогулки. — В кн.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 291.

103 К. Чукковский. Гимназия. М.-Л., 1938, с. 33.

104 К. Чукковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 244.

Подробнее о Мейере в Одессе см. мою статью "Из сылки заблужения" (Вечерняя Одесса, 2001, 19 апреля, с. 4).

105 Книга экспонируется в Одесском литературном музее.

- 106 В.П. Троицкий. ...Ибо думатье наш удел и наше оружие. — Вопросы философии. М., 2000. № 3, с. 84.
- 107 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1938, с. 71.
- 108 Д.С. Лихачев. Ал.Ал. Мейер. — Вопросы философии. М., 1992, № 7, с. 92.
- 109 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 244.
- 110 Д.С. Лихачев. Ал.Ал. Мейер. — Вопросы философии. М., 1992, № 7, сс. 92, 93.
- 111 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1938, с. 71.
- 112 Там же.
- 113 Одесские новости. 1900, 7 июня, с. 3.
- 114 Г. Черненко. Вечный Колдунб. Л., 1982, с. 43.
- 115 А. Бармин. Соколы Троцкого. М., 1997, с. 488.
- 116 К. Чуковский. Дневник (1901-1929). М., 1991, с. 521.
- 117 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1938, с. 69.
- 118 В. Юреньева. Воспоминания актрисы. М.-Л., 1946, с. 67.
- 119 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 125.
- 120 Вопросы литературы. М., 1972, № 1, с. 168.
- 121 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1938, с. 16.
- 122 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1940, с. 14.
- 123 К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1938, с. 17.
- К. Чуковский. Тимназия. М.-Л., 1940, с. 15.
- 124 Изменения, внесенные в экземпляр 1938 г., в издании 1940 г. отсутствуют.
(Предводитель вражеской компании по-прежнему Хаксель Кур и т.д.). Эти поправки вошли в текст 1961 г. А следящие во втором издании книги — отменены. Например, жестянка опять "крутая, леткая и звонкая"...
- 125 А. Марголина. Советская повесть о детстве. — В кн.: О детской литературе. Сборник статей. М., 1950, с. 191-192.
- 126 Свод законов Российской Империи. Стб, 1857, т. 10, ч. 1, сс. 27-28.
- 127 Советское семейное право. Киев, 1981, сс. 31, 32.
- 128 Сборник нормативных материалов по советскому семейному праву. М., 1965, с. 54.
- 129 К. Чуковский. Секрет. — Пионер. М., 1938, № 4, с. 94.
- 130 Основы законодательства Союза ССР и Союзных республик о браке и семье. М., 1968, с. 18.
- 131 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 188.
- 132 Там же, с. 285.
- 133 Там же, с. 291.
- 134 Там же, с. 300.
- 135 Там же, с. 308.
- 136 Н. Кузьмин. Давно и недавно. М., 1982, с. 300.
- 137 Это видно из сравнения фотографии Екатерины Осиновой, опубликованной в

- "Дневнике (1901-1929)", с рисунком в "Пионере" № 2 за 1938 г. на стр. 30. Бросается в глаза сходство героя повести, изображенного Клементьевой, с Чуковским.
- 138 К. Чуковский. Серебряный герб. М., 1961, с. 129.
- Одесские новости. 1904, 25 декабря, сс. 2-3.
- 139 К. Чуковский. Дневник (1930-1969). М., 1995, с. 358.
- 140 Там же, с. 368.
- 141 М. Шапшин. Собр. соч. М., 1973, т. 5, с. 344.



"Опасная пьеса"

Беседа, запись которой вы сейчас прочтете, состоялась десять лет назад. Предыстория ее такова.

Я давно собирался взять интервью у Юрия Дынова. Имя это мне, как и многим одесситам моего поколения, было знакомо с детства, ибо кто в пятидесятых-семидесятых не знал артистов нашего знаменитого Театра музкомедии. Но Дынов выделялся даже на фоне блистательной труппы времен Гриншпуна и Ошеровского, поскольку был не только превосходным артистом (последним, быть может, истинным "героем-любовником" на одесской сцене), но и одаренным литератором. Его пьеса о Пушкине "Всего тринадцать месяцев", впервые поставленная в Русском драмтеатре Владимиром Бортко, затем обошла многие сцены, включая даже знаменитый в ту пору Театр Ленсовета. Правда, если говорить честно, меня в пору нашего разговора больше интересовали внутритеатральные коллизии, коими так богата история нашей Музкомедии.

Когда я позвонил Юрию Зиновьевичу, он дал согласие принять меня на следующий же день. Мы встречались несколько раз, беседовали долго и подробно. Строго говоря, беседой назвать этот процесс было сложно: Дынов рассказывал, а я лишь изредка вставлял вопросы. Говорил Юрий Зиновьевич увлекательно и откровенно, может быть, даже чересчур, особенно если учесть, что до этой встречи мы были знакомы, что называется, шапочно.

Особой моей заслуги в том нет, разве что я был очень внимательным слушателем, а артист, в то время уже серьезно больной и редко покидавший стены своей квартиры, попросту нуждался в собеседнике.

Разговоры наши я записывал на диктофон, а затем принес отредактированный текст ему на просмотр. Читал его Юрий Зиновьевич очень внимательно, внос поправки буквально в каждый абзац. Особенно волновали его интонационные неточности, тем более, что если говорить честно, его рассказ в моей передаче выглядел сильно уж приглаженным. Так мы проработали часа два с лишним.

А на следующее утро он вдруг позвонил мне и сказал, что не спал всю ночь — так разволновался своим воспоминаниям, и решил, что пока интервью публиковать не надо.

— Вот когда я умру, делайте с этим, что хотите!

Недавно я вынул из старой папки запись нашей беседы. И понял, что лучше дать именно такой, неприглаженный, "первичный" текст. Может, хоть таким образом сохранятся живые интонации прекрасного артиста и талантливого человека, каким, увы, теперь уже был Юрий Зиновьевич Дынов...

"А стих звучит, как вечный гром"

— Всю жизнь я мечтал сыграть Пушкина — сам. Меня интересовал его период жизни одесский, потому что я ходил по тем же улицам... Я обращался к писателям: дайте пьесу. Я жил на Щепкина, и однажды после спектакля под дождем шел с поклонниками домой. Сильный порыв ветра

загнал нас на улице Красной Гвардии во двор. Ударил молния, и вдруг какой-то старый еврей сказал:

— Товарищ Дынов, вы пришли под пушкинский тополь.

Я спросил его:

— Во-первых, как вы меня узнали?

Он ответил:

— По мизансцене. Вы так держите девушку, что я узнал вас, что это вы.

— Второе: почему "пушкинский" тополь?

Он сказал:

— Вы посмотрите на эти окна!

Еще раз ударила молния, я смотрю: дерево два метра шириной и высотой метров тридцать, ветви его начинаются на уровне второго этажа.

— Да это же окна Амалии Ризнич!

Я:

— Как?

Он:

— Да, вот здесь, наверное, начинается "Для берегов отчизны дальней..."

Я смотрю: слева — стена, увитая виноградом, вверх — бездонный тополь. Я забыл, что я шел, с кем я шел. Я попрощался с почитательницами, простоял полтора-два часа у тополя, и у меня родились стихи, из которых началась пьеса...

Есть старый дом в Одессе новой,
Лозой увитая стена,
И тополь тридцатиметровый
У окон, где жила она.
Он втрое вырос выше зданья
Как остров в море суеты,
Он перерос свои желанья,
Он перерос свои мечты.
Поэт и тополь — однолетки,
И в ту далекую весну
Тянулись их мечты и ветки
К ее заветному окну.
О той любви молниеносной
Забыли дерево и дом,
Давно уж молния угасла,
А стих звучит как вечный гром.

И по утрам стучат столетья,
Из крана капли, как шаги,
И в те же окна рвутся ветви
Совсем живые, как стихи...

И я понял, что ни к каким писателям не надо обращаться...

"Я поднялся над самим собой"

— Поэт я средний. Но в жизни у людей бывают моменты. Ружье де Лиль, который за ночь написал "Марсельезу"... Как рождались стихи к пьесе? Я бегал вдоль берега моря — десятки километров, — и в размере шага рождался ритм... Монологи, которые в пьесе отданы Пушкину, — это мои личные монологи. Это мои личные любовные стихи. Я насытил пьесу личными переживаниями. У меня было много эпиграмм, шуток, которые я использовал...

Вот еще случай. Мы были на гастролях на Волге, и там я увидел, как плывет по реке топляк. А Пушкин любил повторять: то так — то пятак... А я как раз сочинял сцену, где Пушкин ходатайствует перед графом, чтобы его отпустили из Одессы... И родилось...

То так — то пятак,
А то и денежка, гляди-ка.
Грустишь — ты бедняк,
Улыбнулся — ты владыка
...
То так — то пятак...
Топят так...

Была странная вещь: я ночью спал и начисто писал стихи. Причем, отмечал ненужное, как компьютер... Я просыпался ночью, будил Иванову (а у нее была дикая память), наговаривал ей и засыпал. Она не всегда записывала, но утром помнила... Эта маниакальность и дала мне такой толчок: я поднялся над самим собой, над своими средними способностями.

"Мне очень многие помогали"

— Когда я просмотрел материал для будущей своей пьесы, я решил пойти в университет, показать... Была такая пара: Шайкевич-Барская. Барская вокруг себя талантливо организовывала молодых людей... Она была

моей почитательницей как актера (потом она рассказывала). Но как актера меня все воспринимали как героя-любовника, а известно, что герой-любовник — это долдон, покоритель сердец... Внешне так и было: когда я шел домой после спектакля, то с цветами, и десятки девушек... Когда я пришел к Барской, я сказал, что что-то написал, но не понимаю сам, что именно. Она улыбнулась, рассмеялась: "Пойдемте лучше чай пить". Она потом рассказывала, что решила, что будет слушать минут десять-пятнадцать, но я читал полтора часа, потом мы поужинали, и она попросила прочесть еще раз... Она познакомила меня со старухой знаменитой, Бабайцевой... Я одну закономерность уловил, которая впоследствии точно подтвердилась: все, кто был связан с Пушкиным, — они были молоды. Старухе было лет 80, к разговору с ней я готовился, как будто молодой человек пришел к свидетельнице другого столетия. Но мы оказались ровесниками... Она написала письма рекомендательные в Москву и Ленинград. Я поехал туда, вооруженный Пушкиным и дикой верой в себя... Я скрывал, что я артист оперетты, но, видимо, актерское обаяние (герой-любовник должен обаять) действовали безотказно. Я пришел к Борису Мейлаху, он дал мне на чтение пять минут. Я читал час, потом еще — для его жены. Он мне дал письмо в Москву к Татьяне Цявловской. Бабайцева меня предупреждала: смотрите, не влюбитесь (а Цявловской тоже было лет 80). Она тоже вначале дала на чтение пятнадцать минут, но я прочитал ей всю пьесу целиком... Положила меня в столовой спать, сама взяла пьесу и всю ночь читала с пометками. А я спал среди подлинников пушкинских. Утром она пришла и сказала: "Я скоро умру, и хочу посылить помочь вам". И написала отзыв...

"Пьеса Дынова ничем не оскорбляет ухо человека, посвятившего свою жизнь изучению Пушкина, а это бывает почти неминуемо в пьесах о Пушкине... Вместе с тем, он избежал неминуемой цитации поэта, наполнения его речи выдержками из его писем и статей, а этим страдают почти все беллетристические произведения о Пушкине... Думаю, что постановка драмы Ю. Дынова на сцене может стать событием нашей театральной жизни.

Член Пушкинской комиссии Академии наук СССР Цявловская. 22.03.69 г."

Мне очень многие помогали: я сталкивался с таким количеством талантливых людей, которые шли на этот огонек. Был в Кишиневе такой актер Сережа Некрасов, сейчас москвич, он страшно захотел сыграть пьесу (вообще, "толкали" пьесу мечтающие сыграть роль) и отправился с нею к академику Дмитрию Благому... Не сказав мне ни слова...

Вот из отзыва Д. Благого:

"Попыток драматургического воплощения разных эпизодов из жизни Пушкина имеется немало, однако, несмотря на то, что среди авторов пьес о Пушкине такие мастера слова и театра как Булгаков и Паустовский, ни одна из них не может быть признана по-настоящему удавшейся. Пьеса совсем неизвестного мне как драматурга одесского автора имеет много достоинств. Образы самого Пушкина и его одесского окружения, фабула... соответствуют в основном исторической действительности. Пьеса написана живым и острым языком, полна драматического движения. Я не видел, как она показана одесским театром, но думаю, что она могла бы быть с успехом поставлена после некоторой авторской дошлифовки и устранения частных фактических ошибок (погрешностей) и на столичной сцене. Все, понятно, зависит от того, удастся ли найти главного актера — Пушкина. Наиболее из всех Пушкинских пьес, удержавшихся на сцене и принятых даже специалистами-пушкиноведами, пьеса Андрея Глобы, сама по себе отнюдь не блестящая, обязана была этим исполнению роли Пушкина Якутом...

19.07.70 г. Д. Благой".

Когда я принес пьесу в Минкульт, мне сказали: пьеса талантливая, но вы не "пройдете" пушкинистов.

Я спросил:

- Кто же вам нужен?
- Цявловская.

Я говорю:

- Нате!
- Ну, Цявловская — женщина, вы могли ее очаровать... Вот если Благой...
- Нате...

И больше — слова не произнесли. Цензура решила, что это — цитатная пьеса. Они приняли пьесу за пушкинскую... Только в одном месте вышла заминка: об Одессе...

"...тут и украинцы, и греки,
Евреи, молдаванин, арнаут,
Сливаясь воедино, словно реки
Талантливейший город создают".

Сказали: может это лишнее, о национальностях? Я говорю: нет, это Пушкин...

"Это опасная пьеса"

— Когда пьеса репетировалась в Русском театре, Бортко уговаривал меня сыграть Пушкина. А это была моя мечта... Читал я его блистательно. Однажды после репетиции я сидел у Наумцева... А до того, после одной из репетиций, я попросил у Наумцева парик, надел его и увидел торжествующие глаза Бортко. А они с Наумцевым были враги. И Наумцев мне говорит: ты можешь сыграть, только я больше играть не буду. А ты больше двух спектаклей не сыграешь...

Работая с Бортко, я понял, что талант — это не образованность, не интеллигентность, талант — это стихия грубая, примитивная, кровавая, связанная с водкой, с сексом... Но Бортко — это была глыба...

На одном из премьерных спектаклей мне рабочие какого-то завода подарили трость пушкинскую, отлитую из чугуна, она весила — не знаю сколько. Простые рабочие парни....

Ленинградский критик Панкеев-Сахновский познакомил меня с Юрским, и мы стали, не скажу — друзьями, но близкими людьми. Но в это время уже кончался "юрский" период в БДТ: Товстоногов его уже не жаловал. Дина Шварц, завлит, сперва загорелась пьесой, но поскольку это касалось Юрского, то ее пыл пропал... Юрский хотел сыграть Пушкина, и я себе его представлял, так как видел его в роли Чацкого...

Я понимал, что это опасная пьеса. Я это увидел воочию, когда в Ленинграде в Театре Ленсовета (средний спектакль был) присутствовал Романов... Там есть сцена, когда Пушкин после скандала с Воронцовым выходит на авансцену. Я умолял Баркова, чтобы он не бросал в зал эти слова. Но Барков подошел именно к авансцене и сказал:

Ах, саранчовая орава,
Без мыла влезшая в чины,
Кто говорить дает вам право
Со мною от лица страны?!
Страны великой из великих,
Хотя б за то, в конце концов,
Что при хранителях безликих
Хранит великое лицо...

И еще:

Россия — странная страна.
В ней даже жить порой геройство.
Почти при всех царях она —

Устроенное неустройство.
Россия — край метаморфозы,
Где всех одна связала нить,
Где шутка порождает грозы,
Чтоб грозы в шутку превратить...

Романов даже отшатнулся...

Я хотел дать прочитать пьесу Эфросу, когда он был с театром у нас на гастролях в 1970 году. Эфрос сказал: меня это интересует. Мы договорились, что я принесу ему пьесу, но я спасовал. Пьеса остра до невозможности, а, попав в руки Эфроса, у которого каждое слово сияющим становится... Я понял, что пьеса будет зарублена как диссидентская, и отступил. Это было одно из тех жизненных отступлений, за которые потом бессонными ночами сам горько расплачивался...

Но самое сильное мое впечатление от этой пьесы — это детский спектакль, который я поставил в 117-й школе. Я поставил его с восьмиклассниками. В этом классе учился мой сын. Если и было потрясение, так с этими детьми. Дети жили год или полтора моей пьесой. Они возили ее в Ленинград, играли там в музее Пушкина... Они и сейчас ходят ко мне как к самому близкому родственнику. Один пришел и сказал: "Спасибо, благодаря вам я понял Высоцкого". Он после Пушкина понял, что такое Высоцкий... Я прожил это время в счастливом состоянии, я видел, насколько я необходим...



Маэстро в драматическом театре

В зрительном зале медленно гаснет свет. На театральный занавес падают цветные блики прожекторов. Затихает партер, смолкают голоса в амфитеатре. И в эти мгновения за дирижерским пультом появляется человек, которому принадлежит право начать театральное действо.

Удивительно красивый по своей пластике взмах руки — и музыка, льющаяся из оркестровой ямы, становится пейзажем, обозначением эпохи, состоянием души.

Затем музыка уступает место слову. В судьбе сценических героев происходит то, что происходит в реальной жизни: озарения, разочарования, мгновения счастья... И когда слов оказывается недостаточно, чтобы все это выразить, вновь звучит музыка. Волшебство дирижерской палочки одухотворяет оркестр, хор, певцов, сообщает энергию сценическому движению и танцу. Человек, стоящий за пультом, словно расширяет сценическое пространство. Житейские события и ситуации приобретают философский смысл. Трагическое обжигает сердце, вызывает сострадание, а комическое становится смешнее за счет неожиданных штрихов, проявляющихся в музыкальной характеристике образов. И в том, и в другом случае музыка становится неотъемлемой частью спектакля, во многом определяет его жанр и тональность. А за всем этим — он, музыкальный руководитель, соавтор постановки.

Около полувека таким человеком в Одесском украинско-музыкально-драматическом театре имени В. Василько был заслуженный деятель искусств Украины Борис Соломонович Зильберглейт.

Он родился в Одессе в 1922 году в интеллигентной семье. Учился игре на скрипке у П. Столярского. Это были годы расцвета школы выдающегося педагога, школы, в которой всегда царили атмосфера творчества, упорного труда и целеустремленности.

Буквально со школьной скамьи Борис Зильберглейт ушел на фронт. После демобилизации (в 1943 году) начал работать артистом оркестра в Карагандинском музыкальном театре. Там впервые стал за дирижерский пульт. Произошло это 1 января 1945 года, когда по каким-то причинам штатный дирижер не пришел на работу и спектакль оказался под срывом.

Летом этого же года Б. Зильберглейт возвратился в родную Одессу,

Устроенное неустройство.
Россия — край метаморфозы,
Где всех одна связала нить,
Где шутка порождает грозы,
Чтоб грозы в шутку превратить...

Романов даже отшатнулся...

Я хотел дать прочитать пьесу Эфросу, когда он был с театром у нас на гастролях в 1970 году. Эфрос сказал: меня это интересует. Мы договорились, что я принесу ему пьесу, но я спасовал. Пьеса остра до невозможности, а, попав в руки Эфроса, у которого каждое слово сияющим становится... Я понял, что пьеса будет зарублена как диссидентская, и отступил. Это было одно из тех жизненных отступлений, за которые потом бессонными ночами сам горько расплачивался...

Но самое сильное мое впечатление от этой пьесы — это детский спектакль, который я поставил в 117-й школе. Я поставил его с восьмиклассниками. В этом классе учился мой сын. Если и было потрясение, так с этими детьми. Дети жили год или полтора моей пьесой. Они возили ее в Ленинград, играли там в музее Пушкина... Они и сейчас ходят ко мне как к самому близкому родственнику. Один пришел и сказал: "Спасибо, благодаря вам я понял Высоцкого". Он после Пушкина понял, что такое Высоцкий... Я прожил это время в счастливом состоянии, я видел, насколько я необходим...



Маэстро в драматическом театре

В зрительном зале медленно гаснет свет. На театральный занавес падают цветные блики прожекторов. Затихает партер, смолкают голоса в амфитеатре. И в эти мгновения за дирижерским пультом появляется человек, которому принадлежит право начать театральное действо.

Удивительно красивый по своей пластике взмах руки — и музыка, льющаяся из оркестровой ямы, становится пейзажем, обозначением эпохи, состоянием души.

Затем музыка уступает место слову. В судьбе сценических героев происходит то, что происходит в реальной жизни: озарения, разочарования, мгновения счастья... И когда слов оказывается недостаточно, чтобы все это выразить, вновь звучит музыка. Волшебство дирижерской палочки одухотворяет оркестр, хор, певцов, сообщает энергию сценическому движению и танцу. Человек, стоящий за пультом, словно расширяет сценическое пространство. Житейские события и ситуации приобретают философский смысл. Трагическое обжигает сердце, вызывает сострадание, а комическое становится смешнее за счет неожиданных штрихов, проявляющихся в музыкальной характеристике образов. И в том, и в другом случае музыка становится неотъемлемой частью спектакля, во многом определяет его жанр и тональность. А за всем этим — он, музыкальный руководитель, соавтор постановки.

Около полувека таким человеком в Одесском украинско-музыкально-драматическом театре имени В. Василько был заслуженный деятель искусств Украины Борис Соломонович Зильберглейт.

Он родился в Одессе в 1922 году в интеллигентной семье. Учился игре на скрипке у П. Столярского. Это были годы расцвета школы выдающегося педагога, школы, в которой всегда царили атмосфера творчества, упорного труда и целеустремленности.

Буквально со школьной скамьи Борис Зильберглейт ушел на фронт. После демобилизации (в 1943 году) начал работать артистом оркестра в Карагандинском музыкальном театре. Там впервые стал за дирижерский пульт. Произошло это 1 января 1945 года, когда по каким-то причинам штатный дирижер не пришел на работу и спектакль оказался под срывом.

Летом этого же года Б. Зильберглейт возвратился в родную Одессу,

поступил в консерваторию на дирижерско-хормейстерский факультет и начал работать (скрипач) в оркестре Украинского театра. С утра — занятия, с которых он сбегал на репетиции в театр, потом возвращался в консерваторию, оттуда — опять в театр, на спектакль. В консерватории его наставником был выдающийся хормейстер и педагог профессор Константин Пигров, в театре — одаренный дирижер и композитор Василий Штайгер.

Однако с В. Штайгером они проработали недолго: прошло немногим более года, как многоопытный дирижер ушел из жизни, и его место занял студент-второкурсник Б. Зильберглейт. Занял уверенно, отдавая работе всего себя, без остатка. Его молодость не стала помехой во взаимоотношениях с маститыми режиссерами и мастерами сцены, которые сразу оценили его талант, эрудицию, высокую требовательность к себе и другим.

Осенью 1947 года стало известно, что театр возглавит выдающийся украинский режиссер Василий Степанович Василько. Это был третий приезд Мастера в Одессу, и те, кто с ним работал до войны, много рассказывали молодому дирижеру о суровом характере В. Василько, о том, что он сотрудничает только со своей, годами проверенной, командой, что перед ним трепещут даже народные артисты.

Холодок отчаяния не раз будоражил Бориса: а вдруг Василько не захочет работать с ним? Тогда — прощай, театр, который уже стал частью его души.

Но, к счастью, все произошло иначе. Василько сразу оценил молодого музыканта, приблизил к себе, полюбил. Его дом стал для Бориса Соломоновича вторым родным домом. Василько был не просто его наставником. Он стал его кумиром, образцом служения искусству, эталоном порядочности.

Самолюбивый и легкоранимый, Борис всегда прощал Мастеру порой незаслуженные резкости в процессе репетиций, понимая, что это — от напряженных поисков оптимальных решений. А после репетиций седовласый режиссер не считал для себя зазорным попросить прощения у молодого музыканта за срывы и свой командный тон. В кругу друзей Василько не раз говорил: "Я люблю Бориса Соломоновича как сына".

В. Василько был на редкость внимательным человеком. Он не упускал малейшей возможности выразить людям свое уважение, одобрить их творческие начинания, поблагодарить за совместный труд. И делал это не только устно, но и письменно. В архиве Б.С. Зильберглейта сохранилось немало записок, полученных от Мастера. В 1955 году, когда исполнилось десять

лет работы Бориса Соломоновича в Украинском театре, Василько написал ему: "Вітаю Вас як диригента та композитора з днем Вашого творчого повноліття. Залишаюсь прихильником Вашого таланту. Вірю в подальше Ваше творче зростання, щиро бажаю успіху". А вот письмо, написанное после триумфальной премьеры "Тайдамаки": "Дорогий, любий Борисе Соломоновичу! В який уже раз ми випускаємо спільно з Вами нову виставу!.. Спасибі Вам за чудову оркестрову музику до "Тайдамаків". Своєю працею Ви допомогли мені створити хорошу виставу... Ви — один з тих, хто захоплював мене ставити "Тайдамаки". Ціную Ваш художній смак і бажаю Вам подальших успіхів!".

Именно Василько разглядел в Б. Зильберглейте композиторский дар и буквально заставил написать музыку к спектаклю "Губернатор провинции". С этого удачного опыта началось композиторское творчество Бориса Соломоновича, написавшего музыку более чем к 120 постановкам.

Б. Зильберглейта неоднократно приглашали на работу в другие театры, в том числе музыкальные, где, возможно, могла ярко сложиться его карьера как дирижера. Но он на всю жизнь остался верен своему, Одесскому украинскому. Проводимые им оркестровые и хоровые репетиции начинались минута в минуту, опоздать или прийти на них неподготовленным было немислимо. Он был требователен до крайности, но это никого не обижало, потому что все знали, что он работает на результат. Через его руки прошли десятки оркестровых музыкантов, драматических актеров, вокалистов, неизменно с благодарностью вспоминающих годы работы с ним. Не было спектакля, после которого Борис Соломонович не поклонился оркестру и не поблагодарил музыкантов.

Его эрудиция поражала. Он великолепно знал мировую литературу и музыку, глубоко разбирался в украинском песенном фольклоре. Был необычайно чуток к стилю драматургии, к режиссерскому замыслу. Бывало, постановщики просили его написать оригинальную музыку к спектаклю, а он говорил, что здесь уместнее использовать фрагмент из симфонии Лятошинского, или фугу Баха, или тему из фортепианного концерта Грига.

Как композитор, пишущий для театра, Борис Соломонович умел воплотить в небольшом музыкальном фрагменте эмоциональное состояние героя, точно найти лейтмотив всего спектакля, задать музыкой его темпоритм. Его композиторский труд высоко ценили многие режиссеры. В 1978 году Матвей Ошеровский задумал постановку спектакля "Шель-

менко-денщик". Он ознакомился с музыкой Б. Зильберглейта к предыдущей постановке, она ему понравилась, но потребовалось дописать еще несколько номеров. С каждым новым номером "аппетит" режиссера разгорался: он придумывал новые музыкальные эпизоды. И в результате получился яркий, веселый, по-настоящему музыкальный спектакль. Позднее, уже из Москвы, Матвей Абрамович писал Б.С. Зильберглейту: "Я с радостью вспоминаю ваше доброе ко мне отношение во время постановки спектакля "Шельменко-денщик", ваш огромный труд, вложенный в этот спектакль, большой талант композитора, сумевшего почувствовать и поверить в замысел постановщика и так щедро украсить спектакль своей музыкой".

Б. Зильберглейт великолепно писал инструментовки для небольшого состава оркестра и неизменно добивался высочайшего качества звучания. Сколько раз даже умудренные опытом специалисты удивлялись мощности и монолитности оркестра, насчитывавшего 20 человек! Столь же филигранно всегда звучал хор театра, в котором пел весь творческий состав. Не зря говорили, что благодаря Зильберглейту Одесский украинский театр сначала — музыкальный, а потом — драматический.

Борис Соломонович любил молодежь, подсказывал, помогал молодым режиссерам, откликался на любую просьбу или творческую заявку молодых актеров. Учил и... учился сам. Начиная работу над новым спектаклем, интересовался театральной эстетикой драматурга, культурой его эпохи, творческой историей пьесы, размышлял, насколько этот материал созвучен сегодняшнему дню. Поэтому так выразительна и современна его музыка к "Пунтиле" Брехта и "Тевье-молочнику" Шолом-Алейхема, "Генералам в юбках" Ануя и "Матросской тишине" Галича... Поэтому столько фантазии, юмора и лирики, мелодического богатства в музыке к спектаклям "У неділю рано зілля копала", "За двома зайцями", "Земля" и многим-многим другим постановкам украинской классики.

В сентябре 1995 года должно было исполниться 50 лет его работы в Одесском украинском театре. Он не дожил до этого юбилея несколько недель.

Древние говорили, что человек жив, пока его помнят. Эта истина применима к Борису Зильберглейту. Его музыка звучит в спектаклях не только одесского, но и многих других театров Украины. Незримо он продолжает свою жизнь в театре, которому отдал себя всего, без остатка, который любил и завещал любить другим.

Он был нашим другом и наставником

Народный артист Украины Генрих Осташевский:

Борис Соломонович был не только талантливейшим музыкантом — он был совестью нашего театра. Он всегда был глубоко заинтересован в том, чтобы все компоненты спектакля складывались в единое целое, имя которому — художественный результат. Часто тактично подсказывал режиссерам, как лучше выстроить массовую сцену, как точнее решить тот или иной эпизод. Б. Зильберглейт любил и ценил людей, и это ощущали все. Выступая на худсоветах, обсуждениях, производственных совещаниях, он всегда был объективен и справедлив. С его мнением считались, к нему всегда прислушивались. Он был в высшей степени порядочным человеком, добрым, открытым, хорошим товарищем. Таким мы его помним и любим.

Народный артист Украины Анатолий Дриженко:

Борис Соломонович всегда потрясал нас своими глубокими знаниями, высоким профессионализмом, умением "раствориться" в актере. Работая над музыкальными спектаклями, он умел раскрыть исполнителя до предела. У нас пели все, и делали это по-настоящему хорошо. Он помог мне создать образы Караса, Выборного, Цыбули, Шпака и еще многие другие, где музыка определяет характер персонажа. Я не знаю в театре человека, который бы не уважал Зильберглейта. А уважать было за что. Он был не только прекрасным специалистом, но и прекрасным человеком.

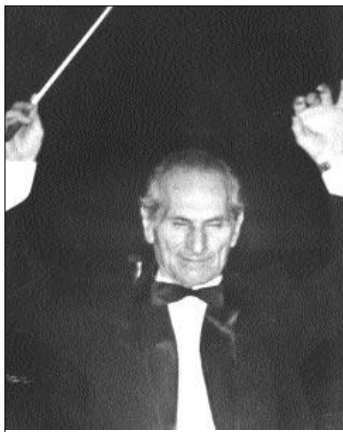
Марк Фатер, артист оркестра:

Я проработал с Борисом Соломоновичем многие годы. О том, что он был великолепным музыкантом, музыкантом от Бога, — говорить не приходится. Но как он относился к людям! Он был требователен до крайности, но и в такой же степени справедливым человеком. Не было случая, чтобы после спектакля он не поблагодарил оркестр. А руководитель, часто говорящий подчиненным "спасибо", дорогого стоит. У него был тонкий вкус, великолепная эрудиция, потрясающая работоспособность. Благодаря этому музыкальная часть в театре всегда была на высоте.

Народный артист Украины Игорь Равицкий:

Я работал с Борисом Соломоновичем свыше десяти лет, и вспоминаю наши совместные постановки с самыми добрыми чувствами. Какую вели-

колепную, умную и тонкую музыку написал он к "Тевье-молочнику"! Как оригинально решил музыкальное пространство в "Гамбринусе"! Как органичны были музыкальные номера в спектакле "Земля"! Он обладал чуткостью к режиссерскому замыслу и всегда творчески развивал его. Борис Соломонович "болел" театром. Он всегда проявлял огромную заинтересованность в том, как формируется репертуар, как будут распределены роли, как выглядит театральная афиша. Почти семь лет его нет с нами, но дух его витает в театре, с которым он связал свою жизнь.

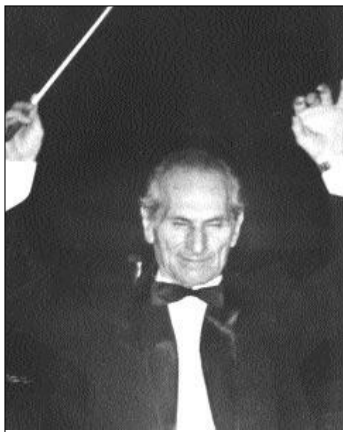


По закону узнавания

Никогда еще в истории жизнь не текла столь стремительно, как во время, в которое нам выпало жить. Такое ощущение, что появившись на свет чуть ли не в каменном веке, мы вынуждены наскоро постигать какую-то иную, виртуальную реальность, автоматически забывая что-то простое, с детства знакомое, как звяканье стакана о подстаканник, радость манипулирующего с магнитами школьника... Да мало ли было в нашем советском прошлом такого, что вызывает ностальгию, едва внятную нынешней молодежи? Об этом был шанс задуматься у тех счастливых, которым удалось посетить гастрольные спектакли Московского государственного театра "Школа современной пьесы". Художественный руководитель этого завершившего уже тринадцатый сезон коллектива, режиссер, входящий во вторую десятку лучших театральных режиссеров России, одессит (язык не поворачивается назвать его одесситом бывшим) Иосиф Леонидович Райхельгауз привез в свой родной город спектакль "Записки русского путешественника" по пьесе популярного молодого российского драматурга Евгения Гришковца.

Как нельзя по одному этому спектаклю судить обо всем репертуаре "Школы современной пьесы", так и нельзя по одним "Запискам" судить о Гришковце в целом. Феномен Гришковца как нельзя лучше описала московский критик Алена Данилова в номере третьем журнала "Театр" за минувший год. Ее впечатления основывались на двух моносpectаклях Евгения Гришковца, "Как я съел собаку" и "ОдноврЕмЕнно": "Не так давно появившись на московских подмостках, Гришковец привел публику в состояние заинтересованного недоумения. Смущающийся, трогательный молодой человек, сбиваясь и запинаясь, что-то очень доверительно рассказывал со сцены. И это что-то, надо сказать, сначала приводило зал в неописуемый восторг, а уже потом заставляло сомневаться. Гришковец работает на безотказном приеме, в котором и заключается главный закон театрального успеха — закон узнавания. Зритель откликается всем своим существом, когда актеру на сцене удастся уловить и сыграть именно его черты. Трудность заключается в том, чтобы затронуть не одного зрителя, но весь зал. Все перемешалось, нарушена псевдогармония советской действительности. Но осталась очевидная точка соприкосновения, которую и обнаружил Гришковец — прошлое, точнее, воспоминания. Щедро насыщая фабулу

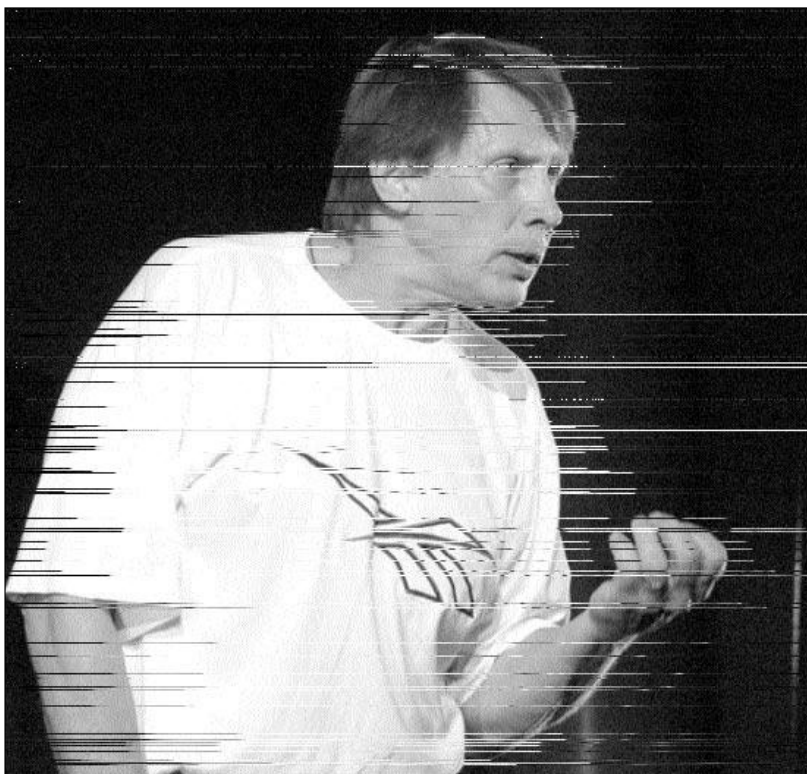
колепную, умную и тонкую музыку написал он к "Тевье-молочнику"! Как оригинально решил музыкальное пространство в "Гамбринусе"! Как органичны были музыкальные номера в спектакле "Земля"! Он обладал чуткостью к режиссерскому замыслу и всегда творчески развивал его. Борис Соломонович "болел" театром. Он всегда проявлял огромную заинтересованность в том, как формируется репертуар, как будут распределены роли, как выглядит театральная афиша. Почти семь лет его нет с нами, но дух его витает в театре, с которым он связал свою жизнь.



По закону узнавания

Никогда еще в истории жизнь не текла столь стремительно, как во время, в которое нам выпало жить. Такое ощущение, что появившись на свет чуть ли не в каменном веке, мы вынуждены наскоро постигать какую-то иную, виртуальную реальность, автоматически забывая что-то простое, с детства знакомое, как звяканье стакана о подстаканник, радость манипулирующего с магнитами школьника... Да мало ли было в нашем советском прошлом такого, что вызывает ностальгию, едва внятную нынешней молодежи? Об этом был шанс задуматься у тех счастливых, которым удалось посетить гастрольные спектакли Московского государственного театра "Школа современной пьесы". Художественный руководитель этого завершившего уже тринадцатый сезон коллектива, режиссер, входящий во вторую десятку лучших театральных режиссеров России, одессит (язык не поворачивается назвать его одесситом бывшим) Иосиф Леонидович Райхельгауз привез в свой родной город спектакль "Записки русского путешественника" по пьесе популярного молодого российского драматурга Евгения Гришковца.

Как нельзя по одному этому спектаклю судить обо всем репертуаре "Школы современной пьесы", так и нельзя по одним "Запискам" судить о Гришковце в целом. Феномен Гришковца как нельзя лучше описала московский критик Алена Данилова в номере третьем журнала "Театр" за минувший год. Ее впечатления основывались на двух моноспектаклях Евгения Гришковца, "Как я съел собаку" и "ОдноврЕмЕнно": "Не так давно появившись на московских подмостках, Гришковец привел публику в состояние заинтересованного недоумения. Смущающийся, трогательный молодой человек, сбиваясь и запинаясь, что-то очень доверительно рассказывал со сцены. И это что-то, надо сказать, сначала приводило зал в неописуемый восторг, а уже потом заставляло сомневаться. Гришковец работает на безотказном приеме, в котором и заключается главный закон театрального успеха — закон узнавания. Зритель откликается всем своим существом, когда актеру на сцене удастся уловить и сыграть именно его черты. Трудность заключается в том, чтобы затронуть не одного зрителя, но весь зал. Все перемешалось, нарушена псевдогармония советской действительности. Но осталась очевидная точка соприкосновения, которую и обнаружил Гришковец — прошлое, точнее, воспоминания. Щедро насыщая фабулу



Василий Бочкарев – один...



...и с Владимиром Стекловым



Иосиф Райхельгауз

сентиментальными отступлениями, он не дает зрителю отвлечься ни на секунду. А тот, расслабленный ностальгическими воспоминаниями, а иногда чисто физически обессилев от смеха, готов вобрать в себя каждое слово...

По заверению Иосифа Райхельгауза, "Записки" представляли собой не пьесу даже, а лишь наброски, которые еще нужно было превратить в диалоги; ремарки и авторские указания блистательно отсутствовали. Но материал вызвал режиссерский и актерский азарт, и потому Райхельгауз стал уединяться в репетиционном зале с Владимиром Стекловым, Василием Бочкаревым и Альбертом Филозовым (последний в составе для одесских гастролей занят не был) и почти по-студенчески разыгрывать этюды на темы путешествий в малокомфортных поездах, — тут вам и звон подстаканников, и расстиланье убогого постельного белья, и попытки найти ответ на вечный вопрос: "Зачем ехать в Сочи?".

Поскольку в родных стенах "Записки русского путешественника" идут среди зрителей, словно на цирковой арене, постановщик решил несколько дополнительных рядов кресел вынести на сцену. Так за спиной действующих лиц, условно говоря, Оптимиста (Василий Бочкарев) и Пессимиста (Владимир Стеков) оказались безбилетные артисты городских театров, с удовольствием соперничавшие спору романтика и прагматика, равно не находящих себе места в реальности и обращающихся к прошлому всякий раз, когда они не могут договориться. Финальная истерика, разлад, диссонанс в спектакле связаны с отчаянной попыткой самоопределения, когда Стеков, уже не прячась за личиной своего героя, оглушительно орет Бочкареву: "Ты русский человек, и не можешь носить галстук от "ТАТТ"!!!" Сидящие в зале, а тем более на сцене, могут и не знать, что "ТАТТ" есть непристойно дешевый парижский универмаг, и по пакетам с кричащей надписью в столице Франции всяк узнает русского путешественника. Но накал чувств артиста таков, страсть столь неподдельна... С такой душой действительно стыдно жить скудно, убого, и ностальгия тут уже ни при чем.

Исполнителям позволено импровизировать, и в определенные моменты они с удовольствием затевают рискованные игры, "проходятся" насчет космического прошлого Стекова — единственный российский актер, прошедший подготовку космонавта для участия в несостоявшемся глобальном проекте, — для русского путешественника в наши дни невозможного мало! Это уже тот самый авторский театр, когда актер становится автором своей роли, режиссер создает спектакль, а не комментирует пьесу, ну и драматург, прямо скажем, не так уж заинтересован в людях театра, может и сам прочесть себя, любимого, со сцены. В действии по-

стоянно участвует постановщик, которому оказалось невозможно после совместных озарений в репетиционном зале покинуть своих артистов. Иосиф Райхельгауз дает указания исполнителям и осветителям, просит включить кондиционер (это в ТЮЗовском-то зале?), "ловит" нужную волну на радиоприемнике, отстукивает ритм, задает темп, просит повторить текст, пройти сцену сначала... Неудивительно, что два года назад "Записки" открывали знаменитый "Боннер биеннале" как образчик постановки по самой тенденциозной современной драматургии. Тогда в Бонне стараниями организаторов была полностью воссоздана среда, в которой спектакль идет на Трубной площади в Москве, построены два амфитеатрика друг напротив друга, и оказалось, что европейцам вняты и близки наши ностальгические метания.

В нынешнем году "Боннер биеннале" принимал "Город" по новой пьесе Гришковца в постановке того же Райхельгауза, западная пресса посвятила спектаклю несколько десятков статей, которые в театре еще не успели до конца перевести. В "Городе" артисты играют, сидя на стремянках, буквально над головами зрителей, и у Райхельгауза также имеется роль, пусть небольшая, но заметная. Будем надеяться, что сбудется мечта режиссера относительно больших гастролей в Одессе, и увидим мы "Город", "Чайку" по Чехову-Акунину, "Как я съел собаку", "ОдновремЕнно", как видели "Пришел мужчина к женщине", "С приветом, Дон-Кихот!", "А чой-то ты во фраке?" и прочие нашумевшие постановки "Школы современной пьесы" прошлых лет. Есть совместные планы у Райхельгауза и с дирекцией Одесской русской драмы, но для их осуществления необходимо как финансовое обеспечение, так и заинтересованное отношение труппы. Похоже, пришло то время, когда наряду с галстуками от "ТАТ" пора отвергнуть спектакли проходные, "для галочки", поставленные своими силами, в костюмах из подбора и в декорациях, сколоченных наспех из остатков старой сценической мебели. Вот снижавший в Москве успех одессит Борис Мильграм уже ставит на одесской сцене "Школу жен" Мольера, — глядишь, и с Иосифом Райхельгаузом дело сладится, а там и Михаил Левитин поставит что-нибудь в родном городе, и другие одесситы, которым пришлось когда-то ухать отсюда, чтобы состояться в профессии. А если и не так, имеется идея организовать фестиваль спектаклей знаменитых режиссеров родом из Одессы, этакие грандиозные гастроли. Это нужно не столько им, успешным и обласканным, сколько нам, с их отъездом что-то утратившим...

Изгнание в Рай

Наш человек в Санкт-Петербурге

Впечатление было сновиденным: в сакральном месте петербургской культуры, в воссозданном по своему историческому адресу подвале "Бродячая собака" будто вспыхнул жар одесского солнца. Привиделось буйство весеннего сада и щедрость сада осеннего. Смешались пространства, север и юг, Петербург и берег Большого Фонтана. Это я, заглянув в "Бродячую собаку", увидела знакомую кисть — и жизнь: то была выставка Лоры Малышевой, одесситки, ставшей одним из наиболее ярких живописцев среднего поколения в Петербурге.

"Сады", лишь малая часть которых была показана в "Бродячей собаке", — не очередная серия работ, а качественный скачок в искусстве художницы. Творческий подъем, обеспеченный югом.

Сила цвета и сила контраста — оружие Лоры. Поверхности ее холстов захвачены лавиной декоративного цвета. Водопады красок.

Фонтаны призрачных пионов. Вскрики и всплески красных тюльпанов на черном фоне сочной земли. Купы цветущих вишен и тяжкие гроздья холодной сирени. Массивы цвета — и цветов. Массив весны, что в свой серый черед сменится спелой и зрелой осенью, широко расползшейся в устойчивом квадрате холста. Опершийся на шары оранжевых тыкв и фиолетовые пирамиды будто лакированных баклажан.

Беседки, лестницы, окошки, люди — лишь детали в этом вечном празднике могучей природы. Прежние героини Лоры, длинноногие и длинноглазые, равно прекрасные и равно похожие друг на друга, были впрямь нимфеями и дриадами. Были духами природы, ненадолго принявшими человеческое обличье. Утонченно эротичные красавицы, они царят в эмалях, тоже показанных на выставке.

Но на последних полотнах "Садовой серии" лики женщин слились с лицами цветов. Рассредоточились в среде. Стали еще одним завитком в ковре жизни. Изобилие цветочных масс словно нанизано на черно-бархатные стержни стволов, на гнущиеся под тяжестью гроздьев (листьев, гирлянд...) ветви. Гибкая, как хлыст, линия стелется по плоскости. Задает ритм произведению. Организует панораму природы. Именно таковы изысканные и чрезвычайно сложные горизонтальные композиции, когда поток изображения словно разворачивается перед нами. Победное шест-

стоянно участвует постановщик, которому оказалось невозможно после совместных озарений в репетиционном зале покинуть своих артистов. Иосиф Райхельгауз дает указания исполнителям и осветителям, просит включить кондиционер (это в ТЮЗовском-то зале?), "ловит" нужную волну на радиоприемнике, отстукивает ритм, задает темп, просит повторить текст, пройти сцену сначала... Неудивительно, что два года назад "Записки" открывали знаменитый "Боннер биеннале" как образчик постановки по самой тенденциозной современной драматургии. Тогда в Бонне стараниями организаторов была полностью воссоздана среда, в которой спектакль идет на Трубной площади в Москве, построены два амфитеатрика друг напротив друга, и оказалось, что европейцам вняты и близки наши ностальгические метания.

В нынешнем году "Боннер биеннале" принимал "Город" по новой пьесе Гришковца в постановке того же Райхельгауза, западная пресса посвятила спектаклю несколько десятков статей, которые в театре еще не успели до конца перевести. В "Городе" артисты играют, сидя на стремянках, буквально над головами зрителей, и у Райхельгауза также имеется роль, пусть небольшая, но заметная. Будем надеяться, что сбудется мечта режиссера относительно больших гастролей в Одессе, и увидим мы "Город", "Чайку" по Чехову-Акунину, "Как я съел собаку", "Одновременно", как видели "Пришел мужчина к женщине", "С приветом, Дон-Кихот!", "А чой-то ты во фраке?" и прочие нашумевшие постановки "Школы современной пьесы" прошлых лет. Есть совместные планы у Райхельгауза и с дирекцией Одесской русской драмы, но для их осуществления необходимо как финансовое обеспечение, так и заинтересованное отношение труппы. Похоже, пришло то время, когда наряду с галстуками от "ТАТ" пора отвергнуть спектакли проходные, "для галочки", поставленные своими силами, в костюмах из подбора и в декорациях, сколоченных наспех из остатков старой сценической мебели. Вот снижавший в Москве успех одессит Борис Мильграм уже ставит на одесской сцене "Школу жен" Мольера, — глядишь, и с Иосифом Райхельгаузом дело сладится, а там и Михаил Левитин поставит что-нибудь в родном городе, и другие одесситы, которым пришлось когда-то ухать отсюда, чтобы состояться в профессии. А если и не так, имеется идея организовать фестиваль спектаклей знаменитых режиссеров родом из Одессы, этакие грандиозные гастроли. Это нужно не столько им, успешным и обласканным, сколько нам, с их отъездом что-то утратившим...

Изгнание в Рай

Наш человек в Санкт-Петербурге

Впечатление было сновиденным: в сакральном месте петербургской культуры, в воссозданном по своему историческому адресу подвале "Бродячая собака" будто вспыхнул жар одесского солнца. Привиделось буйство весеннего сада и щедрость сада осеннего. Смешались пространства, север и юг, Петербург и берег Большого Фонтана. Это я, заглянув в "Бродячую собаку", увидела знакомую кисть — и жизнь: то была выставка Лоры Малышевой, одесситки, ставшей одним из наиболее ярких живописцев среднего поколения в Петербурге.

"Сады", лишь малая часть которых была показана в "Бродячей собаке", — не очередная серия работ, а качественный скачок в искусстве художницы. Творческий подъем, обеспеченный югом.

Сила цвета и сила контраста — оружие Лоры. Поверхности ее холстов захвачены лавиной декоративного цвета. Водопады красок.

Фонтаны призрачных пионов. Вскрики и всплески красных тюльпанов на черном фоне сочной земли. Купы цветущих вишен и тяжкие гроздья холодной сирени. Массивы цвета — и цветов. Массив весны, что в свой серый черед сменится спелой и зрелой осенью, широко расползшейся в устойчивом квадрате холста. Опершийся на шары оранжевых тыкв и фиолетовые пирамиды будто лакированных баклажан.

Беседки, лестницы, окошки, люди — лишь детали в этом вечном празднике могучей природы. Прежние героини Лоры, длинноногие и длинноглазые, равно прекрасные и равно похожие друг на друга, были впрямь нимфеями и дриадами. Были духами природы, ненадолго принявшими человеческое обличье. Утонченно эротичные красавицы, они царят в эмалях, тоже показанных на выставке.

Но на последних полотнах "Садовой серии" лики женщин слились с лицами цветов. Рассредоточились в среде. Стали еще одним завитком в ковре жизни. Изобилие цветочных масс словно нанизано на черно-бархатные стержни стволов, на гнущиеся под тяжестью гроздьев (листьев, гирлянд...) ветви. Гибкая, как хлыст, линия стелется по плоскости. Задает ритм произведению. Организует панораму природы. Именно таковы изысканные и чрезвычайно сложные горизонтальные композиции, когда поток изображения словно разворачивается перед нами. Победное шест-

вие пейзажа, где слово "шествие" следует понимать почти буквально. Изображение будто длится, занимая всю поверхность. Растет с неукротимостью декоративного дикорастущего сада. Звучит ликующим гимном. Построенная на пронзительном столкновении дополнительных цветов и жестких касаниях, где линия подхлестывает массы звонкого цвета, живопись Малышевой контрастна, но не драматична. Слово "гимн" вызывает у нас ассоциации сначала с гимном государственным, затем смутно брезжит нечто из курса античной литературы: была некогда гимническая поэзия в далекой, не имеющей к нам отношения античности... Зачем была?



Лариса Малышева

О чем? Израненные и побитые, мы уже не мыслим искусства вне и без противоречий, конфликта, боли... Но агон — состязание — есть один из способов развития драматического действия, когда в соревновании идет нарастание эмоций. Строй живописи Малышевой — сплошной агон: контрасты цвета, оттенки и подгоняя друг друга, растут подобно шквалу и от восторга захватывает дух.

Свое "сражение с деревьями в цвету" (О. Ренуар) художница ведет легко и радостно. Перед нами не тяжкая битва с холстом, а любовная схватка. Выплеск ликующей энергии. Языческое (в его светлой стороне) восприятие жизни.

Отцветы античного рая явственно лежат на Лориных "Садах".

Сегодня она пишет свои картины, приезжая из Петербурга в Одессу. Возвращаясь в юность и детство, в домик на Большом Фонтане, чья крохотная площадь обратно пропорциональна изобилию окружающей среды.

Четырехлетнюю девочку папа вывел во двор, дал этюдник и велел написать этюд. Девочка написала. Папа — замечательный одесский живописец, мастер пленэрного этюда Геннадий Малышев — удивился, и с тех пор у девочки не было детства. Пока другие играли в карты на пляже, Лора

с папой с этюдниками исходили все окрестности. Девочка стала лучшим колористом курса в Грековском училище.

С ней шли мы с этюдниками на плече по улице, ныне носящей имя Анны Ахматовой, ибо великая поэтесса родилась именно в этих местах.

Шли, не подозревая о том, что она где-то рядом родилась.

И о том, что полотна Лоры когда-нибудь будут висеть в знаменитой "Бродячей собаке", прославленной Анной Ахматовой и с ее именем навсегда связанной.

Будущее светилося перед нами.

И оказалось (если вычсть вопрос о плате) действительно неплохим.

Свои приезды в Одессу Лора называет "изгнанием в рай". Возвращаясь домой, окунаясь в атмосферу родного юга и стихию пленэра, она получает мощный импульс. Живое натурное впечатление обретает монументальный размах. В соединении пленэра и декоративности — победительная сила полотен Малышевой. Плюс на плюс дают не конфликт, а умножение энергий.

Законы творчества природы ложатся в основу творения живописи, получающей чуть ли не космическую силу. Так рождается эффект бурного цветения. Эффект живописи Лоры Малышевой.



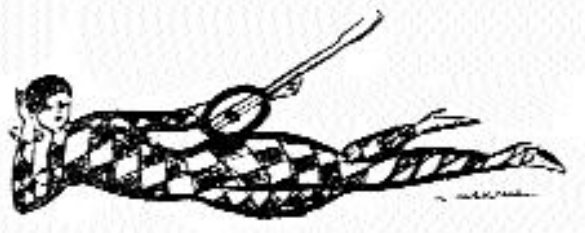
Художник Израиль Мексин

То, что Одесса всегда была богата талантами, — общеизвестная истина, уже не нуждающаяся в доказательствах. И все же... В последние годы мы узнали множество новых, забытых или полузабытых имен литераторов, актеров, художников. Все они — талантливые дети Одессы (даже если рождены где-то в Киеве, Херсоне, Мелитополе, а то и вовсе в Петербурге).

Один из таких полузабытых художников, усыновленных Одессой в начале прошлого века, — график и живописец Израиль Мексин.

Год его рождения неизвестен. В документах Одесского художественного училища можно прочесть: "Мексин Израиль Израилевич. Принят в 1912 г. Сын вдовы, учительницы из Елисаветграда". В 1914 г. он распрощался с училищем и начал свой путь профессионального художника. Хотя, если быть совсем точными, первый серьезный рисунок художника появился в журнале "Детство и отрочество" еще в 1912 году.

Мексин участвовал в одесских выставках — южнорусских художников 1916 г. и всех выставках "независимых" с 1916 по 1919 г., на которых чаще показывал живопись, чем графику, причем "левого" толка. Критики относили его к группе кубистов ("В работах местных кубистов, Олесеви-ча, Фазини и Мексина, — мало нового и понятного", — характерный отзыв критика И. Златогорова. — "Южная мысль", 1917, 23 декабря). Живописные работы Мексина современным специалистам и любителям искусства неизвестны. То ли не сохранились, то ли разошлись по частным рукам и обрели анонимность... Но в одесских газетах и журналах осталась масса рисунков Мексина, в основном, на театральную тематику. "И. Мексина прельщает веселая и декоративная пестрота мира цирков и варьете" (Летития [М. Симонович], Одесские новости, 1916, 10 декабря). В единст-



Иван Бунин

начала 1920-х гг. В каждом из них можно увидеть театральные рисунки Израйля Мексина, иногда более традиционные, иногда стилизованные, с большой долей условности, но всегда остро характерные, сделанные с искренней любовью к театру, к актеру.

Особенно много рисунков и шаржей Мексина появлялось на страницах изданий 1918-1919 гг. Листаешь журналы, смотришь на эти рисунки — и театральная Одесса этого времени, с ее яркой, разнообразной, может быть, несколько даже истерично бурной деятельностью, оживает перед глазами. Художник оставил нам зарисовки сцен из спектаклей, портреты одесских актеров, любимцев публики Чернова, Фишзона, Полевицкой, Глаголина, знаменитых на всю Россию артистов балета Е. Гельцер и Л. Жукова, дочери живописца Н. Кузнецова — известнейшей певицы М. Кузнецовой-Бенуа, писателя И. Бунина и многих других. Все это передает и калейдоскоп театрального мира Одессы, и неповторимую атмосферу времени.

В богатом событиями 1918 г. имя Мексина часто встречается на страницах местной прессы, он активно участвует во многих начинаниях, сам выступает инициатором новых проектов. Для иллюстрации приведем несколько фрагментов хроники художественной жизни из журнала "Южный огонек": "При Союзе безработных трудовой интеллигенции созвана коллегия художников, имеющая целью борьбу с нуждаемостью местной художественной среды. На последнем заседании принято предложение художника Мексина о ряде мероприятий: создании театра художников



Леонид Жуков

типа петроградского "Привала комедиантов", магазина художественных произведений, мастерских по приему работ, создание местной Народной Академии и т.д." (1918, № 3, 19 мая); "По инициативе художника Мексина в Одессе предполагается большая выставка картин, на которой будут представлены обзорно произведения великих мастеров, хранящиеся в частных собраниях Одессы" (1918, № 13, август).

Мелькнуло и такое сообщение: "В Москве предполагается открытие "Кабачка", театра богемы. Вдохновителями являются: режиссер г. Мейерхольд и критик, беллетр. Э. Вильбуа. Эскизы росписи заказаны художнику И. Мексину" (Южный огонек. 1918, № 5, 2 июня). К сожалению, более подробную информацию найти пока не удалось. Но одно то, что имя Мексина упоминается в связи с именами известнейших театральных деятелей, думается, говорит о многом.

В начале 20-х Мексин, как многие, уехал в Москву. Последний раз его работы — зарисовки актеров в спектаклях московских театров 1924-1937 годов — были показаны на юбилейной выставке "Театры Москвы за двадцать лет (1917-1937)". Что с ним произошло далее, как сложилась его жизнь, установить пока не удалось. Можно только предположить, что, скорее всего, он разделит судьбу многих наших соотечественников, бесследно исчезнувших в конце 30-х. Достоверно известно следующее: после выставки 1937 г. имя Мексина нигде не встречается.

Как многие одесские художники, Мексин "грешил" стихами. Одно из них было напечатано в сатирическом журнале "Бомба" (1918, № 36). Если учесть, что в кругах одесской интеллигенции тема дуэлей после знаменитого поединка поэтов В. Катаева и А. Соколовского, когда один из дуэлянтов даже "был ранен в верхнюю часть бедра" (Бомба, 1918, № 31), стала весьма "актуальной", то стихотворная шутка Мексина приобретает откровенно пародийную окраску. Приводим это стихотворение полностью — ибо в нем не только отражается время, страшное и веселое вместе, но и раскрывается еще одна грань личности художника, его способность к стилизации (не только в графике), его чувство юмора, наконец.

КОФЕЙНАЯ СОНАТА

С наплюмаженной шерстью, с центробежным пробором,
С чем-то круглым в глазу, худощавый, как стэк,
Он глядел на меня с неистовым задором,
Говоря в отдаленье "дайте счет, че-ло-эк".

Он ушел, оставляя запах нежных фиалок
И на блеклом рояле письмо, видно, мне:
— "Вы найдете меня, сэр, в "Таверне весталок",
Объявляю дуэль вам, сообщите о дне!"

Я спросил у гарсона, что маячит у входа:
— "Кто таков господин, незнакомый досель?"
— "Конкурент нашей фирмы; в течение года
Он изгнал всех клиентов, объявляя дуэль".



"Письмо из Мюнхена" — В. Кандинский?

Мюнхен. 1901 год. Начинающий художник Василий Кандинский посещает занятия в мастерской основателя мюнхенского Сецессиона, необычайно популярного тогда живописца Франца Штука. За четыре с лишним года пребывания в Мюнхене восторженное восприятие немецкой художественной среды сменяется глубоким разочарованием. В письме своему бывшему соученику по школе живописи А. Ашбе Д.Н. Кардовскому от 13 марта 1901 года он пишет: "Открылся весенний Secession, такой душный, дешево самодовольный и рутинный [...] ни новой мысли, ни свежего чувства нигде"¹.

Стремление добиться успеха в достаточно замкнутом и официальном художественном пространстве приводит Кандинского к мысли создать отдельную организацию, которая объединила бы усилия русских художников, работающих в Германии и Франции, и художников Москвы и Петербурга. Еще в конце 1900 года художник пишет Д.Н. Кардовскому о "возникающей группе художников [...] в которую войдут, Мюнхен: Явленский, Зальцманн, Зеддлер и я; Париж: Кругликова и еще каких-то два кандидата; Москва: Татевосянц, Мамонтов, Малютин, Головин и, быть может, Врубель; Петербург: Кардовский..."². Этот проект Кандинского не был реализован. В том же письме художник сообщает и о другой идее — организовать в Мюнхене объединение "с постоянной выставкой вещей всех отраслей искусства". Общество, получившее выразительное название "Фаланга", было основано в августе 1901 года и просуществовало четыре года, организовав 12 крупных выставок, в том числе — произведений Моне, Синьяка и Тулуз-Лотрека. Интернациональная по составу "Фаланга" стала своеобразным плацдармом в развитии авангардного искусства и ступенью к основанному Кандинским в 1911 году объединению "Синий всадник". Начиная с "Фаланги", вплоть до начала Первой мировой войны Кандинский оставался связующим звеном русской и немецкой художественной культуры.

18 октября 1902 года в газете "Одесский листок" появилась статья "Письмо из Мюнхена. Общество художников", подписанная псевдонимом "Z". В известной нам русской периодической прессе того времени есть всего две публикации, popularизирующие деятельность "Фалан-

ги". Первая принадлежала И. Грабарю (Письма о современном искусстве. — Мир искусства, 1902, № 8, с. 145). Значимость одесского "Письма из Мюнхена", прежде всего, — в обстоятельном освещении принципов деятельности "Фаланги" и открытой при обществе школы живописи и рисования.

Вопрос об авторстве статьи до настоящего времени не имеет однозначного ответа. Однако не случайно копия ее в 1995 году была представлена в Одесском художественном музее на художественно-документальной выставке "В. Кандинский в художественной жизни Одессы" в рамках Международной научной конференции, посвященной творчеству Кандинского и организованной Фондом В. Кандинского (Париж). Не претендуя на абсолютную убедительность и исчерпанность доказательств, приведем ряд аргументов в пользу версии о том, что автором статьи был Кандинский.

С конца 1896 года художник живет в Мюнхене, но продолжает регулярно бывать в Одессе, где оставались его родители и многочисленные родственники. Здесь, в 1896 году, на VII выставке Товарищества южно-русских художников он впервые в жизни показывает свои произведения широкой публике. А с 1900 по 1910 — является членом Товарищества. Естественно его пристальное внимание к художественной жизни нашего города. Интересовался Кандинский и критическими отзывами на свои произведения, появлявшимися в одесской периодике. Некоторые из этих отзывов он упоминает в письме Д.Н. Кардовскому от 13 марта 1901 года³. Собственно, первое из известных эссе В. Кандинского, "Критика критиков", посвященное современному художественному процессу и опубликованное в московской газете "Новости дня" (1901, 17 и 19 апреля), основано на обзоре одесских и московских газетных рецензий начала 1900 года. С одесскими статьями он, безусловно, знакомился в Одессе, куда приезжал, судя по архивным данным, в январе 1900, на свадьбу своей сводной сестры. В авторской сноске к этому эссе художник отметил: "Я, впрочем, подбираю между делом "шедевры русской критики"..."

Касааясь непосредственных контактов с одесской художественной средой в конце 1901 года, т.е. уже после основания "Фаланги", отметим, что сразу же после открытия I выставки нового общества, 15 августа, художник уезжает в Россию через Гамбург и Штетин. Необходимость этой поездки связана была с житейскими делами — оформлением унаследованного В. Кандинским от своего дяди дома в Москве⁴. В Москве художник пишет ряд осенних этюдов в имении своих родственников Абрикосовых

в Ахтырке, а после 16 сентября уезжает в Одессу — "недели на три". В Одессе Кандинский застает XII выставку Товарищества южнорусских художников, открывшуюся 29 сентября, на которой экспонируется ряд его произведений.

Мы подробно останавливаемся на этом приезде художника в Одессу, поскольку очевидно, что именно в это время он как председатель "Фаланги", заинтересованный в привлечении на выставки общества значительных художников, ведет переговоры с наиболее авторитетным в Одессе мастером — художником Н.Д. Кузнецовым (1850-1929). Последний в 1900 году стал действительным членом Петербургской Академии художеств, а в 1901, в Париже был удостоен ордена "Почетный легион". "Этот живописец, — писал С. Дягилев, — один из редких примеров человека, всем интересующегося, глядящего на Запад и ищущего новых задач". В доме Н.Д. Кузнецова была картинная галерея, известная прекрасным собранием современной русской и западноевропейской живописи. Результатом контактов Кандинского с Н.Д. Кузнецовым стало участие маститого живописца в выставке "Фаланги", прошедшей в январе-марте 1902 года. Работа Кузнецова — "Портрет велосипедиста" — значится в каталоге под № 115 (Kunst Ausstellung der Münhener Künstler Vereinigung "Phalanx"). Ранее, в 1900 году, она экспонировалась на выставке Товарищества южнорусских художников под названием "Уточкин на треке", но не вошла в каталог. А в 1903 году эта же работа была показана на XXXI выставке передвижников. Ее подробное описание находим в статье К. Чуковского "Одесса в Петербурге"⁵. К сожалению, дальнейшая судьба картины неизвестна. Контакты Кандинского с Н.Д. Кузнецовым явно имеют и более раннюю историю. Так, в одном из писем Кандинского из Одессы к художнице Г. Мюнтер 1904 г. (письма находятся в архиве Г. Мюнтер и И. Айхнера, Мюнхен) художник упоминает "очень известного художника-портретиста, который мне очень помог в тяжелые времена".

В "Письме из Мюнхена", подписанном "Z", читаем: "Из русских художников, не членов общества, участвовали на общих выставках Н.Д. Кузнецов и Н.Я. Давыдова". Если за подписью "Z" скрывался Кандинский, то логично, что как организатор выставки в статье именно для одесской газеты он не мог не отметить имя Н.Д. Кузнецова.

Газета "Одесский листок" часто публиковала материалы зарубежной и культурной хроники, которые поступали от "собственных заграничных корреспондентов". Однако среди них, как показал просмотр номеров газеты за 1902 год, публикации автора, подписывавшегося "Z", отсутствуют.

Не дало положительных результатов и обращение к фундаментальному изданию И.Ф. Масанова "Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей". Таким образом, статья, о которой идет речь, представляется единичным выступлением под этой подписью. Сам жанр "писем" (напомним название статьи — "Письмо из Мюнхена") был весьма распространен в периодике тех лет. Так, к примеру, называл свои обзоры художественной жизни Германии И. Грабарь — "Письма о современном искусстве". Первая из известных статей Кандинского о художественной жизни Мюнхена была напечатана в журнале "Мир искусства" (1902, №№ 5, 6) под заголовком "Корреспонденция из Мюнхена". Позже, в 1909 и 1910 году, он называет свои публикации в журнале "Аполлон" (1909, № 1; 1910, №№ 4, 7, 8, 11) именно "Письма из Мюнхена".

В момент выхода статьи в "Одесском листке" художник находился в Мюнхене, о чем свидетельствует его переписка с Г. Мюнтер за сентябрь-декабрь 1902 г.⁶ Но еще 9 августа в газете "Одесские новости" был опубликован перечень будущих участников очередной XIII выставки Товарищества южнорусских художников — с упоминанием имени Кандинского, который, согласно каталогу, предоставил для показа тринадцать произведений. Статья появилась за 10 дней до закрытия выставки. Кандинский, несомненно, учитывал, что именно во время проведения выставок обостряется интерес местного общества, художников и критиков к проблемам современного искусства. Эти условия позволяли статье быть особенно востребованной и актуальной. Можно предположить, что текст статьи был отправлен художником в Одессу отцу, с которым, судя по содержанию ряда писем последнего, сохранившихся в фонде В. Кандинского в музее современного искусства Центра им. Ж. Помпиду в Париже и относящихся к 1904-1905 гг., он переписывался практически ежедневно. Это предположение косвенно обосновывается следующим фактом. В 1905 году, находясь в Одессе с конца сентября по ноябрь, Кандинский в очередной раз принимает участие не только в выставке, но и в ее организации. Сохранилась авторская рукопись его небольшой заметки о выставке для той же газеты "Одесский листок", опубликованной 28 сентября 1905 г. без подписи автора, а также записка В. Кандинского секретарю Товарищества Б.И. Эгизу: "...заметку в Одесский листок отец мой передает [...]. Поэтому посылаю Вам переписанный текст нашей заметки, в котором Вы, быть может, сделаете необходимые изменения и разошлете по редакциям"⁷.

"Письмо из Мюнхена" состоит из двух частей. Начало первой части,

скорее всего, — выдержка из устава "Фаланги" (в известной нам современной литературе о "Фаланге" текст устава, в составлении которого Кандинский как председатель общества принимал участие, обнаружить не удалось). Подчеркнута предоставляемая обществом "особая свобода" — право художников участвовать в создании экспозиции своих работ и особенности работы жюри. Далее автор, не конкретизируя, говорит о противостоянии официального мюнхенского Сецессиона начинаниям молодого общества и о "постепенном завоевании [...] симпатий художников". Любопытно сравнить этот текст с упоминавшейся статьей И. Грабаря. Последний заостряет внимание именно на фактах противостояния "Фаланги" и Ф. Штука, который всячески препятствовал художникам Сецессиона выставлять произведения в каком-либо ином обществе. И. Грабарь заключает: "Надо ли еще удивляться энергии и терпению маленькой группы художников, двинувшихся этой "Фалангой" на страшного, не брезгующего никакими средствами врага..."

Сравнение этих текстов подчеркивает следующее: статья, подписанная "Z", по направлению близка к идеям Кандинского, который с самого начала своей общественно-художественной карьеры стоял не только на позициях авангарда, но и четко ощущал социальную ответственность искусства. Он избегал открытых конфронтаций и конфликтов, сохранял известный либерализм и твердо верил в реформы и преобразования исключительно через возможности искусства. Поэтому, адресуя статью именно одесской художественной общественности, с которой был тесно связан, Кандинский заостряет внимание не на трудностях и борьбе "Фаланги", а на результатах ее работы: общество "к концу этого первого года существования получило известность в нескольких художественных центрах, и репутация общества стала на прочную ногу".

Вторая часть статьи имеет подзаголовок "Школа живописи и рисования". Она начинается фразой — "Русский художник В.В. Кандинский стоит теперь в Мюнхене во главе школы живописи и рисования". Из письма Кандинского Д.Н. Кардовскому от 16 сентября 1901 г. известно, что первоначально в учреждаемой при "Фаланге" школе художнику был "предоставлен пейзажный класс". Позже он становится руководителем школы. Именно первая фраза может дать нашим возможным оппонентам возможность отрицать авторство Кандинского. Сомнения в том, что образованный и деликатный человек, каким он был, мог соблазнить саморекламой, и более того, самого себя назвать "русский художник", оправданы. Но существуют и контраргументы. Весь последующий текст

представляет собою достаточно подробное изложение программы обучения в школе, причем сделанное как бы "изнутри", человеком, явно не посторонним. Адресуя эту программу молодым, начинающим одесским художникам, автор мог преследовать и цель привлечения в школу новых учеников. Собственно, школа прекратила в 1904 г. существование из-за малочисленности учеников и возникших по этой причине финансовых сложностей. Думаем, Кандинский отчасти рассчитывал на то, что эта "рекламная" информация в статье подтолкнет потенциальных учеников-одесситов обратиться непосредственно к нему. И еще: именно эта вынужденная фраза могла не позволить автору поставить свое имя под текстом.

Кроме "Письма из Мюнхена", существуют другие тексты Кандинского этого времени, где речь идет о "Фаланге". Выше цитировались упоминания об обществе в письмах Кандинского Д.Н. Кардовскому. Есть в нашем распоряжении и еще один текст. Это письмо-приглашение Кандинского финскому художнику Акселю Галлен Каллела от 29 марта 1902 г. участвовать в выставке "Фаланги"⁸. По содержанию и по стилистике (при известных издержках в переводе с немецкого) письмо близко к статье, о которой идет речь, что служит еще одним косвенным подтверждением авторства Кандинского.

Организационный опыт, приобретенный Кандинским в "Фаланге", позволил ему в 1904 году, в очередной приезд в Одессу, заняться поисками новых путей деятельности Товарищества южнорусских художников. Из его писем к Г. Мюнтер известно, что он, вместе с другими художниками, хотел "внести изменения в работу жюри", "участвовал в собраниях и тайных совещаниях", где обсуждались вопросы художественных реформ Товарищества. Но это тема иная.

В отношении же авторства статьи "Письмо из Мюнхена" мы, предвидя возражения возможных оппонентов, позволим себе поставить вопрос: если автор этой статьи не Кандинский, тогда кто же скрывается за подписью "Z"?



ПИСЬМО ИЗ МЮНХЕНА

Общество художников

Считаем, небезынтересным ознакомить читателей с мюнхенским обществом художников "Phalanx". Общество имеет целью давать художникам возможность представить свои работы публике с возможной полнотой. Поэтому общество стремится устраивать кратковременные (от 4 до 6 недель) и постоянно меняющиеся выставки отдельных художников, скульпторов, архитекторов, а также выставки художественной промышленности.

В этих выставках, названных коллективными, принимает участие один или несколько (большой частью 2 или 3) художников, дающие по возможности разносторонние работы в большом числе, что и представляет творчество данного автора с основательной полнотой. Право участия на коллективных выставках имеют все действительные члены, которые поэтому выбираются не иначе, как тремя четвертями голосов, а также лично приглашенные обществом.

Приглашенный обществом художник (так, как и член общества) имеет право развешивать и ставить свои работы (свобода до сих пор неизвестная в Мюнхене, да и почти нигде).

Кроме таких выставок (т.е. коллективных) общество устраивает две или по надобности больше "общих" выставок, где участвуют действительные члены без жюри и не члены общества, подлежащие жюри всех присутствующих в назначенный день действительных членов общества. Продолжаются такие выставки тоже от 4 до 6 недель.

Правление общества состоит из 1-го президента, 2-го президента, секретаря и казначея. Правление ведет дела общества и созывает общие собрания членов. 1-й президент созывает правление и ведет заседания. 1-м президентом назначается художник, 2-м — скульптор. 1-й президент является председателем общества.

Общее собрание состоит из всех членов общества и занимается хозяйственной стороной дела "Phalanx".

Собрание членов состоит только из действительных членов и ведет чисто художественную сторону.

Общество "Фаланга" основано в августе 1901 года.

Как и всякое новое учреждение, оно вначале вызвало враждебное к себе отношение, как в Мюнхене, так и за пределами его в среде уже существующих обществ.

Начиная, однако, со своей второй выставки, где принимала участие

знаменитая "Дармштадтская колония", общество постепенно завоевывало себе симпатии художников, недовольных несвободой в других обществах, и публики. В значительной мере благодаря сочувственному отношению критики с первых же шагов общества, оно получило к концу этого первого года существования известность в нескольких художественных центрах, и репутация общества стала на прочную ногу.

Общество имело в истекшем году 6 выставок: 2 общих и 4 коллективных, в которых, кроме членов, участвовали немецкие художники prof. Trubner (Berlin); L. Corinth (Berlin); E.R. Weiss (Karlsruhe); P. Baund (Dresden); prof. P. Gehrens; prof. Christiansen; P. Huber, Bosselt (все из Дармштадта) и финляндец Axel Gallen.

На общих выставках, кроме членов, принимали участие и другие мюнхенские художники и скульпторы. Из русских художников, не членов общества, участвовали на общих выставках Н.Д. Кузнецов и Н.Я. Давыдова.

Школа живописи и рисования

Русский художник В.В. Кандинский стоит теперь в Мюнхене во главе школы живописи и рисования. В школу принимаются мужчины и женщины всякого возраста. Поступление и выход из школы происходит не иначе как 1 и 15 числа каждого месяца. На более короткий срок, нежели месяц, ученики не принимаются. О желании выйти из учеников должно быть заявлено, по крайней мере, за две недели до выхода.

Занятия в школе распределяются следующим образом: от 9 до 12 стоит модель, голова (т.е. рисуют и пишут голову), от 2 до 4 — нагое тело, от 5 до 7 — нагое тело при искусственном освещении. Каждую субботу с 7 до 8 делают, кроме того, наброски с нагого тела (т.е. в течение этого часа модель ставится последовательно в 2 или 3 позы). В это время ученик должен в общих чертах набросать всю фигуру.

Кроме того, каждую неделю ставится "мертвая натура". Этюды "мертвой природы" служат в школе переходною ступенью от изучения рисунка к живописи. Эти этюды имеют еще специально подготовительное значение для пейзажа.

Корректурa происходит утром, после обеда и вечером каждую среду и субботу.

На июль и август школа уезжает в окрестности Мюнхена, где ученикам преподают пейзаж и фигуры в *plein air'e* (пленере).

"Z"

¹ Автономова Н.Б. Письма В.В. Кандинского Д.Н. Кардовскому. — В.В. Кандинский: Каталог выставки. Л., 1989, с. 26.

² Там же, с. 24. Письмо от 14 ноября 1900 г.

³ Там же, с. 30.

⁴ Там же, с. 29.

⁵ Одесские новости. 1903, 4 апреля.

⁶ См: Hoberg A. Wassily Kandinsky and Gabriele Münter. München; New York, 1994.

⁷ Оба документа см.: Абрамов В.А. В. Кандинский в художественной жизни Одессы: Документы, материалы. Одесса, 1995, с.с. 31, 32.

⁸ См. Zweite A. Kandinsky und München Begegnungen und Wandlungen. München, 1982, p. 48.



Звуки МУ

Опыт культурологического эссе

Музыка. Звуковые колебания особенной частоты, органично наполняющие ушную раковину. Раковину — сообщающийся сосуд, а не такой резервуар из арифметического задачника, когда в одно ухо (трубу) входит (втекает) — в другое (другую) выходит (вытекает).

Припоминаю, что изобретателем унитаза был некто Томас Крепер (или Крепер), умерший в 1932 году. Больше ничего о нем мне решительно не известно. Знаю только, что его гениальное открытие наводит на плодотворную мысль о природе музыкальных вещей. Точнее, одной вещи. Еще точнее, о природе симпатичного и симптоматичного музыкального звукоприемника, звуконосителя и звукопроизводителя. Одного в трех ипостасях.

Вы не в состоянии по достоинству оценить его духовые и вокальные возможности. Потому что не прислушиваетесь, как чуть свет — когда только-только начинают подавать воду, когда едва тепело петушиное многоголосье и сию минуту прошмыгнули к пункту приема стеклотары закадычные Запойник и Запойченко, — он прочищает горло и выдает первую, не в полный голос, а "в полсвистка", как выражаются профессионалы, руладу.

Могу небезосновательно предположить, что Крепер (или Крепер) на самом деле был музыкантом, возможно, музыкантом-дилетантом, но, несомненно, весьма и весьма одаренным. Не исключено — певцом-любителем. "По утрам он пел в клозете" — это о нем. Однозначно. Хотя, не исключено, и о его изобретении.

Надо полагать, он играл джаз — в его годы относительно новинку. Для подобного утверждения у меня как бы и нет никаких оснований. Кроме того, что унитаз, безусловно, пародирует форму сакса. И столь же технологичен. И столь же блестящ и авантажен — если им заниматься. Просто струящуюся воду заменяет струящийся и чуть смоченный слюной воздух.

Аналогия формы, возможно, подмечена задолго до меня. Иначе не могу себе внятно объяснить неизменное присутствие унитаза как главного действующего лица в театре авангарда. Что касается банальных толкова-

¹ Автономова Н.Б. Письма В.В. Кандинского Д.Н. Кардовскому. — В.В. Кандинский: Каталог выставки. Л., 1989, с. 26.

² Там же, с. 24. Письмо от 14 ноября 1900 г.

³ Там же, с. 30.

⁴ Там же, с. 29.

⁵ Одесские новости. 1903, 4 апреля.

⁶ См: Hoberg A. Wassily Kandinsky and Gabriele Münter. München; New York, 1994.

⁷ Оба документа см.: Абрамов В.А. В .Кандинский в художественной жизни Одессы: Документы, материалы. Одесса, 1995, с.с. 31, 32.

⁸ См. Zweite A. Kandinsky und München Begegnungen und Wandlungen. München, 1982, p. 48.



Звуки МУ

Опыт культурологического эссе

Музыка. Звуковые колебания особенной частоты, органично наполняющие ушную раковину. Раковину — сообщающийся сосуд, а не такой резервуар из арифметического задачника, когда в одно ухо (трубу) входит (втекает) — в другое (другую) выходит (вытекает).

Припоминаю, что изобретателем унитаза был некто Томас Крепер (или Крепер), умерший в 1932 году. Больше ничего о нем мне решительно не известно. Знаю только, что его гениальное открытие наводит на плодотворную мысль о природе музыкальных вещей. Точнее, одной вещи. Еще точнее, о природе симпатичного и симптоматичного музыкального звукоприемника, звуконосителя и звукопроизводителя. Одного в трех ипостасях.

Вы не в состоянии по достоинству оценить его духовые и вокальные возможности. Потому что не прислушиваетесь, как чуть свет — когда только-только начинают подавать воду, когда едва тепело петушиное многоголосье и сию минуту прошмыгнули к пункту приема стеклотары закадычные Запойник и Запойченко, — он прочищает горло и выдает первую, не в полный голос, а "в полсвистка", как выражаются профессионалы, руладу.

Могу небезосновательно предположить, что Крепер (или Крепер) на самом деле был музыкантом, возможно, музыкантом-дилетантом, но, несомненно, весьма и весьма одаренным. Не исключено — певцом-любителем. "По утрам он пел в клозете" — это о нем. Однозначно. Хотя, не исключено, и о его изобретении.

Надо полагать, он играл джаз — в его годы относительно новинку. Для подобного утверждения у меня как бы и нет никаких оснований. Кроме того, что унитаз, безусловно, пародирует форму сакса. И столь же технологичен. И столь же блестящ и авантажен — если им заниматься. Просто струящуюся воду заменяет струящийся и чуть смоченный слюной воздух.

Аналогия формы, возможно, подмечена задолго до меня. Иначе не могу себе внятно объяснить неизменное присутствие унитаза как главного действующего лица в театре авангарда. Что касается банальных толкова-

ний культурологов, заимствующих категории вульгарного психоанализа, то они вызывают у меня скептическую усмешку. (У них все что ни попадя растет из одного места. А ведь общеизвестно, что стихи, например, растут из сора. Причем далеко не первосортного.) Вероятно, надо говорить скорее об апологии формы. Полагаю, КрETERом (или Крепером) двигали не какие-либо прагматические соображения гидравлического характера. Надо думать, что как истинный художник, он целиком полагался на интуицию и импровизацию, проецирующие "состояние души". Абсолютно убежден в том, что он действовал по наитию, а не по скрупулезному расчету. Его инструмент должен был зазвучать по определению. Это был predetermined артефакт.

Я также неколебимо уверен в том, что функциональное назначение полученного произведения искусства определилось волею случая, пожалуй, волею рока, быть может, для погашения производственных затрат столь масштабного арт-проекта. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что первоначальная идея была в значительной степени опрощена, опошлена и утрирована.

Так незаметно, незаслуженно заброшенным и забытым, ушел из жизни величайший художник — Томас КрETER (или Крепер), — успевший, к несчастью своему, увидеть, как негодно расправились с его детищем бессердечные канализаторы творческих идей. Я уже не говорю о страданиях его репутации.

Не исключено, впрочем, что в какой-нибудь старой камере реставратора, лавке антиквара или мансарде беспризорного живописца обнаружатся стерильные опытные образцы, наподобие коллекционных инструментов Амати и Гварнери. В британском журнале "Досуг" как-то промелькнуло сообщение о претендующем зарегистрироваться в книге рекордов Гиннеса собирателе унитазов (миллионере!), в коллекции которого (якобы!) имеется фрагмент колена оригинального первообразца, по слухам, завещанного КрETERом (или Крепером) сантехнику, однажды спасшему его от затопления соседом сверху. Однако отечественное издание "Коллекционер" категорически опровергает эту информацию и в противовес утверждает, что помянутая реликвия хранится в фондах музея исторического отдела Комитета по науке и технике. И что на нее претендует ряд европейских национальных музыкальных обществ, поскольку она, как они говорят, незаконно вывезена в годы Второй мировой войны. Эта тема, по свидетельству источников, близких к администрации президента, будет подниматься на предстоящем саммите глав правительств.

Такова вкратце печальная и поучительная история закрытого изобретения, судьба которого прошла не по той дороге, наподобие эволюции приматов. Сколько выдающихся произведений, а, весьма вероятно, и целых музыкальных жанров, сколько счастливых возможностей безвозвратно утрачено...

Присядьте. Не торопитесь. Вслушайтесь. Кое-где, в отдельных (в смысле — некоторых, единичных) коммунальных квартирах, многокрасочные колоратуры пока не смолкли. Прежние ретроспективные модели, надрываясь, с большим или меньшим успехом еще пародируют первобытный крETERовский (или креперовский) инструмент. Музицируют. Быть может, что-то еще не поздно спасти и воссоздать. В конце концов, это наш долг перед цивилизацией.

Хорошо всегда иметь под рукой рулон нотной бумаги — чтобы успеть торопливо сделать аутентичную запись. И воспроизвести очарованным (в перспективе) потомкам.

Они поймут. Они оценят. Потому что настоящая музыка — это очень просто. Это совпадение сути.



Признаки жизни

Есть такая одноименная рубрика в одесском юмористическом журнале "Фонтан", где я имею честь сотрудничать. О чем она? Да о том, что жизнь продолжается. Вопреки всевозможным ужасикам, триллерам и диллерам. По сему "Гроб из Одессы" (новая старая повесть популярного одесского бытописателя Валерия Павловича Смирнова) — вовсе не вынос тела, а скорее экспорт ретроспективного виртуального "человеческого вещества" (в терминологии Платонова), диффузия, "растекание" Аромата Города по всему земному шару, пусть даже тонким слоем, кисеей, вплоть до самых отдаленных молочных рек и кисельных берегов. "В Портленд", "в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию" (в песенных текстах Берковского), далее — везде. Специфический этот "духман" расплзается по миру (ср.: "Пустить по миру") купно с его носителями. Когда мне говорят, что в Одессе давненько не производят ничего путного, я возражаю: "Здесь делают людей". "Да, но таких уже не делают", — следует неоригинальная навстречная реплика. "Как это, не делают? Разве и вы перестали заниматься любимым делом?" Еще как делают! Не из всех, понятно, получают Смирновы, однако оптимистический лозунг "Больше Смирновых — хороших и разных!", как обычно, остается актуальным.

Жизнь таки продолжается. Несмотря на. И если кто-либо бережно унес на подошвах эксклюзивного "Скорохода" пыль одесских булыжных мостовых, дабы расплодить ее на промытых импортной росой и ностальгическими слезами "фривзях", то это еще не означает, будто воспетая самим Александром Сергеевичем родная пыль истощилась, как и иные полезные ископаемые на мостовых, тротуарах и в заветных подворотнях. Жизнь продолжается, несмотря на наше в ней отсутствие. Но куда мы еще здесь, и, подобно усердным старьевщикам, собираем и подбираем свой товар, на этот товар всегда находится покупатель. "Значит, это кому-нибудь нужно" — смирновские истории, притчи, байки, баллады и прочие рапсодии, как и мои коллекции битых тарелок и бутылок, биографии выцветших фотографий, ржавых ключей и писчих перьев. Значит, есть некая великая загадка битых горшков (а за одного битого, как известно, двух небитых дают!), некое необъяснимое очарование произвольно складывающихся в мозаику ретроспективных сюжетов, эпизодов и живописных руин.

Вчера по "ящику" показывали новоявленного (палеонтологам) дино-

завра, который 10-11 миллионов лет назад обитал в окрестностях чего-то там (короче, не в нашем районе), умел левитировать, как Дедал с Икаром, и имел размах крыльев в четыре с половиной метра. Черт же возьми! Могучая кучка историков, литераторов и прочей любознательной саблезубой сволочи лет сто копается во внутренностях Одессы, чтоб зафиксировать "признаки жизни" и всю "историю болезни". Как там у Райкина, — 22 здоровенных мужика гоняют один кожаный мяч; а надо бы подсоединить каждого к какому-нибудь полезному редуктору! А тут — десять миллионов лет. Чувствуете две большие разницы?! А мы, стало быть, такие себе неопалеонтологи? Раскопают, поди ж ты, некие оригиналы, вроде нас, в неразличимой светлой дали "Гроб из Одессы" или "Полутолковый словарь одесского языка", возрадуются и бирку привесят: Smirnovus odessikus dinozaurus. Верно, он и есть динозавр, реликт чего-то прежнего, о котором толкуют, "чтобы помнили".

"Мне пришлось поступить, как истинному попечителю, — утверждает герой смирновской "Легенды за сундук сокровищ", — стать достойным культурных традиций Одессы. Она никогда не ценила, что имела. Она изживала из себя все лучшее. Она привыкла кичиться своими выдающимися детьми, когда они становились покойными. И нередко сама прикладывала к этому руку". Лучше бы ты был не прав, Валера...

Как было сказано, жизнь продолжается. Другая жизнь. (Мы могли вовремя убраться восвояси, но остались, и, говорят, для таких, как мы, собираются устроить специальный город — МУДОГРАД.) И, уезжай — не уезжай, в ней, в другой жизни, остается все меньше знакомых и близких лично тебе действующих лиц. Будь то аутентичные городские сумасшедшие Пушкин или Яник, а равно представители творческих профессий: пианист Блох, художник Дюльфан, писатель Лившин, поэт Михайлик, литературовед Соколянский, вокалистка Анисимова, следуют десятки имен. Твой город с каждым годом становится все малолюднее. "Моя нынешняя тусовка, — с горечью фиксирует Смирнов, — волна, весло, удочка, лес, ружье, поле, а не насквозь перелицованная "еще та Одесса", от которой остаются лишь мемуары". Как справедливо заметила одна американская исследовательница, "Одессе суждено было превратиться в эпос". (В смирновском словаре одесского языка и в самом деле много реликтов как то: "еврей", "Рабинович", "шлемазл", "шикер", "халоймыс", "бикицер", "мишпуха" и проч.) Забавно, что столь "строгий, но справедливый" к себе и к городу, Валера сделался как раз одним из самых одаренных его мифотворцев.

А между тем я не апологет его текстов. (Вероятно, здесь особый случай —

в принципе, мы занимаемся одним и тем же, только в разных жанрах. Проблематика меня совершенно замордовала: помните гинеколога, каковому барышня предложила "показать"? Так что Смирнова читаю редко. И преимущественно — сюжеты, с Одессой не связанные. Хотя, например, "Чужая осень" мне очень по погоде, и я бы предпочел ее видеть своей, особенно в июле.) Зато я апологет самого Смирнова — как рельефного исторического персонажа, как совестливого человека, живущего "по понятиям". Сколько-то лет назад, в ходе организации и проведения первых археологических исследований непосредственно в историческом центре города, мы с профессором-историком А.О. Добролюбским организовали неформальное творческое объединение — Клуб городских сумасшедших имени Володи Дубинина. Пошутили, что называется, всерьез, и теперь число желающих получить членство в когорте особо одаренных невменяемых крайне велико. Отбор же чрезвычайно строг — принимаются единицы. Так вот, Валера Смирнов включен в элитарный кружок, так сказать, по совокупности работ. Как феномен.

Валера — элемент городского дизайна. Значимая примета одесского пейзажа. Он как бы присутствует во всех его закоулках одновременно. Одесса пропитана Смирновым. Сказать наоборот — тривиальность.

Я люблю встречать его и встречаю повсюду: на Староконном, на Преображенской, Дерибасовской, Херсонской, далее — по тексту. "Ну что, — говорю, — жив еще? Нет еще?" Он — такое справочное бюро по широкому кругу вопросов, начиная от цен и качества рыболовного и охотничьего инструментария (здесь Смирнов дока, его "Правда о рыбалке" — настоящий бестселлер!) и кончая спектром политических, литературных и журналистских курьезов регионального уровня. Ходит-бродит со своим печальным отзывчивым псом, иллюстрирующим совместную с хозяином тоску по первоисточникам "Записок охотника".

Валеры для меня всегда много, он на себя не скупится. Говорят, что пьющий (я) выжигает в себе нервные клетки, причем не только избыточные, а непьющий с открытым сердцем (он) раздает их, транжирит, тоже добровольно, но КПД выше. Смирнов такой. В комплекте к виртуальным подаркам полагаются и материальные, "пацанячьи": взрослая бутылка "Smirnoff", кортик, кинжал, "козья ножка", наваха и кое-что покрупнее, а также охотничьи трофеи (как то: дрофа, куропатка, фазан, птеродактиль и прочие чудеса в перьях). Каждый охотник желает знать, где сидит Смирнов. Когда были живы социалистические вытрезвители, Валера презентовал мне два подлинных, с соответствующими печатями и подписями, документа: на бесплатное и на внеочередное обслуживание в означен-

ных отрезвляющих конторах. И эти бумаги мне потом здорово пригодились: менты разглядывали их сперва с недоверием, а после со смехом, и... отпускали на волю, так сказать, в пампасы.

Невероятная щедрость — пункт А в его "джентльменском наборе". "Совершенно не стесняюсь того, что зачастую ловлю больше, чем милостиво позволяют правила рыболовства, ни в чем ином их не нарушая. В конце концов, я почти всегда раздаю большую часть улова приятелям и соседям пенсионерам, для которых сегодня рыба стала непозволительной роскошью. (...) Будем считать, что я слегка компенсирую их неумение ловить рыбу, одновременно улучшая работу пенсионного фонда". "Правда о рыбалке" — на самом деле, "Правда о Смирнове".

Если мне говорят, что Смирнов написал что-либо плохо, что схалтурил и т.д. и прочее, парирую наотмашь. Аргументы (и, кстати, факты) — железные и неоспоримые. В самом деле, назовите мне другого одесского (и даже не только) литератора, пусть с избытком обремененного всевозможными формальными регалиями члена соответствующего творческого союза (Клуб городских невменяемых — не в счет), который десять лет живет исключительно от продажи собственных книг. Ну-ка! Съели?! Десятилетие назад Валера оставил журналистскую службу, и с тех пор в разных изданиях вышли в свет 30 (!) его книг, большинство из которых — массовыми тиражами. Впрочем, издать — половина (четвертина?) дела. Главное — в том, что издатели, разумеется, не остались внакладе. И нынче многие из книг Смирнова сделались настоящими раритетами. Так, первое издание "Гроба из Одессы" мне пришлось искать днем с огнем. Вот таков будет наш достойный ответ Чемберлену.

...Признаки жизни. Мы подаем их, мы сигнализируем о себе, о своем местонахождении, статусе (в том числе — беженца), тону не только пешим ходом, приветственными кивками, легким или тяжелым дыханием. Мы еще говорим, размышляем, пишем о разных глупостях, неизвестно для кого и неизвестно для чего. И пусть нас называют болтунами, графоманами или умниками, с этим ничего нельзя поделать, и результат останется неизменным: мы в охотку продолжим творить то, к чему лежит душа. И это не хорошо и не плохо, а только так, как оно есть. Это одновременно диагноз, эпилепсия и прогноз.

Вероятно, я скверный имиджмейкер. Пиар — не мое амплуа. Но и не берусь писать о тех, к кому равнодушен. Валера Смирнов занимает немало места в моей жизни. Скажу так, что он — один из ее признаков. И поэтому я с признательностью констатирую: ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татяна ЩУРОВА
"Дивертисментъ" 261





Такое забавное "международное" объявление поместил директор варшавского театра "Эден" в одесском журнале "Дивертисмент" — "органе театров-варьете, цирков и спорта" почти век тому назад.

Остается еще раз удивиться предприимчивости одесситов, сумевших в 1907 г. создать единственный тогда в России солидный журнал, посвященный миру "и театра, и зрелища, и др. увеселений" и выпускать его (с перерывом) около девяти лет!

Помешала Первая мировая война, затем революция — театральный мир тоже рушился и видоизменялся.

Однако существование "Дивертисмента" в пору его расцвета принесло ощутимую пользу лицам, отдававшим свои таланты и силы "легкому" жанру. Поэтому, отмечая своеобразный юбилей в начале 1914 года, редакторы журнала имели полное право похвастаться:

От редакции

Двухсотым номером завершается семилетний срок издания "Дивертисмента". Ровно семь лет тому назад, 1-го января 1907 г., вышел в свет первый номер этого журнала, издававшегося в то время режиссером "Северного" ресторана в Одессе Ф.Н. Кубчишениным. В этих руках издание находилось три года, после чего перешло к Б.А. Бродскому, состоящему редактором-издателем журнала и по нынешнее время. Являясь первым по времени русским журналом, посвященным нуждам театров-варьете, "Ди-

вертисмент" в течение всего времени своего издания, по мере сил, старался быть точным выразителем быта и нужд русских варьете, справедливым другом и беспристрастным помощником различных деятелей этого жанра. Чуждый лицеприятия "Дивертисмент" давал на своих столбцах место лишь строго объективной оценке фактов. Глубокие симпатии, которыми пользуется "Дивертисмент" среди директоров и артистов варьете, а также непрекращающийся рост издания, служит лучшим доказательством успешно выполненной нами миссии. Выпуская сегодня 200-ый номер нашего журнала, Редакция выражает свою глубокую признательность всем друзьям и читателям "Дивертисмента" за их неизменное теплое отношение и обещает и впредь, по мере своих сил, искренне и правдиво служить на пользу общего дела.



Ф.Н. Кубчишен, первый редактор журнала "Дивертисмент"

В кабинете редактора

(Рифмованная шутка)

Посвящается Б. Бр-кому



Б.А. Бродский,
редактор-издатель журнала
"Дивертисмент"

*У редактора у Бр-кого
Редактура не бездарная:
Кроме облика господского
И редакция шикарная.*

*Он ведет всегда сношения
С куплетистами, поэтами, —
И его все учреждение
Их увешано портретами.*

*Есть и угол исключительный,
Для себя лишь разумеется,
Так сказать увеселительный,
Где поэтов не имеется.*

*Там уж лица все веселые:
Этуали... Улыбаются...
Все на снимках или голые
Или только раздеваются.*

*И глядит, не налюбуется
Он на стену с этулями,
Где вверху он сам красуется,
Весь украшенный медалями.*

*Надо думать — в этой мании
Есть к журналу отношение:
Бр—кий в скромном созерцании
Получает настроение!*

*И тогда безотлагательно
За работой он изводится...
В результате обязательно
Новый номер к сроку родится.*

Коррадо и Кубанский.

Сегодня это издание листаешь с удовольствием — журнал действительно, отлично сделан. Прежде всего, он был насыщен информацией. Здесь перечислялись театральные агентства в России и за границей, печатались адреса артистов, программы отдельных театров — а это возможность без посредников найти работу. Регулярно подавалась шантанная хроника, злободневные фельетоны, курьезы из жизни знаменитых артистов, различные обозрения.

В каждом номере глаз читателя радовал фотопарад красавиц, актрис, танцовщиц и певиц всех жанров в очаровательных туалетах, немыслимых шляпках. Это была реклама — "товар подавался лицом и телом". Театроведы же смогут на этих страницах почерпнуть важную информацию о деятельности известных лиц, скажем, Изы Кремер, Михаила Финского, Михаила Чернова, Вас. Вронского, Семёна Юшкевича и многих других.

Редакторы также постоянно присутствовали на страницах журнала, в каждой своей публикации заботясь не только о сегодняш-

нала, в каждой своей публикации заботясь не только о сегодняшнем дне господ артистов, но и стараясь дать им веру в спокойную старость и поднять их дух "на пользу искусства".

Оставив "деловые" страницы "Дивертисмента" в свое время, мы найдем в журнале то, что представляется забавным и познавательным сегодня.

Татьяна ЩУРОВА



Фельетон

О чем писать?

Об одесситах!.. Повторять, значит, старые песни, как одессит давно уже потерял человеческий облик, — что в столицах он носит прозвище "контрамарочника".

Одесские антрепренеры отбиваются от одесских театралов, как от блох.

Одессит считает, что антрепренеры могут держать труппу одним воздухом из легких одесситов.

Поэтому он норовит пролезть в театры, хоть через щели пола, лишь бы не дотронуться до своего кошелька.

Театры в Одессе всегда полны, а кассы — пусты как головы одесских джентльменов.

Не успеет антрепренер в Одессу приехать, как на Пушкинской "контрамарочники" вскакивают в экипаж и теребят его за волосы. — Контрамарку! контрамарку! Я всегда имею от директоров даровой билет.

И контрамарки летят по сторонам, как пыль бульварная.

В "шантанах" контрамарочники лезут в ложи, занимают столы платные, облепляют крыши.

Мало того — задаром безобразничают и под шумок улепетывают, не заплатив бедному лакею за кружку пива.

Артисты первостатейные. И только в Одессе это контрамарочное зло развито.

Искоренить его невозможно. Разве установить, чтобы контрамарки для контроля затыкались в шляпы. Но одесситы, вероятно, и тут нашли бы исход.

Все-таки испробовать можно.

С контрамарочниками конкурируют и арапы.

Это весьма интересное „племя“. Родословие их тянется с незапамятных времен. С тех пор, как появились „юбки“ и „штаны“. Род свой в Одессе они ведут от какого-то не то „гурийца“, не то ангорского „кота“.

Тип, довольно занимательный, поухаживать любит на дурницу. В крайнем случае раскошелится в отдельном кабинете на фальшивую десятирублевку.

И тут же заметит какой-нибудь изъян в кулоне шантанной девы, в бриллиантовом кольце... Выскажет свой сверхвысокий художественный вкус и любезно возьмется за свой счет вставить новый бриллиант.

Вставить-то он вставит, но только не „камень“...

А дива драгоценности видит уж во сне только.

В России одесские арапы премьерствуют.

Тут есть короли арапов и, ниже по чину, просто арапчики.

Эти каблук у дивы стянут. Лишь бы сарапничать.

Своего рода спорт. Во всем мире арапская болезнь так не процветает, как в Одессе.

Арапские бактерии гнездятся в крови одесситов. Поэтому никакими средствами их не убьешь.

Виноваты одесские кормилицы, будущие шантанные „девы“.

Как видно, молоко у них арапское. Сами шантанные певицы виноваты.

Не правда ли?

Тер



Вибрионы нашей жизни

Одессит сделался очень легкомысленным.

Подельствовало ли на него жаркое лето или просто „желудочный скандал“ приключился с ним, но только факт на лицо.

Все лето одессит веселился в области легкого жанра.

В популярной „Северной“ дела такие, что если пойдет так и впредь, то почтенные артельщики-владельцы быстро сделаются, ну, положим, если и не Ротшильдами, то, по крайней мере, Бродскими (просят почтеннейшую публику не смешивать эту фамилию с фамилией нашего редактора-издателя, который пока еще не дошел до миллионного состояния, хотя надежды на это приятное обстоятельство не теряет).

Следом за „Северной“ поспешал и Александровский парк, куда публика ходила особенно охотно. Очевидно, владельцы парка родились под счастливой звездой. Звезда их не выдает.

Оперетты, сразу две, — благодать, какой одесситы пока, кажется, еще не имели — настроили одесситов на фривольный лад. Конкурируя между собой, антрепризы вывалили перед публикой все новинки, какие только имелись на всех больших европейских сценах.

„Албанский принц“ под руку с „Феей Карлсбада“ прошли мимо „Красавца-гвардейца“ посмотреть на „Фрину“ и попутно сделали „Обозрение Одессы“. Ну, как тут устоять?

И одесситы не устояли.

Появился фарс и милый Миша Чернов, тучный, как фараонова корова, показал нам, что даже в „Приюте святой Магdalины“ может быть „Радий в чужой постели“. Публика оценила Чернова и валила на фарс.

И, наконец, всех затмил чемпионат борцов, организованный ловким П.Д. Ярославцевым.

Перед изумленными одесситами и влюбчивыми одесситками прошли длинной фалангой груди мускулов и мяса всех цветов и оттенков.

Одесса была взята в плен.

И поделом.

Не следует увлекаться легким жанром.

За это преступление последует жестокое наказание:

Откроется сезон драмы и мы будем присуждены к высшему наказанию:

Смотреть драму Бурд-Восходова.

Не правда ли, ужасная перспектива?

Гамаюн

Одесские иллюзионы

Нигде, кажется, нет такой уймы всевозможных "кино", "иллюзионов", "электрических театров и т.д." как в Одессе.

На каждой улице, на каждом квартале, чуть ли не в каждом доме непременно ютится какой-нибудь захудалый "театрик" с маленьким экраном, но с "страшно" громким названием.

И, что самое удивительное, все эти "театрики" живучи, кормятся, доставляют своим владельцам кусок хлеба, а иногда даже и с маслом.

Чем же это объясняется?..

— Картинами?..

— Нет! Картины в Одессе (за исключением двух-трех действительно солидных предприятий) скверные, старые. С непрерывным миганием, прорехами и дырами...

— Программой?..

— Тоже нет!..

Программа повсюду убогая, жалкая, кочующая из одного иллюзиона в другой и до оскомины приевшаяся публике!..

— Чем же?..

— На этот вопрос можно ответить одним словом;

— Реклама!

О, реклама в Одессе ведется умело... Доходит до сказочного в своей наглости и крикливости.

Где, как не в Одессе можно встретить такой анонс: "Не было! Грандиозно! Смех сквозь слезы! Слезы сквозь смех!.. Только у нас в театре и т.д.".

Публика ловится на удочку, платит двугривенные и полтинники и получает за свои деньги старую неинтересную картину.

Другой иллюзион расписывает программу антракционных:

— "Мировая сенсация! Только у нас! Небывалые трюки! Вечер музыки и пения"...

— А публике преподносятся два-три номера до того всем известные, что даже мальчишки-газетчики на улице уже 3 года распевают весь репертуар этих "номеров".

Но самый интересный рекламный трюк стал применяться в последнее время...

Почти ежедневно в маленьких газетах появляются сообщения о том, что в "таком-то театре такая-то картина до того подействовала

на публику, что были случаи истерик, вызывали карету скорой помощи и т.д.".

А один из иллюзионов в своем анонсе так прямо и заявил, что "во время демонстрирования такой-то картины около театра дежурит карета скорой помощи"...

— Объясняется все это очень просто!

Оказывается, что в Одессе последнее время появилась какая-то дама, сделавшая себе профессию из инсценировки истерик; говорят, даже, что установлена такса за "сеансы".

Просто истерика 5 руб.

Истерика со скандалом 10 "

Истерика с скорой помощью 15 "

А публика глядит и верит...

Так процветают в Одессе иллюзионы...

А между тем, все это можно было бы сделать гораздо лучше и честнее... Но... об этом в следующем номере.

Б.



Влияние 10 рюмок водки на непривычного посетителя кафе-шантана

При 1-ой — Воодушевляется.

" 2-ой — Ободряется.

" 3-ей — Укрепляется.

" 4-ой — Возвеселяется.

" 5-ой — Умиляется.

" 6-ой — Не стесняется.

" 7-ой — Ругается.

" 8-ой — Шатается.

" 9-ой — Забывается.

" 10-ой — Валяется.

Наблюдал „Дядя Саша“.

Макс Линдер в России

Макс Линдер.

Самый популярный человек в мире.

Актёр, которого смотрят одновременно и в Нью-Йорке, и в Тамбове, в Пекине и в Париже.

И всюду — с восторгом в широко раскрытых глазах.

С веселой улыбкой.

С здоровым смехом.

Макс прыгает с шестого этажа и, как ни в чем не бывало, закуривает по пути сигару.

Макс проваливается сквозь крышу и падает в детскую люльку для того, чтобы поцеловать дремлющего в ней малютку.

Макс с быстротой коня мчится по улицам Парижа, по полям, по лугам, скачет в воду, выходит сухим из воды и мчится дальше.

Мчится, мчится.

А за ним гонятся барышни, кавалеры, полицейские сержанты, старики, старики, женихи, невесты.

Макс — великий Макс.

Макс — акробат.

Макс — актер.

Макс — эквилибрист.

Макс — пилот.

Но всегда — веселый, смешной, добрый, славный и такой близкий — близкий Максенька.

Браво, Макс!

О степени популярности Макса можно иметь приблизительное представление хотя бы по его триумфальному шествию по России.

Смело можно сказать, подобного не видел и не испытывал еще ни один человек.

Во всех слоях общества в эти дни было на уме и на языке лишь одно это имя: — Макс!



Макс Линдер

Максом жили, Максом дышали москвичи, петербуржцы, одесситы.

Вряд ли сам "король кинематографа", как называют популярнейшего в мире актёра, Макса Линдера, мог ожидать тех триумфов и оваций, которыми сопровождалось его победоносное шествие по России. Петербург, Москва, Киев, Одесса — сплошной триумф, сплошная овация. Публика точно ошалела, увидев воочию своего любимца, своего "живого", а не кинематографического Макса Линдера. В этих горячих овациях, в этих сердечных встречах чувствовалась какая-то особенная теплота, какая-то особенная любовь покоренной толпы, и не один артист, даже с мировым именем, мог позавидовать в эти моменты "великому Макс", этому кумиру и победителю масс народных. Во всех городах, где побывал Макс Линдер, он был объектом самого глубокого внимания, самых теплых симпатий со стороны публики. Гастроли его проходили при переполненных театрах, оставляя солидную прибыль в карманах антрепренеров Макса — сперва Зона, а впоследствии Дранкова. В честь Линдера устраивались банкеты, собрания. Молодежь носила его на руках, засыпала цветами. И всем Макс был близкий, родной, свой. И всюду он, растроганный, говорил поклонниками свое искреннее спасибо.

В частности, вот как встретила Макса экзальтированная Одесса.

Макс Линдер в Одессе

Дошла очередь и до Одессы.

Наконец, настоящий, самый что ни на есть Макс Линдер "осчастливил" своим посещением Одессу.

Одесса устроила гениальному Максусу помпезную встречу. Это был поистине триумф, хотя и специфический. И одесский вокзал, выдавший на своем веку не мало — не запомнит такого оживления. А, между тем, сколько великих людей перешагнуло порог одесского вокзала. Перспектива увидеть живого Макса, сошедшего с экрана, по-видимому так волновала некоторую часть Одессы, что она еще на рассвете потянулась к вокзалу.

К 8 часам началось форменное паломничество к вокзалу. Можно сказать, что встречать Линдера собралась вся Одесса. Самое удивительное, что на вокзал пришли мастеровые, рабочие, достающие себе пропитание ежедневным заработком. До того неотразимо влекло их увидеть живого Макса Линдера, что они решились даже потерять свой дневной заработок. Было много дам и девиц. Некоторые из них даже принесли цветы в на-

дежде, что им удастся осыпать ими "душку Макса". Автоматы, выбрасывающие перронные билеты, и те устали, попортились, и их пришлось исправлять. Совсем умаялись охранители порядка и тишины. Действительно, не могло быть речи о том, чтобы поддержать какой-нибудь порядок. Люди, преисполненные желанием видеть Линдера, не останавливались ни перед чем: ни перед грозными окриками жандармов "осадите", ни даже перед мольбами дам, просивших не задавить их.

Когда, наконец, пыхтя, подошел поезд, началось страшное столпотворение. Публика с бешеными криками: "Макс", "Линдер!" "ура!" "да здравствует король Макс!" — припала к вагону, в котором он ехал, и ее невозможно было оторвать. Артист боялся, как бы толпа его не задушила в восторге, и отказался выйти. Но одесситы неистовствовали:

"Ура, Макс!", "Где он?"

— Вот он, — я его видела, — истерично взвизгивали дамы.

Через некоторое время удалось, наконец, "осадить" немного толпу, и Макс Линдер в сопровождении своих друзей вышел на перрон. Другьям Линдера совместно с жандармами пришлось употребить недюжинную силу, чтобы толпа, пришедшая в экстаз, не разорвала на части своего любимца. Как огромная лава, тысячная толпа поплыла к выходу.

Кумир ее — Макс Линдер — молодой человек невысокого роста, с типичным французским подвижным лицом, живыми бегающими глазами, совсем затерянный в этой толпе съезжился как-то, с головою вошел в каракулевый воротник пальто, улыбаясь, растерянно и смущенно. Сзади его подталкивали, к нему тянулись руки, а кругом раздавались визги и крики: — "Макс Линдер в Одессе!", "Ура!".

Некоторые ж.-дор. служащие взобрались на крыши вагонов, чтобы лучше увидеть "его". С большим трудом удалось вывести с вокзала живого Линдера и усадить его на автомобиль. Но и здесь была уже тысячная толпа, вытянувшаяся шпалерами по Пушкинской улице... Толпа настолько запрудила улицу, что пришлось остановить движение вагонов трамвая.

Энтузиазм одесситов достиг апогея. Автомобили, наконец, двинулись, сопровождаемые частью публики. Другая часть, взволнованная и тронутая встречей, еще никак не решалась оставить здание вокзала.

Однако, не все остались довольны встречей Макса Линдера. Очень многим его не удалось совсем увидеть и от них приходилось слышать по адресу одесситов:

— Дикари, авгуры, мещане!

— Вот она, некультурная-то Одесса, вся, как есть, сказалась в этой

встрече, — заметил мрачный господин, которому отдавили ногу и сбросили с головы котелок.

Приходилось слышать в толпе и такие разговоры:

— Ничего особенного, я думал, что-нибудь интересное, прямо-таки не на кого смотреть, ничего общего с Максом Линдером, показываемым в иллюзионе.

— Шельма Макс, укрылся воротником, чтобы его никто не видел. Зачем, в таком случае, я покупал перронный билет...

Большинство осталось довольно встречей, и еще долго говорили об этом на все лады.

Когда автомобиль со своим "знаменитым" пассажиром подкатил к Лондонской гостинице, здесь уже стояла толпа любопытных.

Максу с трудом удастся пробраться сквозь толпу ко входу. Какая-то девочка подносит "королю кино" букетик цветов. Линдер берет девочку на руки и награждает поцелуем. Наконец, Линдер скрывается за тяжелыми дверьми гостиницы. Толпа, поощряемая полицейскими, лениво расходится.

С этого момента начинает работать телефон. Макса приглашают к себе, предлагают делать визиты, спрашивают о здоровье и т.д. Особенно много объявилось соотечественников, яростно приглашавших Макса к себе. Даже телефонные барышни попросили Линдера навестить их на станции. Однако, к телефону Линдер не подходит. За него кто-то дает короткие ответы, сообщающие сгорающим от нетерпения одесситам о том, что Макс отдыхает, Макс закусывает, наконец, что Макс уехал в город.

Все — точно на экране. Между прочим, в гостиницу был приглашен врач, который оказал Максу Линдеру медицинскую помощь. Оказывается, что "из любви" кто-то угостил Макса локтем в живот.

В начал третьего часа дня Линдер стал наносить визиты редакциям газет.

— Не привык я к такому антуражу, — рассказывал Линдер. — Я человек правильного образа жизни. У себя в Париже я никогда не ложусь позже половины двенадцатого. А здесь — банкеты, встречи, приемы. — Ах, просто сил нет, — воскликнул Линдер и пояснил свои слова широким, размашистым кинематографическим жестом.

— Каковы ваши первые одесские впечатления?

— Одесситы, видимо, меня сильно любят. Меня так ударили в брюхо, что оно у меня и сейчас болит — j'ai affreusement mal à l'estomac.

— Как вы попали в Россию?

— Совершенно случайно. Поехал я в Будапешт сыграть скетч по приглашению директора театра. Директор, посмотрев меня в "Танго и Любовь", нашел, что это как раз то, что нужно Петербургу, и заставил меня поехать в Петербург, а оттуда пришлось уж ехать в Москву и по другим русским городам.

— В чем вы сами усматриваете сущность своего таланта?

— Это дар. Тайны моего таланта в моей физиономии — j'ai une physionomie photographique. Не у всех актеров есть подвижность маски, выразительные глаза и улыбка.

— Верно ли, что вы оставляете синемаатограф?

— О, нет. Я расстаюсь только с фирмой, а буду играть в своем собственном театре, в котором даваться будут только скетчи и синемаатографические представления.

Характеризуя встречу, оказанную Одессой Максусу Линдеру, можно ее сравнить со встречей, оказанной ему в Москве.

Одесситы начали прием своего иллюзионного кумира чисто по-одесски.

— Так стиснули его на вокзале, что Максусу сделалось дурно.

Но его и в этом состоянии качали так, что Макс Линдер почувствовал себя, точно на пароходе в бурную погоду...

Публика встречала Максуса Линдера, как хорошего знакомого:

— Макс, у тебя есть еще синие фильдекосовые панталоны?

— Максик, как твой аппендицит?

Скучающие дамочки вели такой разговор:

— Ах, Полечка, хоть бы одну пуговицу с его пальто оторвать...

— Фирочка!.. Я тоже хочу пуговицу от Максуса. Я ее буду носить на груди...

— А муж?

Что муж? Зачем вспоминать о каком-то муже, если здесь он, Максик?..

— Маруся, отчего ты плачешь?

— Я его ревную!

— Кого?

— Максуса! Он едет с какой-то артисткой! А я?..

Максус провел день очень бурно.

В гор. театре он сделал подробный осмотр и сказал:

— Не могли выстроить для меня лучшего театра. Не буду я играть в этом сарае.

Кое-как его уговорили:

— Помилуйте, здесь Шаляпин пел.

— Что мне Шаляпин? А Шаляпин умеет с крыши через все этажи прыгать и попасть в суп квартиранта первого этажа? То-то же!

Толпа рвала Максуса на кусочки. И надо только удивляться, как он выдержал.

Максус рассказывал:

— Это еще ничего! Еще хуже было в Испании. Испанки в меня бросали цветы, а одна испанка швырнула мне прямо в нос тяжелый веер. Две недели я не мог залечить своего носа...

Из редакции Максус поехал по городу...

И Одесса сошла с ума.

Этот народный герой свел Одессу с ума...

А о том, что видел Максус в Одессе, он обещал мне рассказать...

Гастроли Максуса Линдера в Одесском городском театре

Наконец, и Одесса увидела Максуса Линдера, настоящего "живого", и не на кинематографической ленте, а на сцене, выступающего в пьеске в качестве актера.

Сказать правду, я шел на спектакль с большой дозой скептицизма в запасе. В то время, как Макс Линдер на экране общепризнанный любимец, даже кумир народных масс, тот же Максус, в качестве актера, подвергся за последнее время в России такому жестокому обстрелу театральной критики. Невольно закрадывалось сомнение, рождалось недоверие к этому кинематографу, возведенному до невероятных размеров славой и услужливой рекламой. Хочется не поддаваться гипнозу общего возбуждения, стараешься быть настороже в своих восприятиях. Смотришь на сцену хмуро и подозрительно.

Но это длится недолго. Проходит каких-нибудь 5 минут, не более, и вы побеждены. Вернее, вы просто забыли о своем скептицизме; он куда-то испарился, исчез. Вы целиком уже во власти этого человека, действительно бесподобного и несравненного Максуса Линдера. Какой это чудесный комический актер, какая бездна в нем живого, искрящегося юмора, шаловливого веселья и такой беспечной, как детский смех, дурачливости и резвости. Он весь подвижность и стремительность, весь в изящном, полном огня и темперамента, движении, в одном непрерывном каскаде увле-

кательнейшего смеха, комических движений и забавных гримас необыкновенно подвижного лица. И, затем, какое богатство всевозможных трюков и комических фортепей! Макс Линдер буквально засыпает ими зрителя на протяжении каких-нибудь двадцати минут.

И при всем том артист отлично чувствует меру во всем, как будто инстинктивно угадывает ее. На всем протяжении спектакля ни одного грубого жеста, ни одного шокирующего, оскорбляющего вкус движения. Все в пределах возможной и необходимой в этом жанре художественной манеры.

Публике нашей Макс Линдер понравился. Первое же его появление было встречено аплодисментами и чем дальше, успех спектакля все рос и закончился к концу спектакля шумной овацией.

Небольшая труппа гастролера производит приятное впечатление. Красивая, изящная женщина и, видимо, недурная актриса г-жа Митчель.

О. Т.

Фальсифицированный Макс Линдер

На почве увлечения Максом Линдером, в Одессе проделали следующую, не лишенную остроумия, шутку.

Было известно, что Макс приезжает в Одессу 15-го декабря. Впоследствии приезд был отложен на 17-е.

Публика, не зная об этом, с раннего утра 15-го стала собираться на вокзале, чтобы посмотреть на "живого" Макса Линдера, и к приходу киевского курьерск. поезда перрон ст. "Одесса-Главная" был положительно запружен публикой, преимущественно дамами и учащейся молодежью.

Этим обстоятельством воспользовалась администрация театра "Миниатюр", которая загримировала одного из своих артистов в "Макса" и командировала его вместе с фотографом "Пате" на вокзал для снятия картины "Макс Линдер в Одессе".

Мнимый Макс был так удачно загримирован, что многие из публики приняли его за настоящего Макса, приветствовали его и кричали ему: "Максик, как поживаешь?".

Другие же сразу опознали, что это фальсифицированный Макс — и тут же выражали свое неудовольствие.

Мнимый Макс вошел в вагон и через окно кланялся публике, которая его приветствовала, а затем вышел из вагона на перрон. У подъезда вокза-

ла мнимый Макс был встречен ожидавшей его толпой мальчишек, которые подняли неистовый шум и крик.

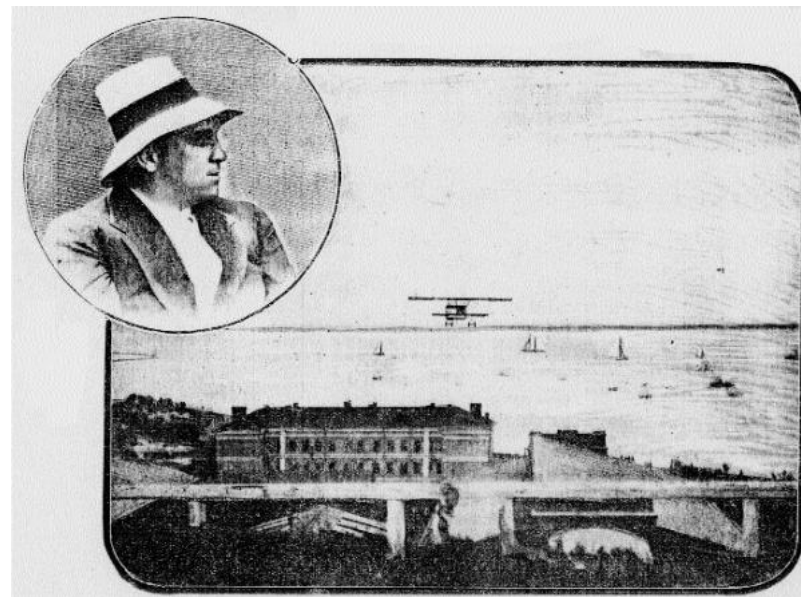
Макс сел в поджидавший его автомобиль и под гиканье толпы и свист мальчишек поехал по направлению Пушкинской улицы.

За автомобилем погналась толпа мальчишек, кричавших:

— Макс Линдер приехал.

При виде этого трюка собралось много публики.

Все это снова было запечатлено на кинематографической ленте.



Полет авиатора С.И. Уточкина 3 июля над Одесским заливом.
Слева авиатор С.И. Уточкин.

Катастрофа с С.И. Уточкиным

Всероссийский авиационный праздник (перелет Петербург—Москва) оказался весьма неудачным для многих русских летчиков. Пострадали популярный в Одессе спортсмен и авиатор С.И. Уточкин, Лерхе, Кампо-Сципио, Слюсаренко и др. В Одессе получена была телеграмма о катастрофе с С. Уточкиным. Телеграмма эта повергла в печаль одесситов, ибо она извещала о тяжелых падениях авиатора, о сотрясении

мозга и т.д. По последним известиям, состояние здоровья г. Уточкина весьма удовлетворительно. Он получил лишь легкий перелом ключицы. Есть надежды на выздоровление. Авиатор на днях возвращается в Одессу.

Здоровье Уточкина

Уточкин находится на пути к выздоровлению.

Доктор больницы Всех Скорбящих, Ильин, между прочим, говорит:

„Уточкин — не душевнобольной, каким он многим казался, а просто человек, расстроивший свой организм длительным употреблением наркотических веществ. Как скоро поправится Уточкин, — сказать трудно, но, во всяком случае, он должен покинуть вредный для него петербургский климат и поселиться на Юге, куда и сам он рвется всей душой“.

На аэроплане

Уточкин разбился!..

Герой воздуха, победитель одесситок, покоритель пирамидок и пирамид, неустрашимый, непобедимый и неотразимый Уточкин упал вместе с аэропланом и лежит теперь с переломанными руками и ногами...

И, как подстреленная птица,

Подняться хочет и не может...

Уточкину всегда везде и во всем везло.

Он был первым и неустрашимым...

Он плавал, ездил на велосипеде, на моторах, на яхтах, на коньках, на извозчиках, на трамваях и летал на аэропланах!

Он совершал безумные полеты...

Но видно, судьба подстерегала его.

И вот на блестящем перелете „Петербург—Москва" Уточкин упал и разбился...

Ах, Сережа, Сережа, на кого это похоже...

Кто больше всех пожалеет о неудаче Уточкина — это шантанный мир; каждый знал, любил и уважал „Сережу"...

Будем надеяться, что поранение Уточкина легкое, и что скоро он опять полетит от грешной земли к небесам на крыльях своего аэроплана.

И звуков небес заменить не могли

Ему грешные песни земли!..



Хроника

Очередной скандал с Шаляпиным

В Мариинском театре в Петербурге во время представления "Севильского цирюльника", шедшего с участием Шаляпина, произошло недоразумение. Заболевшего капельмейстера Коутса согласился заменить Асланов, но до сих пор оперой не дирижировавший и потому не знавший детально всех темпов. Во время третьего акта Шаляпин заметил, что темп оркестра несколько замедлился. Он сделал оркестру знак играть быстрее, но когда это не помогло, артист подошел к рампе и ногою начал отбивать такт. Асланов, не ожидавший такого выступления, растерялся, оркестр стал играть неровно, так как некоторые шли в такт с Шаляпиным, а другие вразрез. Это еще более рассердило артиста. Произошло недоразумение. Артист заявил оркестру, что если это будет продолжаться, он сейчас уйдет. Асланов сидел бледный, как полотно, тщетно стараясь привести оркестр в порядок. Музыканты частью бросили играть, а исполнители, боясь сбиться с такта, пели вполголоса.

Продолжение инцидента было уже за сценой. Энергичное вмешательство режиссера Тартакова дало возможность довести спектакль до конца.

На участке земли, приобретенном в Сочи, Ф.И. Шаляпин строит себе дворец, где думает жить под старость.

Гастроль Шаляпина с приключениями

Спектакль в большом московском театре, для которого шла „Русалка" с Шаляпиным, прошел с внешней стороны в обычном порядке, — говорит „У. Р.". — Шаляпин пел, его вызывали. Публика, по обыкновению, шумно принимала своего любимца. После третьего акта ему устроили колоссальную, небывалую овацию. Между тем, не знали, что за кулисами происхо-

дит драма, грозившая гросс-скандалом. Шаляпин не был удовлетворен своим пением, еще менее он был удовлетворен оркестром, находя, что дирижер, г. Авранек, затягивает темпы... Шаляпин, как и в „Фаусте“, отбивал ногою такт. Между Шаляпиным и Авранеком вышло даже пререкание. Первый акт кончился, публика неистовствовала, но Шаляпин, очевидно, не разделял ее восторгов. Во втором акте мельник не занят. Шаляпин, недолго думая, разделся и ушел из театра. Начался переполох; бросились искать. На всякий случай нашли Осипова, который уже стал одеваться. Публика и не догадывалась, какая буря за кулисами... Начальство все поглощено мыслью, как публика будет реагировать, когда придется заявить, что за Шаляпина будет доканчивать оперу другой. Шаляпин погулял, воздух успокоил его, и он вернулся в театр. Тут общими усилиями Шаляпина уломали, уговорили. Он согласился допеть спектакль, но тут же за кулисами кричал, что больше петь никогда не будет... Спектакль спасли.



Голая Айседора Дункан

Айседора Дункан выступила в Париже в танцах совершенно обнаженной. На ней был только прозрачный газовый шарф. Избранная публика, присутствовавшая на танцах, была очень смущена. С галереи раздался голос: „Айседора, да не бегай же голой по сцене“. Занавес опустился. На следующем представлении присутствовала полиция. Дункан заявила: „если вы будете стеснять меня, я убегу в леса и там, обнаженная, буду танцевать. Пение птиц и шум ручьев мне будут оркестром“.

Близкие друзья Л.В. Собинова получили от него письмо из Биаррица, где он отдыхает. Артист увлекся игрой в рулетку; вначале проиграл и довольно много, но затем счастье изменилось: он все отыграл и выиграл более 20,000 фр. Чтобы более не испытывать судьбы, артист уехал в Милан. В Москву он приедет 10 сентября.

Вакханалия цыганщины

Конечно, речь идет о знаменитой цыганской королеве Вьяльцевой. Цыганщина продолжает властвовать над умами и сердцами россиян, черпающих в "вьяльцевщине" эссенцию жизни... Казалось бы, что должен был уже наступить конец увлечению „Гайда тройкой“ и пр. цыганской ерундой, но цыганщина еще живет. Время, этот тяжелый молот всего преходящего в жизни, очевидно, бессильно над цыганщиной. Вьяльцева продолжает безудержно оцыганивать, по словам газет, петербуржцев. Вьяльцевские пятницы в „Буффе“ — торжество из торжеств. Громадные сборы, без конца аплодисменты, дюжины цветочных корзин, бриллианты и пр. и пр. вплоть до бросания шапок... И Вьяльцева сыта, и публика "овяльцована".

Чего же еще?

Но надо жить!

А жить — значит, надо и веселиться!..

А летом одно веселье.

— Загородные сады и шантаны. Шантаны и сады!..

Летом замирают театры!

Скучно, жарко, надоело!

Летом царство шантана! Этуали и полуэтуали, девы и полудевы, дамы и полудамы, куплетисты и эксцентрики — все увеселяют нас, все влекут жителя в шантан...



Рассказы к стати

Пари

(Перев. с немецкого)

Цирк Бр. Бруно каждый вечер делал полные сборы. Гвоздем программы служил известный укротитель хищных зверей — Рабон со своими чудно-дрессированными львами. Он, казалось, не знал страха и обращался с „царями пустыни“, как с простыми собаками. К постоянным посетителям цирка принадлежал между прочим один англичанин, являвшийся ко времени выхода Рабона ежедневно. Само собой всем известно, до чего

падки дети Альбиона к всему выдающемуся, эксцентричному, смелому... От восхищения до знакомства — один шаг. Первой фразой англичанина было следующее:

— Я преклоняюсь пред вашей смелостью, но все же порой мне от души вас жаль...

— Жаль? Почему?

— Ну да. Это очень естественно, так как вы все же в конце концов сдаетесь жертвой ваших питомцев.

— Вы ошибаетесь, сэр. Хотите я вам представлю доказательство, насколько сильна моя власть над животными? Можете придумать какое желаете испытание — я заранее на все соглашаюсь.

— Идет! Я вам, милейший г. Рабон, предлагаю нижеследующее: Вы не должны кормить своих львов по крайней мере в течение двух суток, по истечении которых, войдя в клетку, вы бросите зверям кусок мяса и, не дав его им съесть, отберете обратно. Ваш выигрыш — я плачу две тысячи фунтов стерлингов, проиграете — дирекция цирка уплачивает, за ваш счет, мне — вышеназванную сумму. Согласны?

— Согласен. Только, сэр, мне нужен срок. Согласитесь, что ваше предложение — дело не шуточное. Я прошу месяц для подготовки.

— Идет!

Рабон и англичанин ударили по рукам.

В течение месяца театральная хроника местных газет протрубила все уши обывателей о предстоящем дне такого страшного поединка.

Но вот наступил и срок. Чуть не с утра публика осадила цирк и к началу представления на кассе уже красовался аншлаг: „билеты все проданы!"

Программа подвигается к концу. Напряжение публики достигает крайнего предела.

На сцену вывозят клетку со зверями.

Вид „царей пустыни" прямо ужасен. Львы, обыкновенно спокойные, теперь бегали по своей тесной тюрьме и находились в таком яростном, свирепом настроении, что, казалось, были наготове разломать железные решетки своего помещения. На арену выходит Рабон. Глаза его ищут своего противника. Англичанин на месте, он вместе с другими слегка аплодирует выходу Рабона.

Увидя своего хозяина, львы, дико зарывав, с бешенством начали бросаться на решетку.

Не обращая никакого внимания на состояние зверей, Рабон спокойно

взял поданный служителем большой кусок сырого мяса, медленно пошел вокруг клетки, высоко держа его в руках. Животные жадно пожирали его глазами. Таким образом он обошел два раза. Вдруг, неожиданно, как для зверей, так и для публики — Рабон кинулся в клетку и очутился среди львов, прыгавших как сумасшедшие, и испускающих бешенный рев.

Ужасный, потрясающий момент! Высоко подняв голову, стоял Рабон, держа в одной руке мясо, в другой хлыст, которым страшно полосовал львов, жадно бросавшихся на заманчивый кусок. Наконец, укротителю удалось загнать животных в угол клетки, куда он и бросил мясо. Львы кинулись на него, как сумасшедшие. Но не тут-то было! Рабон, войдя в средину с криком: "Пошел!" — наступил на мясо ногой, щедро раздавая „царям пустыни" страшные удары бича. Один момент — и мясо опять у Рабона в руках, а львы в углу клетки. Укротитель вторично бросает лакомый кусок зверям и, пользуясь общей свалкой бросившихся на пищу животных, — выскакивает из клетки. Нельзя описать неистовства публики. Аплодисментам и вызовам Рабона — казалось не будет и конца. Только один англичанин, спокойно поднявшись с места и достав из бумажника чек на две тысячи фунтов стерлингов, передал его шталмейстеру.

По окончании представления, сидя с Рабоном в кафе, англичанин полюбопытствовал, — каким образом укротителю удалось в течение такого малого времени добиться необъяснимого результата?

— Очень просто, — небрежно ответил Рабон, — дрессируя моих питомцев, я ежедневно им бросал кусок мяса, пропитанный мернентином (запах которого львы не выносят), а затем давал хороший — с жадностью ими сейчас же пожираемый. Медленно так приучая львов и оставляя их голодными час, потом два и т.д. в течение месяца, я, как видите, добился того, что вам, сэр, казалось невозможным. Должен вам только, сэр, признаться, что момент отбирания у голодных львов из пасти пищи — не легкая вещь, но кто работает с дикими зверями, того удел не думать о личной гибели, а смелость и хладнокровие. Ваше здоровье, сэр!

М.

АХ, ОДЕССА

Олег СОЛЯЩАНСКИЙ
Одесские зарисовки 285

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол 290

Феликс КОХРИХТ
Так да — "Фонтан"! Так да — шприцует! 294

Олег СОЛЯЩАНСКИЙ

Одесские зарисовки

Абитуриенты

Море поразило их, не видевших его до сих пор, своим раздольем, свежей теплотой и удивительно приятной, ласковой соленой и зеленоватой водой.

— Вот это да! — сказал тот, что похудощавей. Один из них, приобщившихся только что к материализованному раю. Они стояли мокрые после купания на бугристой бетонно-причальной плоскости в новых, классных плавках, хоть и самопальных, чайка на красно-зеленом фоне у одного, якорь на сине-желтом у другого. Третий же был в старых, своих. Чайка на купленных им плавках оказалась прямо на причинном месте, выглядело все это крайне неприлично, и их пришлось оставить в экипаже. Он также разделял восторг к морю с высказавшимся вслух. Еще его удивлял этот город, зеленый, открытый и своеобразный, с волшебным-прекрасным Центром, развернутым к морю, и живым, говорливым народом, относившимся почему-то с особым пристрастием к толчку, где они вчера купили плавки. Шумному, переполненному и деловому.

К местным своеобразиям он относил и виденное им в трамвае вскоре после приезда, когда стоявший рядом парень достал из кулька какое-то красное, явно насекомое с усами и лапками, и отправил его в рот, начал пережевывать, смущаясь от его пораженного всем этим взгляда. Понимавшего всю бестактность своего поведения, но не смогшего этого скрыть. Это сейчас-то он знает, что в кульке были не насекомые, а безобидные креветки, которых у него в Сибири не увидишь ни за что, а тогда...

— А что если не поступишь, что будешь делать? — спросил он у худощавого.

Все они, трое, поступали в эти дни в ОВИМУ, и вопрос этот их волновал чрезвычайно.

— Не знаю! — худощавый пожал плечами. — Может, в Мурманск поеду. А! — легкомысленно отмахнулся он. — Там видно будет. Вот у меня, ребята, невеста в Полтаве, вот это поважней, и она меня ждет.

— Ви говорите у вас невеста, и она вас ждет? — обернувшись, они обнаружили какого-то низкорослого и лысоватого в семейных трусах и торчащим над ним солидным, круглым, как глобус, животом. — Так пускай

она поцелует вас в задницу! — лысый был явно гружен под завязку и не трезв. — Вот у меня сын, ему 27 лет, — сказал он с трагическим надрывом. — Я его спрашиваю: "Сыночек! Ну почему ты не женишься?" — последнюю фразу лысый произнес прочувствованно, со слезой в голосе простирая руки к воображаемому сыну. — Папа! — рявкнул он так, что обернулись проходившие мимо. — Я ищу девственницу! — они удивленно глядели на говорившего. — Вот вас как зовут? — спросил он без перехода у художавого. — Так, Олег. А вас? Валентин. А вас? Еще Олег. А я Жора! Я в цирке на тромбоне играю. Вы так умеете? — согнув руку в локте, он подвигал мышцей. — Раз, два, три! Нет? А я умею.

Послушав еще какое-то время разглагольствования озабоченного поисками сына отца и тромбониста, они отправились в воду. Море искренне восхищало их. А "классные" плавки оказались линючими, им, оказывается, противопоказана была пресная душевая вода. Да и поступить в том году им, увы, не удалось.

Гоп-стоп

А поначалу все складывалось так удачно. Была свадьба и сдвинутые столы, и жених с невестой, покорно целующиеся на каждое "горько", и более похожие на статистов, чем на главных действующих лиц, в этом шумном и странном спектакле. И заводное "семь сорок", исполняемое слегка фальшивящим оркестриком, и огромные, прыгающие бедра, взлетающие ноги, и раскрасневшиеся лица. И все это среди столов, шифоньеров, кресел, стульев, вешалок и чьих-то полът в квартире, абсолютно не приспособленных для таких массовых акций. И горлатое "Ой мороз, мороз!", и снова "горько", все более хмельное и накаленное. И это все их познакомило, сплело, сдвинуло, толкнув в нечто увлекательно-непредсказуемое. А то, что их звали так же, как жениха и невесту, придало этому какой-то особый, многозначительный оттенок. И он увел ее лихо, легко и весело фонтанируя остроумием и выдумкой, и любясь ее очень эффектным лицом, она и правда была настоящая красавица, и в ней тоже что-то происходило. И до полного сближения им не хватало чуть-чуть — какого-то шага с его стороны, а главное, подходящей обстановки, и бархатная, черноморская ночь была им сводней. Но в последующие дни что-то, где-то открылось, и понеслись ветра холодные и неуютные, таща с собою серые, плаксивые тучи. И встречи их как-то сразу потускнели, становясь все бледнее и скучнее. И ему повести бы ее, красавицу, куда-то в уютное,

удивляя и радуя, но с курсантскими тощими его возможностями это было из области абсурда. И он чувствовал, что рейтинг его в ее глазах, говоря нынешним языком, упорно катится под гору, и дабы хотя бы как-то поддержать его, приходил на встречи с ней только по гражданке: свитер, брюки и классное его эффектно-серое демисезонное пальто. Вид его был что-то нечто, и на него он надеялся. Они гуляли по промозглым, зябким улицам, и какая уж любовь в такую-то погоду? И замерзнув, пошли по направлению к ее дому, быть ему возле него до тех пор не приходилось, и ему любопытно посмотреть было, где она живет.

— Ну и что, мы так и будем ходить по сырости? Мне это не нравится, — она надула свои красивые губки.

Ему это тоже не нравилось, но что-либо предложить он не мог. Когда пронзительный свист в удалении повис над ним и ею, и одноэтажным ее домом в этом глухом уголке Молдаванки, куда на сей раз его занесло. И он оглянулся на площадь сзади себя, окруженную одноэтажными, как и у нее, дворами, с тремя сходящимися к ней улочками и столбом посередине, на котором вверху болталась электролампочка, разреживая освещенным кругом на земле сумрак наступившей ночи. И безлунное, мрачное небо низко нависло над ними. Ответный свист с другого конца резанул по ушам. Он внутренне поежился.

— Ой! — испугано сказала она. — У нас такой страшный район! Позавчера вот здесь одного убили, — и она показала на освещенный круг вокруг столба.

Ему захотелось тут же уйти, все равно пора уже было расставаться, да и свист ему очень не нравился. Живя в Одессе, он никогда не сталкивался с этой стороной жизни, и мир этот был далек от него, и он с его хроническим безденежьем был неинтересен этому миру. Лишь только раз он столкнулся с чем-то подобным, услышав разглагольствования какого-то юного в разговоре с кем-то:

— А шо! Мне перо достать, что плюнуть. Мой дедушка налетчик, и я налетчиком буду!

И все это отдавало детством. А тут из одного проулка на той стороне площади вышли двое, а из другого еще один, и все это было далеко не детство.

— Иди! — сказал он ей сухо. — Уходи! До свиданья!

— Нет, — она не уходила. — Я боюсь за тебя!

— Да уходи ты! — еще была возможность как-то уйти с этой площади. Она, вцепившись в него, застыла у него за спиной.

Трое на той стороне площади, разговаривая между собой, поглядывали и в его сторону. Поговорив, не спеша направились в его сторону.

— Ну все, приехали! — подумал он.

Он рассматривал их, идущих по направлению к нему, не юных, как тот "будущий налетчик", каждому где-то за тридцать. Один из них, подойдя к нему, пощупал пальто, не обращая внимания на него и на нее, дрожащую за его спиной. Расстегнув, как на манекене, пальто, осмотрел подкладку и лейбу на внутреннем кармане. Удовлетворившись осмотром, мотнул головой этим двум, мол "Пошли!". И они ушли, а он остался. Выходит, пальто, которое ему так нравится и которым он так дорожил, им не понравилось. Его душила странная обида. Его любимое красивое пальто, и им побрезговали, не оценили, пренебрегли.

— Вот же сволочи! — сказал он огорченно ей, недоуменно глядящей на него. И попрощавшись, зашагал в темноту, расстроенный и злой.

Больше на площади со столбом посередине и электролампочкой, болтающейся на ветру, ему побывать не удалось. Да и с ней, поссорившись, они вскоре расстались.

Ханыга

Они только что вляпались в казус, нелепый и смешной, когда после долгих хождений по местному рыночку с выложенными по прилавкам натюрмортами всякой живности и растительности, он терпеливо стоял в очереди за ярко-зелеными в пупырышках огурцами, а она, подбежав к нему на секунду, вся в своих мыслях, деловито и довольно громко сказала:

— Вот что! Будешь брать огурцы, не забудь рукой прикрыть яйца!

И вся очередь, как по команде, удивленно посмотрела на них, конечно, не зная, что яйца, о которых идет речь, лежат в закрытой хозяйственной сумке в его руках, и ничего предосудительного в ее предложении нет.

— Ну ты даешь! — хохотал он, когда они вышли уже из рыночка. — Ты хотя бы поняла, что ты сказала?

— Сказала и сказала! — смеялась и она. — Я же без всякого!

— Чудо ты мое! — завершил он полемику.

Казус их не огорчил, а только насмешил. Они были молоды, и все им было в радость. И Черноморка, где они отдыхали, и комнатка на отшибе двора, напоминающего людской муравейник в миниатюре, и край этого двора на высоком берегу над обрывом, с которого открывался вид на без-

граничное и безмятежно голубое в легкой дымке море. И плотное лежбище людей на горячем, как утюг, пляже, и бархатные ночи, и их общение среди всего этого. И веселые, оживленные, они остановились, решая, куда пойти дальше, неподалеку от крашеной перекисью блондинки, торговавшей яблоками. Статной, грудастой, в белом халате, видимо одесситка, за словом, конечно, в карман не лезящей. "А шо делать? Жить-то надо!" И, пожалуй, типичной для этой профессии — советская продавщица, торговля с весов овощами и фруктами в любую погоду, грязь, жара, холод. С контролерами, проверяющими, с малой зарплатой и огромным желанием что-либо заработать несмотря ни на что. И выковывывающей свое красноречие с въедливыми тетками, что любого и каждого с радостью доведут до могилы, и занудливыми покупателями, приносящими ей свое раздражение от неустроенной и серой жизни. Она стояла с сигаретой в углу рта возле своих весов и яблок солидно и обстоятельно, выделяясь в толпе, как фигура на носу судна, и с философским видом рассматривая мир вокруг себя. И на живом лице ее отражалось понимание прозаичности происходящего. Так же по-философски невозмутимо она наблюдала за подошедшим к яблокам мужчиной, небольшого росточка и изящного. И своим видом — ослепительно-белая с запонками и галстуком рубашка, идеально наглаженные брюки и начищенные, без единой пылинки, полуботинки, — резко контрастировавшим с шорто-полураздетой окружающей публикой. Он долго рассматривал яблоки в ящиках, брезгливо касаясь ухоженной ручкой их зеленых бочков.

— А яблочки-то ваши не очень! — наконец-то оторвался он от и правда непрезентабельных яблок.

— Не нравится? Гуд бай! — весело отрезала блондинка, перекинув сигарету из одного угла рта в другой. Причем слово "гуд" она произнесла не с жидко-тонким российским "г", а с украинским "гэ", жирным и весомым.

— Ну вы могли бы и повежливей! — оскорбился оппонент блондинки.

— Иди, иди! Ханыга!

И сказано это было без зла, даже как-то добродушно, так, по привычке, для порядка. "А шо такое?" И моргнув им двоим, улыбнувшись, веселым и радостным, мол, все о'кей, все в порядке.

Они так и прыснули со смеху. Уж слишком не вязалась удаляющаяся дистиллированно-интеллигентная личность с этим корявым словом "ханыга".

Николаев

Городок — пятый угол

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО ЭТИ СЦЕНКИ РАЗЫГРЫВАЮТ
ИЛЬЯ ОЛЕЙНИКОВ И ЮРИЙ СТОЯНОВ. УЖЕ СМЕШНО?..

Когда говорят одесситы — музы молчат

В роддоме беседуют две одесситки.

- Вы кого с мужем ждете — мальчика, девочку?
- С этим дураком никогда не знаешь, чего от него ждать!

Беседуют два одессита.

- О, кого я вижу!
- Сколько лет, сколько зим! Ну, рассказывайте — как у вас дела?
- Ко мне жена вернулась.
- Что вы говорите!
- Но в остальном у меня все хорошо.

- Вы знаете, я уже полгода самостоятельно учу английский язык, по самому современному методу — с видеомэгнитофоном!
- Да? И какие успехи?
- Пока все нормально. Уже одну фразу выучил.
- Да что вы! Какую?
- "Вставьте кассету в магнитофон".

*Дедушка на улице со страшной силой трясет коляску с младенцем.
Мимо проходит женщина.*

Женщина. Что вы делаете? Разве так можно? Зачем вы его трясете?

Дедуля. *(Достает из коляски бутылочку с детским питанием.)*
Вот, читайте! Раньше матери кормили детей грудью, а теперь их дедушки должны их кормить вот этим. Читайте, читайте!

Женщина. *(читает)* "Перед кормлением взбалтывать". Ну, так взбалтывать же надо бутылку, а не коляску!

Дедуля. А что делать, если сначала покормил, а потом прочитал?!

Давайте выпьем!

Возле здания экскурсовод и группа туристов.

Э. — А это здание сыграло огромную роль в культуре нашей страны. Здесь часто бывали выдающиеся деятели нашей культуры. Здесь они общались с народом, запросто встречались со своими критиками, искали новые темы, нащупывали болевые точки современности.

Т. — Позвольте, а почему же здесь нет мемориальной доски? Как же можно так не уважать свою культуру? И что вообще было в этом здании?

Э. — Да то же, что и сейчас. Это старейший городской вытрезвитель.

— А я вам говорю, что все ученые были пьяницы! Все как один пили! Я точно знаю.

— Да вы что, Иван Степанович? Ничего они не пили! Они работали. И сделали удивительные вещи! Один скрестил сливу с персиком, другой себе черную оспу привил, третий атом расщепил!

— А теперь сами подумайте: стали бы они такое вытворять на трезвую голову?

Скажу вам, как художник художнику...

Художник и ценитель стоят возле портрета очень непривлекательной женщины.

Ц. — Прекрасная работа! Поздравляю, это вершина вашего искусства! Только вот натура не очень... Как бы это сказать... Натурщица не очень вдохновляет.

Х. — Не скажите. На ее поиск ушли годы. Я перепробовал их сотни, сотни, но вдохновение не приходило. Оказывается, вдохновение приходит только тогда, когда пропадает желание...

Ц. — И где же вы ее нашли?

Х. — Прямо у себя под боком. Это моя жена.

Дама встречается у себя дома художника.

Д. — Я так счастлива, что вы согласились написать мой портрет! Я

с таким трудом уговорила мужа сделать заказ именно вам! Не будем терять времени! *(Подходит к дивану и начинает раздеваться).*

Х. — Э-э... Ваш муж заказал ваш портрет в вечернем платье у окна.

Д. — Да? Ну и прекрасно, располагайтесь!

Х. — Что вы делаете? Я же сказал, в вечернем платье у окна!

Д. — Слушайте, вы же художник! Платье и окно вы потом дорисуете!

Скульптор и натуращик.

Скульптор. — Вы же мечта скульптора! У вас руки крестьянина, уши боксера, лоб ученого и грудь, как у балерины!

Натуращик. — Почему это у меня грудь как у балерины?

Скульптор. — Потому что у вас ее нет!

Художник. — Дорогая, ты не могла бы мне немного попозировать? Мне надо сделать основу для композиции про искусство — "Режиссер пробует актрису на роль".

Жена. — Только недолго.

Художник набрасывает ей на плечи ковер.

Жена. — А я буду режиссер или актриса?

Художник. — Дорогая, я же сказал — основа. Ты будешь диван, на котором всё это происходит.

Наше кино

Собака Баскервиль

Утро. Шерлок Холмс и доктор Ватсон прогуливаются по Гримпенской трясине.

В. — Доктор Мортимер не зря вызвал нас! Холмс, по-моему, собака Баскервиль — это самое ужасное, что существует в этом мире.

Х. — Вынужден огорчить вас и доктора Мортимера, дорогой друг. Я выяснил, что никакой собаки Баскервиль не существует.

Издали доносится страшный вой с подвываниями.

В. — Боже мой, Холмс! Вот же! Так воет только собака Баскервиль! Если это не она, то кто?

Х. — Это элементарно, Ватсон. Так воет сэр Генри, когда Бэрримор кормит его овсянкой.

Будьте мне здоровы!

Врач с медсестрой идут с обходом по палате, все больные под капельницами.

Врач. — Так. Это у нас кто такой синенький?

Медсестра. — Сидоров. Капаем гепарин.

Врач. — Ну, потерпи, Сидоров, уже недолго тебе мучиться!

(Идет дальше.) А это кто у нас такой страшенький?

Медсестра. — Петровский. Капаем папаверин.

Врач. — А у нас сюрприз, Петровский, для твоего ЖЭКа. Можешь им сообщить, что ты уже не жилец. *(Идет дальше.)* О! А что это у нас больной так хорошо выглядит? Что это мы ему капаем?

Медсестра. — Формалин...



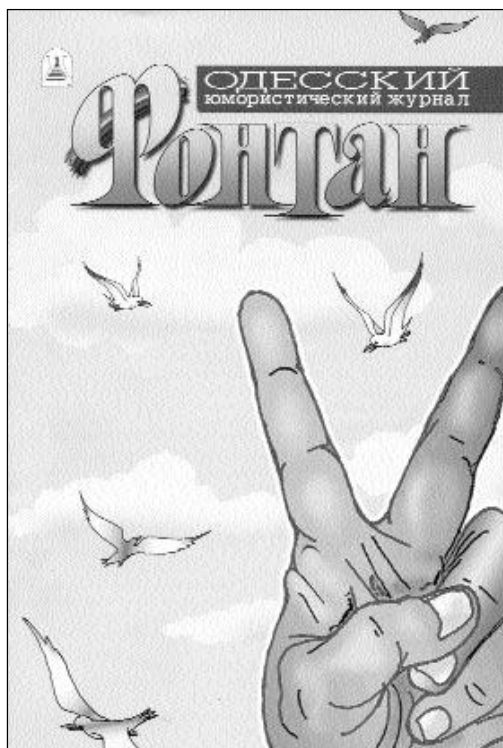
Так да — "ФОНТАН"! Так да — ШПРИНЦАЕТ!

Нужно ли объяснять, почему в одной из крылатых одесских фраз мы решительно заменили частицу "не" на противоположную? За пять лет этот юмористический орган, минуя Средний, преодолел путь от Малого до Большого одноименных Источников. Это уже не ручеек, хотя еще не водопад. На наш взгляд, уместно сравнить его с бюетом, полюбившимся горожанам, куда они приходят с подручными сосудами за глотком свежего Жванецкого, стаканчиком привычного Лившина, чашечкой душистой Хаткиной, рюмашкой горячительного Губаря. Под присмотром Валерия Хаита "Фонтан" шпринцует уже пять лет: ничто пред вечностью, но завидный пример нашему альманаху.

Так будем же дружить авторами и совместно лить воду на одесскую мельницу.

Знаменательно, что на обложке юбилейного номера журнала его главный художник Леонид Левицкий в знак оптимизма изобразил любимый знак Черчилля: при помощи пальцев сложил латинскую литеру "V", что символизирует победу. Сама рука (в ней угадывается десница главного редактора) торчит из воды, разумеется, Черного моря, над нею реют фонтанские чайки. А они, как известно, на своих не какают.

Феликс КОХРИХТ



ИЗДАНО . . .

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Мемуары, стихи, исследования 296

Феликс КОХРИХТ
На той далекой, на Ливанской... 298

Сергей БИРЮКОВ
Любовь и отчаяние 299

Олег ГУБАРЬ
Библиография Ренессанса 303

Мемуары, стихи, исследования

Татьяна Фоогд-Стойнова.
"Что пройдет,
то будет мило..."
(наброски воспоминаний).
Одесса, 2002.
Издательство "ТЭС" "ВМВ"



У нас мало живых, ярких свидетельств о жизни Одессе в 20-е — 30-е годы. Эта книга, написанная профессором Амстердамского университета (в прошлом, естественно, одесситкой, перебравшейся в Европу вслед за любимым человеком в самом конце войны) вводит нас в дом Александра де Рибаса, знакомит с медиками и художниками Скроцкими, показывает, что и в те трудные годы интеллигенция старалась остаться интеллигенцией.

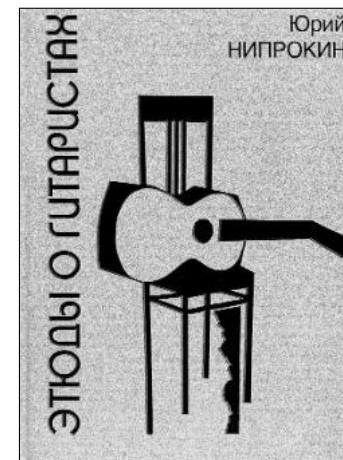
К сожалению, в книге много редакторских огрехов. Но они никак не уменьшают значения интереснейших воспоминаний о Святославе Теофиловиче Рихтере, Марии Вениаминовне Юдиной, Николае Алексеевиче Полторацком, о самой Одессе 20-х — 30-х годов.



Инна Руди. "Отблески".
Стихотворения, еврейские мотивы, театр, песни.
Одесса, 2002.
Издательство "Optimum".

Театральные зонги, городские романсы, стихи Инны Руди, хоть пока вышла только первая книга автора, уже давно привлекли внимание любителей поэзии. Замечательно оформил (нарисовал) всю книгу одесский художник Геннадий Палатников. Бардовская песня давно имеет своих поклонников — уверен, их теперь станет еще больше. Тем более, что театральные зонги становятся шампурами спектаклей, отлично поставленных Валерием Басселем.

Юрий Нипрокин.
"Этюды о гитаристах".
Одесса, 2002.
Издательство "Друк".



Юрия Нипрокина любители искусства в нашем городе до сих пор знали как талантливого гитариста-исполнителя. Интерес вызвали его концерты на стихи художника Игоря Божко. В новой книге Игорь Божко занялся естественным для себя делом — оформил обложку, а Юрий Нипрокин оказался не только неплохим очеркистом, но и серьезным исследователем. Впервые он проследил творчество гитаристов Одессы, многих из них воскресив из небытия, и мы узнали судьбы людей — от Захария Кипченко до Михаила Божия — за больше чем сто лет... И важно, что Нипрокин проследил традиции гитарного искусства, его связь с живописью буквально до наших дней.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

... В ИЕРУСАЛИМЕ

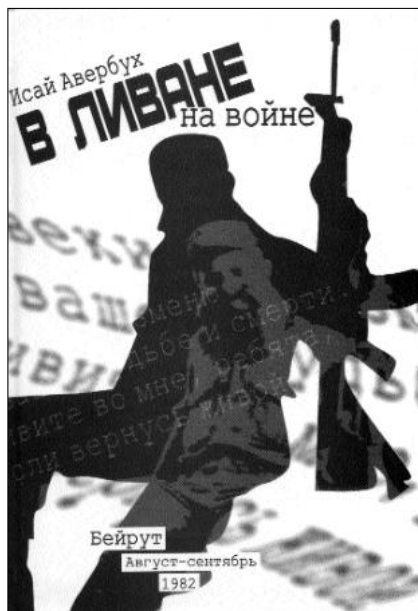
На той далекой, на Ливанской...

Мы познакомились с Саней Авербухом в августе 1968 года, на следующий день после вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора. Он подарил нам чешско-русский словарь, обведя траурной рамкой город его издания — Прагу. Наш друг, непримиримый противник любого насилия над личностью, над духом, над народом, был тогда среди, увы, немногих наших соотечественников, открыто протестовавших против подавления демократических устремлений и в Чехии, и в Союзе.

В Израиле, куда он переехал в 1971 году, Саня стал признанным специалистом по истории еврейского народа, преподавал в вузах. Он и сегодня считается лучшим гидом по Земле Обетованной. Казалось бы, типичный горожанин, несколько лет проработал в кибуце, где "по науке" выращивал в Иудее и Самарии фрукты, которые полюбились во всем мире. В 1990 году, еще в советские времена, создал в Одессе отделение "Сохнута" (первое в Украине) и два года возглавлял его.

Убежденный пацифист-толстовец, он стал солдатом, его оружием была сумка с бинтами и медикаментами. Боевой санитар Авербух (эта воинская специальность — одна из самых уважаемых в Армии обороны Израиля) прошел две кровопролитные войны — Йом-Кипур 1973 и Ливанскую 1982 годов. На второй, как, впрочем, и на первой, в перерывах между боями писал стихи на русском языке. Так родилась книга "В Ливане, на войне", увидевшая свет спустя много лет в Иерусалиме. Почему же она так долго шла к читателю? Об этом мы говорили с Саней в Одессе нынешней осенью.

— Эти стихи, — говорит он, — были обращены тогда, в сентябре



1982-го, жене и крохотной дочке Рахели-Рае. По сути и по форме — лирический дневник человека, истосковавшегося по родным, попытка поделиться с ними чувствами, которые испытывает муж и отец, разлученный с самыми дорогими людьми, с домом на улочке в Старом Иерусалиме (нашему жилью более 800 лет), с книгами...

Дополню автора книги: это еще и исповедь солдата, воюющего на чужбине, теряющего товарищей, ощущающего, что добытая кровью победа зачастую транжирится политиками. Вот почему в 2000 году боевые друзья Исае Авербуха настояли: эти стихи обязательно должны быть изданы, так как они злободневны и сегодня, когда в Библейских местах вновь гремят взрывы, идет война, гибнут люди.

Что до названия этих заметок... Много лет назад именно в квартире юных братьев Авербух, в Первом Куликовском переулке, я впервые услышал крамольные песни Александра Галича и романтические баллады Булата Окуджавы. "На той далекой, на Гражданской..." Новые песни придумала жизнь.

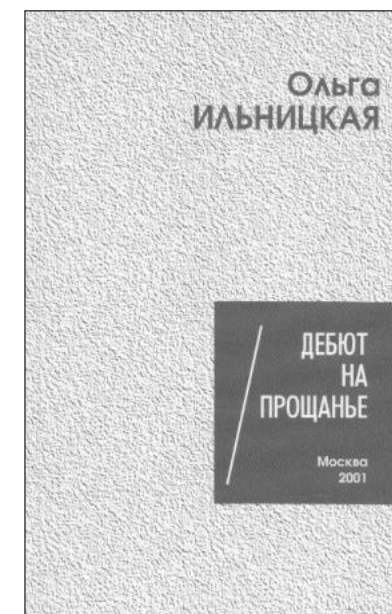
Феликс КОХРИХТ

... В МОСКВЕ

Любовь и отчаяние

Ольга Ильницкая — поэтесса и прозаик. А еще она рисует. Ее рисунки тоже есть в этой книге. А еще мне говорили, что она занималась фехтованием и побеждала в серьезных чемпионатах. А на вечере Ольги в Москве я слышал ее воспоминания о М.Я. Гефтере, который не то что оказал на нее влияние, а как-то понял-почувствовал движение или даже колебание ее духа.

Уже довольно давно не могу читать никакую прозу. Понимаю, что это плохо. То есть фактически получается, что я вообще книжек не



читаю, потому что книжками все-таки называются всякие повести, романы, рассказы, а не стихи и не научные же труды...

Книгу Ильницкой я открыл просто из любопытства, потому что знал стихи Ольги, интересовавшие меня по принципу непохожести на собственные, но близкие мерцанием чувства.

Затем я поймал себя на том, что перечитываю отдельные фрагменты, что меня интересует происходящее с женщинами, мужчинами и детьми, которые населяют прозу Ильницкой. И не только интересует, а удивляет. Удивляет женская отвага, небоязнь прямого письма, почти обнаженного. Поначалу вообще трудно понять, как она это делает. Из чего вообще ткется эта ткань, которая охватывает, не отпускает. Будучи наследником русской формальной школы, я, прежде всего, смотрю, "как сделана "Шинель". Сама Ольга в кратком предисловии тоже написала: "Я понимаю, что сгущение жизни — мое ремесло. Убеждена: пишущий обязан знать, что он делает и как он это делает". Но, конечно, не объясняет. Надо же какую-то работу оставить и критикам. Хотя вот подсказка — о "сгущении жизни". Белинский когда-то говорил, и за ним сотни повторили, о типическом. Сгущение, по-моему, лучше.

И вообще, я мог бы, конечно, объяснить с карандашом в руках, как это сделано, но странным образом не хочу этого делать. И даже понимаю — почему. Потому что эта проза (назову пока так, а потом подыщу что-нибудь получше) совершенно неожиданно захватывает область сердечного и нечленимого.

Например, рассказ "Как она была медведем" уместился в 23 строки. Но для меня он оказался целым романом. Одно только заключительное предложение стоит нескольких глав: "Она выпила столовую ложку (валерьянки, — С.Б.) и превратилась в затравленную прошлым женщину, которая так и не прижилась в настоящей жизни".

Таким образом, это не проза вообще, а преодоление отчаяния и непреодолимость отчаяния. Каждый рассказ — это новая попытка преодоления: вот-вот выход — и снова этого выхода нет. Жизнь как трагедия существования, как неизбывная боль. В книге встречаются и приметы социальной жизни (из советского прошлого, например), но они лишь встречаются, они не определяющие. Главное происходит внутри человека. То, что происходит с ним, — помещается где, в какой подкорке? Можно ли управлять этой подкоркой? Ольга Ильницкая исследует разные варианты. В одних случаях кажется, что можно, но человек гибнет, в других — что нельзя, и человек вдруг выживает.

Маяковский в поэме "Про это" оставил одно слово произнесенным: "Имя этой теме...". Ну, все догадались, конечно, что означает это многоточие: любовь. У Ильницкой имя теме то же. Может быть, именно в этом слове-понятии все и помещается. "Есть любовь или нет, какая — большая или маленькая" и т. д.

Вот это очень непонятное и непонятое, несмотря на Фрейда вкупе с Юнгом, чувство ли, состояние ли в книге Ильницкой мерцает, светится, горит, взрывается. Любовь и отчаяние. Такое противостояние и слияние. Этим книга пронизана, как полосой света (один из рассказов так и называется — "В полосе света"). Есть и "крупная форма" — "Круизный роман" с подзаголовком "история любви и ревности", и "Место мира", с авторским обозначением жанра "короткий роман". И тот и другой, конечно, как романы абсолютно неклассичны. И это неудивительно в конце XX века, в котором роман претерпел столько изменений. Впрочем, большей частью в других литературах. Важно, что на сей раз свой вид романной формы предлагает русская писательница. Оба романа тесно связаны, вплоть до того, что авторство первого приписывается героине второго. Тексты близки тематически и событийно. Это вроде бы два разных исполнения одного и того же "жизненного материала". Но автор справедливо предупреждает не искать соответствий с этим самым материалом. "Когда б вы знали..."

В романе "Место мира" Старик (с одной стороны, наставник более юных своих друзей, а с другой — равный им по возможности или невозможности преодоления судьбы) говорит своей собеседнице о жизни: "Первую пережила? Напиши. И вторую пережила? Напиши".

Собеседницу зовут Левка, потому что ее знак Лев. Она пишет некое произведение, она выдумывает этих людей, но на самом деле она ничего не выдумывает, и эти романские герои живут в ней, сталкиваются с ее миром, который здесь же записывается — параллельно-перпендикулярно. То есть иррационально, неправильно. Судьба романистки, "испытывающей" на прочность "прекрасную геометрическую фигуру" — любовный треугольник, — оказывается, переплетена с текстом, который она пишет о "других". "Левка сморщилась и отложила ручку. Пожаловалась Водолею, что героиня заболела. Чтобы Левка не мучилась, Водолей посоветовал смотреть не вглубь, а вдаль, не на человека — вокруг человека". Но дело в том, что Водолей — один из углов треугольника. И он уже стал действующим лицом романа. Его совет, как, впрочем, и советы всех остальных здесь, — это способ письма о пережитом. Надо только "следить за скоростями и языком". Ведь писатель постоянно выясняет — кто, что и как говорит. И читатель

выбирает чью-то сторону. Но в случае с прозой Ольги Ильницкой выбор, мне кажется, невозможен. Мы не можем встать на чью-то сторону, как говорят современные политики, "однозначно". Мир этой прозы не черно-белый, а цветной, радужный, то есть цвета постоянно смещаются, затягиваются друг другом, их не рассечь. А если попытаешься рассоединить, то попросту разрушишь этот мир. Писательница (или ее героиня) где-то говорит, что ее интересует разлом. Но если это так, то в разломе ее, похоже, интересуют цветные кристаллы, которые не так видны на гладкой поверхности. Ее и нас, тех, кто погружается в этот разлом прозы, захватывает мир в своей обнаженности, в неустойчивом равновесии. Мы сами — эти кристаллики, в нас постоянно происходит разлом.

Между прочим, я пишу эти заметки, параллельно читая книгу. Вот, когда предыдущую фразу дописал, принялся читать следующее произведение неопределенного жанра "Вспомнить себя, или Прощай, эпистолярный жанр!". И там вскоре наткнулся:

"Я всегда, с детства, любила калейдоскоп. Он тревожил меня. Это единственная игрушка, до сих пор вызывающая у меня радость... Два я разобрала сама, один разломал сын. И всякий раз я испытывала странное чувство: как будто не разломали, а починили, вернули к целому...

Это страшное чувство.

Узналось — когда разламывается любовь, в разломе видится и знается путь к другому целому... Через разлом только и возможный.

Может быть, на свете горя нет? А есть непонимание?"

Ольга Ильницкая безусловно обладает даром "сгущения жизни". Вероятно, это дар поэтический. Ее проза — это преображенная поэзия. Такие преображения необходимы, ибо подключаются иные энергии.

Я начал эти заметки с признания, что вообще не читаю прозу. Но сейчас вспомнил, что это не так или не совсем так. Оказывается, читаю, и прочел довольно много! Просто, видимо, настолько не задело, не совпало и т. д., как бы даже и не читал. Это абсолютно не в укор прозаикам. Не могут же они всех потенциальных читателей принять в расчет!

Ольга Ильницкая, может быть, тоже разбирала калейдоскоп из собственного интереса.

Но странным образом эти стеклышки брызнули вблизи от моего взгляда, и, пока они летели, в них успело преломиться множество лучей, и я успел прочесть в этой вольной игре то, о чем попытался здесь рассказать.

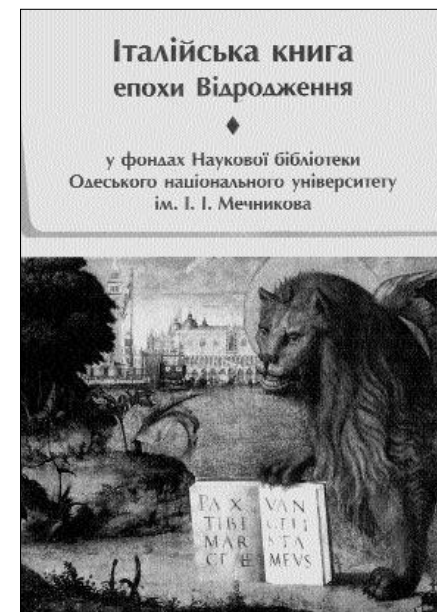
Сергей БИРЮКОВ

... В ОДЕССЕ

Библиография Ренессанса

Не так уж часто выходят в нашем городе библиографические издания, каковые можно назвать событийными. И к их числу, несомненно, относится аннотированный указатель "Итальянская книга эпохи Возрождения в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова", недавно выпущенный местным издательством "Астропринт".

Указатель включает 227 наименований старинных книг по этике, теологии, политологии, юриспруденции, точным наукам, искусствоведению, языкознанию, истории, географии, сельскому хозяйству, а также художественной литературы. Отмечая значимость этой коллекции, автор вводной статьи, авторитетный историк-медиевист Елена Радзиховская уточняет, что речь идет не только об изданиях, увидевших свет в городах Апеннинского полуострова в XV-XVII столетиях, но и о книгах итальянцев, вышедших в это время и в других европейских странах. Таким образом, помимо итальянских грандов книгопечатания — Венеции, Падуи, Милана, Генуи, Болоньи, Неаполя, Турина, Флоренции, Рима, — в собрании имеются иллюстрированные старопечатные тексты, опубликованные в Амстердаме, Базеле, Кракове, Лондоне и т.д. Этим поистине уникальным корпусом историко-культурологических первоисточников пользуются не только наши земляки, но научные работники, преподаватели, библиофилы, — без преувеличения, — со всех концов света. В том числе, "из метрополии" — исторической родины этих бесценных фолиантов, Италии.



Издание хорошо оформлено и отменно проиллюстрировано книжными знаками с впечатляющей атрибутикой ретроспективных издателей и издательств, портретами авторов, изображениями титульных листов, репрезентативными образцами книжной графики, а также снабжено именным указателем.

Полагаю, самых добрых слов заслуживают как инициаторы, так и исполнители этого во всех отношениях достойного издания — руководство университета и библиотеки, научный редактор, издательство "Астро-принт", но в первую очередь, разумеется, составитель — Елизавета Савельева. Это далеко не первый и, надо полагать, не последний труд многоопытного библиографа, любимого как читателями, так и коллегами.

Олег ГУБАРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Живи долго, УГОЛЕК!

**ГРИГОРИЮ ПОЖЕНЯНУ, ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
НАШЕГО АЛЬМАНАХА, ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.**

Я старомоден, как ботфорт
на палубе ракетноносца,
как барк, который не вернется
из флибустьерства в новый форт...



В галерее поэтических автопортретов — от Александра Пушкина до Андрея Вознесенского — эти строки не затеряются. Редко кто из отечественных стихотворцев говорил о себе с такой самоиронией и, вместе с тем, с чувством собственного достоинства. Разве что, Денис Давыдов. Они похожи — и внешне (невысокие крепыши-усачи), и послужными списками (защищали родину в первую и вторую Отечественную), и бунтарским нравом (за что не раз претерпели от начальства), и успехом у барышень и дам. Гусарский полковник дружил с декабристами, старлей-разведчик морской пехоты однажды выбросил за борт наглого замполита, пристававшего к сестре милосердия...

В особом отряде, polegшем смертью храбрых в дни обороны Одессы, Гришу называли Угольком — за чернявость (армяно-еврейская смесь) и взрывной нрав. Увы, все меньше остается в нашем городе тех, кто зна-

Издание хорошо оформлено и отменно проиллюстрировано книжными знаками с впечатляющей атрибутикой ретроспективных издателей и издательств, портретами авторов, изображениями титульных листов, репрезентативными образцами книжной графики, а также снабжено именным указателем.

Полагаю, самых добрых слов заслуживают как инициаторы, так и исполнители этого во всех отношениях достойного издания — руководство университета и библиотеки, научный редактор, издательство "Астро-принт", но в первую очередь, разумеется, составитель — Елизавета Савельева. Это далеко не первый и, надо полагать, не последний труд многоопытного библиографа, любимого как читателями, так и коллегами.

Олег ГУБАРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Живи долго, УГОЛЕК!

**ГРИГОРИЮ ПОЖЕНЯНУ, ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
НАШЕГО АЛЬМАНАХА, ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.**

Я старомоден, как ботфорт
на палубе ракетноносца,
как барк, который не вернется
из флибустьерства в новый форт...



В галерее поэтических автопортретов — от Александра Пушкина до Андрея Вознесенского — эти строки не затеряются. Редко кто из отечественных стихотворцев говорил о себе с такой самоиронией и, вместе с тем, с чувством собственного достоинства. Разве что, Денис Давыдов. Они похожи — и внешне (невысокие крепыши-усачи), и послужными списками (защищали родину в первую и вторую Отечественную), и бунтарским нравом (за что не раз претерпели от начальства), и успехом у барышень и дам. Гусарский полковник дружил с декабристами, старлей-разведчик морской пехоты однажды выбросил за борт наглого замполита, пристававшего к сестре милосердия...

В особом отряде, polegшем смертью храбрых в дни обороны Одессы, Гришу называли Угольком — за чернявость (армяно-еврейская смесь) и взрывной нрав. Увы, все меньше остается в нашем городе тех, кто зна-

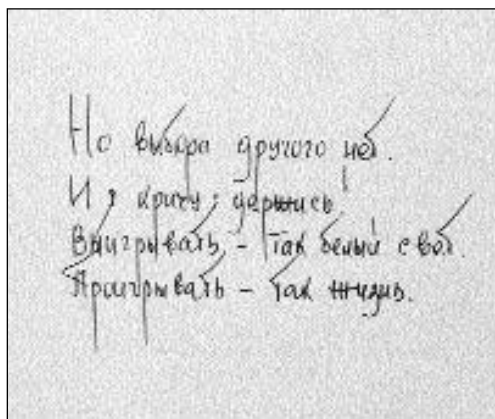
ет: на мемориальной доске (Пастера, 27), к счастью, допущена ошибка. Поженин тогда, в 41-м, чудом выжил. Несмотря на тяжелые ранения, на похоронку, полученную матерью...

Сколько раз он побеждал — врагов, болезнь, предательство. Недавно подвергся нападению грабителей. Отбил, отлежался и вновь пишет стихи. И какие! Мы имели честь опубликовать их в нашем альманахе.

В последний приезд Поженина в Одессу мы вспоминали с ним салют на 411-й батарее в честь 30-летия Победы. Григорий Михайлович — ушедших боевых друзей. Я-то видел, с каким восхищением глядели тогда на его боевые ордена молодые флотские лейтенанты и бывшие с ними девушки...

А что до четверостишия, процитированного выше, то согласимся лишь с одним самоопределением поэта — он действительно флибустьер. Отважный романтик, сочиняющий в перерывах между abordажми стихи о море, жизни и любви. Таким мы его знаем и любим в Южной Пальмире, от берегов которой Уголек в своей черноморской тельняшке не раз уходил в дальние плаванья.

Феликс КОХРИХТ



Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Галина Педаховская	
Тень времени	6
Олег Губарь	
Дом в "тихом центре"	18
Игорь Буркун	
История одной семьи	22
Виктор Петрунь	
Свиная рапсодия	32
Олег Губарь	
Одесса	50

ПРОЗА

Сергей Рядченко	
Пижины с Новоаркадиевской	54
Родион Феденев	
Зимняя встреча в летнем кинотетре	78
Вадим Авлошенко	
Подарок	87
Марк Гиршин	
Crescendo	105
Анатолий Контуш	
Городские портреты	118
Григорий Розенберг	
Я был в витрине	126
Александр Гринблатт	
1 мая 1949 года	135
Наталья Хаткина	
Новые русские сказки	142
Елена Палашек-Сторожук	
На перекрестке судеб...	146

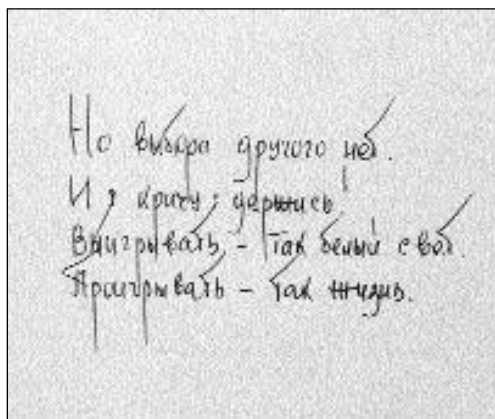
ет: на мемориальной доске (Пастера, 27), к счастью, допущена ошибка. Поженин тогда, в 41-м, чудом выжил. Несмотря на тяжелые ранения, на похоронку, полученную матерью...

Сколько раз он побеждал — врагов, болезнь, предательство. Недавно подвергся нападению грабителей. Отбил, отлежался и вновь пишет стихи. И какие! Мы имели честь опубликовать их в нашем альманахе.

В последний приезд Поженина в Одессу мы вспоминали с ним салют на 411-й батарее в честь 30-летия Победы. Григорий Михайлович — ушедших боевых друзей. Я-то видел, с каким восхищением глядели тогда на его боевые ордена молодые флотские лейтенанты и бывшие с ними девушки...

А что до четверостишия, процитированного выше, то согласимся лишь с одним самоопределением поэта — он действительно флибустьер. Отважный романтик, сочиняющий в перерывах между abordажми стихи о море, жизни и любви. Таким мы его знаем и любим в Южной Пальмире, от берегов которой Уголек в своей черноморской тельняшке не раз уходил в дальние плаванья.

Феликс КОХРИХТ



Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Галина Педаховская	
Тень времени	6
Олег Губарь	
Дом в "тихом центре"	18
Игорь Буркун	
История одной семьи	22
Виктор Петрунь	
Свиная рапсодия	32
Олег Губарь	
Одесса	50

ПРОЗА

Сергей Рядченко	
Пижоны с Новоаркадиевской	54
Родион Феденев	
Зимняя встреча в летнем кинотеатре	78
Вадим Авлошенко	
Подарок	87
Марк Гиршин	
Crescendo	105
Анатолий Контуш	
Городские портреты	118
Григорий Розенберг	
Я был в витрине	126
Александр Гринблатт	
1 мая 1949 года	135
Наталья Хаткина	
Новые русские сказки	142
Елена Палашек-Сторожук	
На перекрестке судеб...	146

ПОЭЗИЯ

Виталий Амурский	
<u>Стихи разных лет</u>	153
Аркадий Кобзенко	
<u>Шмелем пустым мелькнула осень...</u>	161
Михаил Яснов	
<u>Праздник утрат</u>	169
Аркадий Гурович	
<u>Медитации</u>	177
Виктор Дзюба	
<u>Триптих</u>	183
Александр Мардань	
<u>Колыбельная незнакомке</u>	186
Ирина Беньковская	
<u>Гензель и Гретель</u>	190

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Евгений Голубовский, Феликс Кохрихт	
<u>Друзей моих прекрасные черты</u>	193
Наталья Панасенко	
<u>Чуковский в Одессе</u>	196
Александр Галяс	
<u>"Опасная пьеса"</u>	220
Роман Бродавко	
<u>Маэстро в драматическом театре</u>	227
Мария Гудыма	
<u>По закону узнавания</u>	233
Ольга Савицкая	
<u>Изгнание в рай</u>	237
Ольга Барковская	
<u>Художник Израиль Мексин</u>	240
Виталий Абрамов	
<u>"Письмо из Мюнхена" – В. Кандинский?</u>	244
Олег Губарь	
<u>Звуки МУ</u>	253
Олег Губарь	
<u>Признаки жизни</u>	256

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна Щурова	
<u>"Дивертисмент"</u>	261

АХ, ОДЕССА

Олег Соляцанский	
<u>Одесские зарисовки</u>	285
Владимир Трухнин, Ирина Полторак	
<u>"Городок" – пятый угол</u>	290
Феликс Кохрихт	
<u>Так да – "Фонтан"! Так да – шприцает!</u>	294

ИЗДАНО...

Евгений Голубовский	
<u>Мемуары, стихи, исследования</u>	296
Феликс Кохрихт	
<u>На той далекой, на Ливанской</u>	298
Сергей Бирюков	
<u>Любовь и отчаяние</u>	299
Олег Губарь	
<u>Библиография Ренессанса</u>	303
<u>ЖИВИ ДОЛГО, УГОЛЕК!</u>	307

Одесский альманах
ДЕРИБАСОВСКАЯ - РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Выпуск № 11

Odessa almanac
DERIBASOVSKAYA - RISHELIEVSKAYA

Issue No 11

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 23-13-60

Отпечатано в типографии издательства "ВМВ"
Тел. 54-50-48

Сдано в набор 01.11.2002.
Подписано в печать 01.11.2002.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 22. Усл. печ. л. 20,46
Зак. № 135. Тираж 500 экз.